Н. И. КАТЕНЕВ

РАССКАЗЫ
МОРЯ И ЗЕМЛИ

Париж
1968

Н. И. КАТЕНЕВ

РАССКАЗЫ
МОРЯ И ЗЕМЛИ

Париж
1968

Возможное совпадение встречающихся в этом повествовании имен и действий является случайным и не имеет никакого отношения к лицам, носящим в жизни такие же фамилии.

Предлагаемые здесь рассказы были напечатаны в: « Возрождении », « Новом Русском Слове » и « Русской Мысли ».

To always

Mallory Davis.

БУДДИЙСКИЕ МОНАХИ

Я живу в маленьком приморском городке, неподалеку от Нью-Йорка, и окна моей квартиры выходят на Атлантический океан.

Я — моряк в отставке. Прошел весь путь от матроса до капитана дальнего плавания. Я одинаково люблю море, и в тишь, и в шторм, и в ураган.

Как все моряки, я суеверен. По нашему верованию, моряк никогда не должен оставлять моря. Море, как ревнивая любовница, жестоко мстит, когда его бросают. Море много берет, море много дает, и море не забывает любивших его ласки. Даже опустившегося, всеми презираемого, гонимого отовсюду море в конце концов возьмет обратно, заключит в холодно-нежные объятия и унесет в свой мир.

Я моряк, я суеверен, я живу у самого моря.

Обстановка моего кабинета связана с воспоминаниями о долгих скитаниях.

Все можно найти у меня в кабинете: от жертвенного «ножа-агата» древних инков сухо-знойного Перу до кимоно самурая фарфорово-изящной Японии, от турецкого кальяна до австралийского бумеранга!..

Но самый ценный вклад в этот, если хотите, музей — старинный, черного дерева, письменный стол флорентинской резной работы, который я много лет тому назад вывез из Генуи.

На верхней полке стола лампа, переделанная из древней помпейской урны, найденной у неаполитанского антиквара. На ней зеленоватый налет тысячелетий. Пьедестал вазы — черного мрамора, а верх украшен шелковым абажуром цвета спелого персика.

У пьедестала лампы я поставил редкую розовую статуэтку Будды, художественной работы.

Освещенная электрическим светом статуэтка производит молитвенно - умиротворяющее впечатление. Когда я смотрю на розового Будду, то по моим губам пробегает тихая улыбка.

Эту статуэтку мне подарили буддийские монахи в Бангкоке, в Сиаме. И вот как это случилось:

Бангкок в Сиаме — это город удивительных буддийских храмов, полных изваяниями Будды, из которых одно поразительнее другого. Тут вам и стоящий гигантский Будда, и 40-метровый полулежащий, и сидящий, — ну да, в общем, тьма Будд, — и все в самых различных позах, с самыми разнообразными выражениями каменных лиц.

Но самым удивительным считается знаменитый на весь Восток Изумрудный Будда, известный под именем «Уст-Пхра-Клео».

Он, конечно, сделан из нефрита. Будь он изумрудным, он давно, наверное, был бы вывезен отсюда «просвещенными мореплавателями» и стоял бы в одном из европейских музеев.

Нефрит его спас, и он остался у себя на далекой родине, чему я очень рад.

Тонкость работы и переливы мягкого света производят такое впечатление, что статуя кажется одухотворенной.

Тот, кто видел эту статую хоть раз, никогда ее не забудет.

Сиамское искусство во всех его видах и проявлениях: в скульптуре, живописи, шитье или росписи по шелку, резьбе по слоновой кости или по дереву поражает своеобразием, красотой и вкусом.

В каждую вещь каждый мастер вкладывает что-то свое и настолько оригинальное, что японцы, никем не превзойденные имитаторы, не могли и не могут создать ничего, что хотя бы слегка напоминало красоту сиамских образцов.

Вокруг храма, дворца Сиамского короля, я видел до 400 барельефов, изображающих земную жизнь Будды. Ни один из них не походил на другой.

Трудно поверить, что они сделаны из песчаной, красной глины.

Многообразие теней и оттенков таково, что кажется — художник пользовался красками, каких не найти на палитрах современных мастеров.

Бангкок — это не только, город храмов и памятников искусства. В нем много парков, бульваров, и самая многоликая толпа, такая, какую можно встретить только на Востоке.

Движение людского потока непрерывно. Миловидные мордочки сиамских женщин и тихий, ласковый смех гуляющих сразу располагают к себе путешественника.

Плавая в тех краях и впервые попав в Бангкок, я познакомился с «земляком» Василь Семенычем, но с такой длинной и трудно-произносимой сиамской фамилией, что он для меня официально остался Семенычем, как я для него — Ерофеичем.

История Семеныча такова:

Во времена оные, какого-то сиамского принца его отец, сиамский же король, отправил в нашу северную столицу (которая тогда еще была известна как Санкт-Петербург), кажется — в Пажеский корпус.

В качестве камердинера был послан отец Василь Семеныча. Малый он был разбитной, быстро выучился болтать по-русски, полюбил нашу страну и наш народ. Познакомившись с девушкой, которая служила горничной в аристократическом доме на Сергиевской улице, он влюбился и сделал предложение. Оно было принято с одним условием: если будут дети, то они должны и по-русски говорить и по-православному веровать.

Буддийская религия этому не препятствует, и отец Семеныча дал согласие. Свадьба состоялась. В должный срок появился на свет и Семеныч, которого по всем правилам и окрестили. Мать научила его русскому языку, и в возрасте 7 или 8 лет, после того, как принц закончил образование, вся семья последовала за ним в Сиам.

Там Семеныча отдали в хорошую школу, обучили нескольким европейским языкам и определили на

службу в одно из самых «хлебных мест», какие только могут существовать на Востоке, — в таможню.

Родные Семеныча умерли. Он, верный своему русскому происхождению, поехал в Харбин, там и женился на девушке русских кровей, — Акулине Никитичне, оговорив, как то сделал его родитель, — что дети должны быть православными. Потом вернулся в Бангкок и построил домик в русском вкусе, с палисадником на улицу. Все в этом доме было по-нашему, начиная с икон древнего письма и портрета Императора Николая 2-го, до ведерного самовара изделия бр. Баташевых в Туле.

Вот тогда-то я с ним и познакомился, и завязалась у нас дружба, как раньше говорили, «по гроб жизни».

Бывал я в тех краях редко. Но, зато, когда попадал в Бангкок, то встречи сопровождались трехдневным «загулом», да таким, что, казалось, все движение в Бангкоке замедлялось.

Жена покорно переносила. Приятно ей было в Сиаме принимать земляка!

Вот и теперь, отправляясь в кругосветный воздушный рейс, но уже туристом, я из Гонконга дал Семенычу такого рода телеграмму: так, мол, и так, «скоро буду у тебя, готовься к встрече дорогого гостя. Жене же пока ничего не говори, а то ее от такой новости или кондрашка хватит, или она из дому сбежит. Везу русскую водку, сельди, кильки, шпроты, укроп и огурцы. Все достал в Гонконге. Также пластинки духовного и светского содержания. Не пей до моего приезда. Укрепляй организм, а главное печенку. Обнимаю. До скорого. Ерофеич».

В Бангкоке, на аэродроме, Семеныч, Акулина и трое прелестных детей встретили меня поцелуями, слезами и цветами. Сели в автомобиль и направились в знакомый, блистающий чистотой военного корабля русский домик Семеныча.

В столовой стоял накрытый белоснежной скатертью и уставленный батареей разнообразных бутылок стол. От удивления и умиления я чуть не прослезился.

Добавил подарки, и начались заздравные тосты.

Вдруг Семеныч: «А знаешь, Ерофеич, я для тебя

сюрприз приготовил. На чердаке, в старых чемоданах моего родителя, обнаружил какую-то старинную бутылку. Наклейку-то читаю, но все-таки в толк взять не могу: лекарство это или водка, для человеческого потребления пригодная?»

«Показывай», говорю, «разберемся».

Принес Ерофеич приземистую, толстую, зеленого стекла бутылку. Наклейка, пожелтевшая от лет. Надпись:

ДЕКОХТ.

Злой, тройной, жестокий.
Изделия бр. Змиевых, что в Кашине.

Я пришел в умиление. Ведь и в самой России такую алкогольно-музейную редкость не найдешь, а тут, на тебе! Сиам — и такой удивительный уникум!

«Водка», говорю, «это, Семеныч, особопользительная для желудка».

«Давай потянем по единой»...

Открыли, налили, чокнулись, опрокинули в пасти. Впечатление это произвело дико-потрясающее! Я был уверен, что все мои вставные зубы начали плавиться и распадаться на составные элементы. В горле жар раскаленного пекла! Дыхание сперло! Но когда рюмка дошла до нутра, жизнь сделалась снова прекрасной, прямо, можно сказать, наступило «благорастворение воздухов», хотя Семеныч и качал головой с унылым выражением мерзлого судака.

В этот момент Акулина вошла в столовую, и из кухни донесся запах жарящихся котлет, правда, из мяса буйвола, но все же котлет.

Насилу кончили обед. После него я роздал подарки, зарядил новенький граммофон «духовными» пластинками жаровского хора и полились, в далеком Сиаме, чарующие звуки русского церковного пения!

Сидит Василь Семенович, сын камердинера сиамского принца, слушает напевы, насилу слезы удерживает, Акулина открыто плачет, детишки косоглазые, родины отца никогда не видавшие, крестятся, думают,

что в церковь попали. Мать-то их возила раз в год в Гонконг, говеть в русскую церковь. У меня самого глаза что-то пощипывать стало, и я старался смотреть на улицу, в окно, через палисадник.

Смотрю, идут два буддийских монаха. Головы и лица начисто обритые. Оба в желтых шафрановых одеяниях, босые. У обоих круглые деревянные чашки на ремне через плечо, а ниже чашек мешки, тоже на ремне.

Прошли мимо дома раз, два и начали прохаживаться взад и вперед, как мне показалось, прислушиваясь к нашей церковной музыке.

Думаю, померещилось от обильного возлияния. Что буддийские монахи могут понимать в русской церковной музыке? Но нет. Точно вижу, музыка их интересует, как проходят, так морды к нашему окну и поворачивают.

— Семеныч, — говорю я, — видишь этих типов в желтых балахонах?

— Да, отчетливо вижу. В Бангкоке буддийских монахов хоть пруд пруди.

— Но это, — говорю я, — по-моему особенные монахи... Наши монахи. Русачки.

— Ну, это ты, Ерофеич, выдумываешь. Во всем Бангкоке только четыре русских: один ювелир, мастер, потом муж и жена шелком торгуют, я не в счет. Есть еще один, но тот или сидит в тюрьме, или ждет, когда его посадят. Разные за ним художества! Уж если я сам православной веры держусь, то зачем же русским-то буддийскую веру воспринимать?

В это время раздалось могучее фортиссимо «Верую», Гречанинова.

Монахи замерли. Глазами впились в окно. Я не выдержал, вышел на улицу и спросил:

— Русские, что ли, будете?

— Псковские мы... — И в их глазах блеснула синева далекого от Бангкока Чудского озера!

Чтобы скрыть вольнение, я шутливо заметил:

— Что вы русские — догадался. То, что вы в Сиаме, объяснить можно. Но что вы обряжены в какое-то

странное одеяние, ни одним русским воинским уставом не положенное, это мне никак не понятно.

Немного смущенный моим заявлением, один из монахов ответил:

— А если бы ты, голубарь, в наше положение попал, то быть-может и не в таком одеянии находился, а ходил бы, чтоб живот спасти, в чем мать родила.

— Ну, идем в дом... Водку-то, отцы, пьете?

— Пьем, — последовал утвердительно-успокаивающий ответ, и мы вошли в дом Семеныча.

— Вот видишь? — говорю Семенычу. — Я прав, а не ты, монахи — русские, да еще псковские!

Василь Семенович обрадовался, а жена его от наплыва чувств еще больше прослезилась. Начались бабьи оханья да аханья да расспросы: «Да как вы попали сюда? Не хотите ли выпить, закусить с дороги?»

Монахи с удовольствием выпили и плотно закусили. Началась беседа. Выяснилось, что они не старые эмигранты, а из новых, — советских, бывшие беспризорные. Родители их в двадцатых годах были объявлены врагами народа, увезены куда-то, судьба их неизвестна.

Началась вторая мировая война, взяли в армию. Попали они оба в плен к немцам. За это одно в царствование «отца народов» уже расстреливали. Решили ни под каким видом на родину не возвращаться, но очень боялись выдачи.

Один старый русский эмигрант дал им совет:

— Холостые, хлопцы, не женатые?

— Нет.

— Так вам прямая дорога во французский Иностранный легион. Направят вас в Африку, а оттуда, как с Дона, выдачи нет. Пять лет службы, потом выходи по вольной, с французским подданством в кармане. Вернетесь, заживете почище коренных французов. Я сам служил в легионе и знаю, что говорю.

Пробовали сослаться на незнание языка.

— А насчет немецкого? — спросил земляк.

— По-немецки калякаем.

— Ну, тогда все в порядке. В легионе теперь самый главный язык немецкий, второй язык — русский,

а французский только для команды, парадов, и официальных выговоров.

Уговорил. Поступили мы в легион. Беглый медицинский осмотр, через две недели — мы в Оране, в Северной Африке. На жизнь наемного солдата грех пожаловаться. Много славян, в том числе и русских. Много немцев, но они нас уважали. Кормили хорошо. Офицеры-французы были строги, но справедливы. Назначили нас было нести караульную службу на границе Сахары, но в последний момент положение изменилось. Погрузили нас на пароход и отправили защищать «родной Индокитай». Назвался груздем — полезай в кузов. Вызвался быть солдатом, так проливай кровь. Сайгон, Камбоджа, наконец Диен-Бьен-Фу, которую мы действительно защищали на ять. Но куда ни кинь — везде клин. Куда не попадешь, — везде пленом пахнет! Запахло пленом и тут. Но нам повезло. Заболели мы оба острой дизентерией и нас эвакуировали через Ханой в Сайгон. Оправились, подумали.

Собрались пробраться в Америку или в Австралию. Деньжата были. С помощью земляков приобрели штатские костюмы и нашли латыша, капитана панамского парохода, которого упросили довезти до Гонконга, за работу. В море он получил радио идти в Бангкок взять груз тикового дерева для Нью-Йорка.. Пришли мы в Бангкок, а он нас, рабов Божьих, на берег в Бангкоке и списал! Гонконг одно дело, а Нью-Йорк история, мол, серьезная. Не могу из-за вас с нью-йоркской полицией дела иметь. Но перед тем, как высадить, дал немного деньжат. Парень он все-таки был хороший.

Вот мы и в Бангкоке, без документов, без языка! Народ здесь косоглазый, желтый, бедный, но все-таки хороший народ, добрый. Иначе-б совсем пропали. Скитаемся мы, стало-быть, по городу. Куда ни шагнешь — всюду толпа, жара и буддийские храмы. Решили, что самое безопасное место — храмы. Сиамские полицейские народ религиозный и в буддийском храме неприлично интересоваться чужими паспортами. Больше всего полюбился нам храм Изумрудного Будды. Смотрели мы на этого Будду не раз и не два. Говорили, конечно, по-русски. И вот подходит к нам какой-то

святой человек, одетый в желтый балахон. Спрашивает нас по-нашему:

— Откуда, земляки?

— А ты что? тоже русский?

— Да, тоже.

Вывел он нас во двор и привел в какую-то беседку для верующих прихожан. Усадил и сначала долго расспрашивал, кто мы и откуда, а потом заговорил о себе.

— Я, братцы, сибирский казак, дрался в армии Колчака, бежал в Китай, оттуда в Сиам. Теперь я буддийский монах. Косоглазую веру принял, служу здесь вроде пономаря, келейника у главного буддийского архиерея. Власть нам дана большая, делаем, что хотим. Так вот, как представитель духовной власти, я и задаю вам вопрос: какие у вас планы на будущее? Но только, смотрите, без брехни. Здесь бродячему белому брату и вообще трудно, ваше же положение особенно корявое. Арест и высылка обеспечены. Весь вопрос — куда?

— Как же быть? — спрашиваем.

— Есть только один выход: буддийский архиерей, которому вот уже двадцать лет служу, власть имеет неограниченную. Доверие ко мне — беспредельно. Сам он святой человек и провидец. Может провидеть все и вся. Я иногда пользуюсь этим даром. Чтоб, например, узнать, какая лошадь на скачках первой прибежит или какой номер в лотерее выиграет. Все это святой отец знает, как Будда. Вот вам бы обратиться к нему за содействием, а не то наши сиамские мильтоны посадят вас в сиамскую узницу, а сидеть там удовольствие, как говорится, ниже среднего. Кроме того, неизвестно, куда вышлют. А что, если обратно на родину, в Союз Советский? Чтоб всех этих напастей избежать, принимайте вы, голуби, буддийскую веру и вступайте, как я, в монахи. Даст Бог, благословит архиерей. Наденете вы этот желтый виц-мундир, обреете башки и ни один черт, — не то что полицейский, — к вам не пристанет. Больше того, куда ни придете — всюду уважение и почет. Народ здесь религиозный и веры своей крепко держится.

— Ну, а как насчет языка-то сиамского? — спрашиваем мы.

— Не бойтесь, мы буддисты больше всего созерцаем и в размышлении находимся, а это на каком угодно языке можно делать. Но все-таки сговориться по сиамски я вас обучу. А потом и вы сами разовьете местную речь Согласны? — так сейчас же иду к архиерею, поручусь за вас, а через неделю вас постригут.

— Ну, а как же мы жить-то будем? Что за порядки в монастыре?

— Порядки такие: в пол-шестого утром вас разбудят, в шесть часов завтрак — фрукты и каша. Позавтракал, и в монастырский наряд: кого на работы, а кого в город, милостыню собирать. Дадут тебе деревянную чашку в руки, мешок на ремешке и начинай трудиться. Тот, кто на работах или милостыню собирает — в полдень пожалуйте назад, в монастырь. После обеда опять работа, созерцания, размышления и сон до пяти утра. Насчет мясного никак. Если что не вашими, а чужими руками приготовлено, так оно, пожалуй, можно, религия разрешает, но я вам советую не нарушать заветов Будды. К тому-же вы в убытке не останетесь. В Сиаме народ всякую нечисть жрет — и крыс, летучих мышей, кошек, пауков и змей. Сами будете рады, что не мясной, а постной пищей пробавляетесь! О спиртных напитках забудьте и думать. Чтоб ни-ни! Курить у нас тоже строго запрещается; о женской нации советую не вспоминать. Помните, что вы буддийские монахи. И по нашей религии баба перевоплощению не подлежит и потому она существо низшего рода. Оно, конечно, без мяса, без табаку, без водки, без баб трудновато на свете жить, но зато вы спасены. В прямом и переносном смысле — спасены. — в нашем положении это надо ценить. Ну, так как же, земляки, подаетесь в монахи? Держитесь меня, со мною не пропадете!

Посоветовались мы и решили, что, раз никакого выхода нет, придется идти в буддийские монахи.

Келейник буддийского архиерея обрадовался.

— Сперва я вам черную, суровую сторону буддийской жизни показал, а теперь открою светлую. Я уже

сказал, что время от времени я получаю от провидца-архиерея точные сведения, какая лошадь наверняка первой придет, или какой номер лотереи выиграет. Тогда вы пойдете к одному китайцу, с которым я вас познакомлю. Дам вам денег, и китаец будет ставить на выигрышную лошадь и выигрышный номер. Выигрыши вы принесете мне. За труды я вам же на первый раз по десять процентов плачу. Я человек коммерческий и даровых услуг не перевариваю. Вот мой дружеский контракт с вами. А если из монастыря иной раз вырваться доведется, пойдем, братцы, к моей сиамской духовной дочери и там у нее выпьем, закусим, песни наши русские споем. Но только, чтобы все это сделано было «втихаря». Годика два-три протянем, да и в Америку или в Австралию дернем. И там и там станичники мои проживают. Среди земляков оно веселее будет.

Ударили по рукам, произвели нас в монахи. Сначала было трудно, потом освоились. Впереди была надежда вырваться. Ею и жили.

Атаман наш слово держал, и у нас, с его помощью, завелись кое-какие деньжонки.

Но вот, полгода назад, пошел наш атаман к своей сиамской духовной дочери, упился у нее сиамским ромом да сиамскому же Будде православную душу и отдал.

Схоронили мы нашего благодетеля и остались снова сиротами. С ним было легко, он все входы и выходы знал. А мы, одни, что? Без документов, без языка и без всякой поддержки в высших буддийских сферах? Ну, право, хоть вешайся.

Жить здесь не плохо, но не век же людей чужой религии за нос водить? Пробовали начать переговоры с влиятельными китайцами, чтобы побег устроить, но китайцы тоже, сволочи, буддисты, не хотят греха на душу брать и отнимать у Будды его монахов, хоть и липовых, но все же ему принадлежащих. Раз, говорят, надели ризы, так и носите их до следующего перевоплощения! И сами, гады, смеются.

Может ты, Ерофеич, американец, моряк, бывалый

человек, поможешь нам дать драпу отсюда? В долгу не останемся, все деньжата, что накопили, — твои.

Не зная, что ответить, я по-английски спросил Семеныча, что он думает? И он, не колеблясь, пояснил, что дело это крайне трудное и рискованное. Без документов, без языка, даже если он их поручит для доставки в Гонконг знакомым контрабандистам, так и те по дороге убьют, деньги заберут, скажут, что они сами, мол, по неосторожности за борт упали, в свежую погоду. Кроме того, если с ними что-нибудь случится, так он до самой смерти будет себя упрекать, что по его вине ребята, которые всю жизнь страдали, конец мученический приняли.

Я промолчал.

— А ну, давай все вместе еще по одной перекувыркнем, для прояснения мозгов!

Выпили. Акулина поставила пластинку жаровского хора. Раздались величавые звуки «С нами Бог, разумейте языци и покоряйтеся, яко с нами Бог».

Настроение у всех поднялось. Решили обнадежить монахов:

— Не робейте ребята, Бог не выдаст — свинья не съест; что-нибудь придумаем. Был бы я на корабле — другое дело. А так трудновато. Но все ж что-нибудь придумаем. Послезавтра будьте у меня в отеле в 10 утра.

Все были уже порядочно под хмельком. Семеныч поставил другую пластинку. Раздались плавные звуки несравненной русской плясовой.

Зная, как Акулина пляшет «русскую», я пристал к ней — сплясать. Насилу уговорил! Застенчиво закрасневшись, она сделала несколько плавных кругов по гостиной. Такт музыки все учащался.

Вдруг наши отцы святые, подобрав рясы, лихо пустились в пляс перед Акулиной и вприсядку, и вертуном-мельницей, и на всякие другие манеры... Незабываемая была картина! Да и то сказать: где-то у черта на рогах, в Сиаме, буддийские монахи русского происхождения пляшут «русскую», да еще как пляшут!

— Где вас учили так хорошо плясать? В буддийском монастыре, что ли?

— Это у нас от давних времен. Когда еще беспризорными были, так на рынках толпу забавляли, пропитания ради.

Вскоре потом разошлись: монахи в монастырь, а я к себе в отель.

Утром, как проснулся, так и начал думать о монахах. Для приведения мозгов в порядок, выпил чаю с ромом и вдруг — идея!

Нужно ехать в порт и сделать разведку. В шикарных отелях, среди «приличных» людей, трудно рассчитывать на человеческое милосердие. Зато среди нас, «дикарей-моряков», простой человек и его ближние никогда не забываются, хотя без ругани дело и не обходится.

Вышел на улицу. У подъезда отеля стояло такое такси — форменный катафалк... Оно было ободрано, скреплено проволоками, веревками, ржавыми гвоздями. У руля важно восседал шофер-собственник. Я обратился к нему с вопросом на морском международном жаргоне.

Он ответил по-английски, но с таким наречием «кокнея», что у меня засосало под ложечкой от тоски по туманам далекого Лондона.

Он пояснил, что много плавал на английских судах, а отсюда и знание этого языка.

— Ладно, если ты моряк, то скажи, есть ли у вас в порту какие нибудь «культурно-просветительные» места, где собираются скитальцы по морям и по океанам?

— Как не быть! Хотя бы «Отдай якорь», «Встреча друзей», «Кровавая харчевня». Есть еще несколько японских чайных домиков, курильня опиума и бар «Канатный ящик».

— Довольно, пока хватит. Теперь слушай. Я сяду в твой Ноев ковчег, ты отвезешь меня в порт. Когда станешь, мотора не выключай, а то еще не заведется как раз когда надо. В таких местах нож и пуля нипочем и, может, придется давать теку. Если увидишь, что я бегу к машине, включай первую скорость и кати к городу. Я нагоню и вскочу. А если увидишь, что иду спокойно, как ни в чем не бывало, жди. Понял?

— Понял, — сказал он.

Сел в машину, прибыл в порт. «Отдай якорь» и «Встреча друзей» не дали никаких результатов.

Подхожу к «Кровавой харчевне», слышу дикую ругань на всех наречиях мира. Один голос страшно знакомый. «Откуда? Господи! Да это Костя Попандопуло!»

Вошел в бар, и мы упали друг другу в объятия.

Я прошу у читателя извинения за маленькое отступление, но считаю своим священным долгом пояснить, кто был, эстет и человек большой этики, Костя Попандопуло. Делаю это для того, чтобы знал всякий, что на Косте не заработаешь, но что если чудом вырвешься из цепких его лап необобранным или даже просто живым, нужно отслужить благодарственный молебен.

Костю я знал с самой ранней поры далекого детства. Родились мы с ним в одном очаровательном портовом городке юга России, где наши семьи были соседями. Костя был старше меня года на два. Он был страшно уродлив, но мужествен и азартен. Учились мы с Костей в разных школах, откуда нас неизменно вышибали за разные художества, главным образом — за Костины жульнические дела, которые он называл «коммерцией», и в которых я принимал участие. При этом Костя немилосердно обжуливал и меня. Родители лупили нас, как Сидоровых коз, но, в конце концов, решили, что из нас все равно ничего не выйдет, и махнули рукой. Затем мореходная школа, война 14-го года, великая бескровная, Белая армия (точнее — флот) и Константинополь.

Начались плавания по мукам на судах под флагом всех наций, кофейные плантации — Бразилия, резиновые плантации — Малайка, Нью-Йорк, где Костя, отказавшись от прохождения практического курса «подводного плаванья» (мытье посуды в ресторане), обязательного для почти всякого нового эмигранта в Америке, — укатил к себе в далекую Элладу.

Я остался, выучил язык и начал плавать на американских судах.

По приезде в Грецию, Костя поступил на службу

к русскому греку, владельцу двух старых пароходов, настолько допотопных, что ни одна страховая компания не соглашалась брать на себя ответственность за их судьбу.

В сущности, этому греку-судовладельцу повезло необычайно, когда судьба столкнула его с Костей Попандопуло:

Что бы ни говорили о Косте, все покрывала его слава отчаянного, смелого и весьма искусного капитана.

Любую старую калошу, способную затонуть даже стоя на якоре, Костя, набрав команду головорезов и пьяниц Пирея и Патраса, вопреки законам божеским и человеческим, ухитрялся привести невредимой в самые трудные порта мира. И Костин хозяин зарабатывал большие деньги.

Как всякий уродливый мужчина, Костя был уверен в своей неотразимости. На деле же это стоило Косте больших денег. Вдобавок к этому, карты... и Костя пропускал и жалование, и все побочные доходы, до последней копейки.

Этим обстоятельством не преминула воспользоваться дочь хозяина, Олимпиада Харлампиевна, тоже русская гречанка.

Олимпиада Харлампиевна обладала фигурой бегемота и силой тигра, что не мешало ей обладать также довольно добрым сердцем и огромными коммерческими способностями.

Женихов, несмотря на солидное приданое, у нее не было. На Костю была поведена правильная атака, которая закончилась предложением руки и сердца Олимпиады Харлампиевны и двух пароходов.

Костя, скрепя сердце, женился. Но все же выторговал себе право плавать капитаном; жена вела дела, по доброте сердца была председательницей церковных комитетов по оказанию помощи беженцам, главным образом русским грекам. Пошли дети, и никто не мог понять, как у таких уродливых людей могли появиться такие красивые дети?

Старшая, Надя, стала такой красавицей, что о ней говорили все Афины. Костя плавал, спекулировал, во-

зил контрабанду, волочился за бабами, играл в карты. Но, в общем, жена держала его в ежовых рукавицах.

Как-то в Буэнос-Айресе на Костином пароходе вспыхнул настоящий бунт. Его команда отказалась выйти в море до тех пор, пока пароход не будет хоть кое-как отремонтирован.

Олимпиада, узнав об этом, вылетела в Аргентину, привела в трепет зачинщиков мятежа и потушила скандал, раскошелившись на капитальный ремонт парохода. Костя благополучно привел судно в Пирей.

Не боявшийся ни Бога, ни черта, Костя дрожал при упоминании имени жены. Он бы сбежал от нее, если бы не бешеная любовь к детям, в особенности к Наде!

Ко мне Костина жена относилась с материнской нежностью и когда я приезжал к ним в Грецию, то всегда был окружен самым предупредительным уходом. Олимпиада безгранично мне верила.

Костя это знал и очень ценил, так как, если попадался в каких-нибудь проделках, мое слово всегда его выручало. И вот теперь мысль о моем моральном кредите у Олимпиады осветила вопрос буддийских монахов почти чудесным сиянием!

Обмен приветствиями кончился. Узнав, что я бросил плавать и лечу туристом вокруг земного шара, Костя сморщил сливу своего греческого носа и подозрительно спросил, в чем дело? Для отставки ты, мол, еще молод.

Сказал ему, что старею и решил подумать о спасении души.

— Ты мне Лазаря не пой! В чем дело? — повторил Костя.

— Грешил, — говорю, — Костя, я много. Многих обижал. Вот лечу по свету, навещаю бывших и врагов и друзей. У тех, кому зло причинил, прощения прошу, тех, кто меня обидел — прощаю. Заодно я здесь навещаю приятелей, живущих в этих странах, которые еще не совсем спились. В общем, Костя, увидел я перед концом свет истины и страшно рад, что даже тебя, источник стольких моих огорчений, встретил.

— Ты от меня чего-то хочешь? Выкладывай прямо! — еще подозрительней спросил Костя.

— Я хочу, чтобы ты одно доброе дело сделал.

И, рассказав Косте о судьбе буддийских монахов, начал упрашивать его взять их на пароход, если не до Греции, то хоть до Гонконга.

— Ты подбиваешь меня на два больших преступления сразу: одно перед буддийской религией, а другое — перед сиамским законом. Это для меня слишком много. Нет, брат, спасай своих монахов сам!

Я попробовал его «уломать» вторично и вторично получил категорический отказ. Такая твердость заставила меня предположить, что Костя везет контрабанду, а в таком деле лишние свидетели всегда опасны: оттого он и упорен. Тогда я изменил план действий.

Зная его пристрастие к женскому полу и особенно к аристократкам, я пригласил Костю поужинать в одном знаменитом бангкокском ресторане совместно с двумя сиамскими принцессами для серьезных разговоров на тему о жизни в Бангкоке.

— Принцессы? Хорошенькие? — спросил Костя.

— Красавицы! Но веди себя прилично. Они нежные девушки и к таким братоубийственным рожам, как твоя, не привыкли. Форма одежды — белая, парадная, все ордена. Манеры джентльменские.

— Кто будет платить? — спросил Костя.

— Конечно я, тем более, что дело идет о моем духовном возрождении.

На этом мы расстались. Приезжаю в «Казанову», заказываю столик на четырех и предъявляю требование на двух сиамских принцесс.

«Сиамских принцесс найти невозможно», — возразил метр д'отель. «В Бангкоке — королевский дворец, и за принцесс никого выдать нельзя. Единственное, что можно, — это аннамитских».

Минут через двадцать они явились, обе — в экзотических сиамских платьях и обе говорящие чуть-ли не на всех европейских языках.

Костя, как я уже сказал, успеха у прекрасного пола не имел. Но стоило ему увидеть мало-мальски хорошенькую женщину, как у него разгорались глаза.

Я, стало-быть, велел принцессам с первого взгляда влюбиться в Костю и тотчас же начать его одна к другой ревновать. Для пущей важности, я пояснил, что Костя экс-адмирал королевского греческого флота и командует торговым пароходом из любви к морю.

— Отлично, — ответили принцессы, сразу все понявшие. — И не волнуйтесь, грек ваш останется доволен. Но кто будет платить и сколько?

— Платить буду я!

Пошептались. Вышло по 20 долларов на каждую.

Я достал двадцатки, аккуратно разорвал их надвое и вручил каждой принцессе по половинке.

— Вторые половинки получите, когда закончится вечер.

Они рассмеялись и ушли, обещая не опаздывать.

Все пошло как по маслу.

Костя появился ровно в восемь. Был он в ослепительно белой форме. Грудь его украшали всевозможные ордена, один другого удивительнее.

Тотчас представляю экс-адмирала принцессам. На столе появилась бутылка шампанского, выпили за встречу, за дружбу. Принцессы оказались на высоте. Они были всецело поглощены Костей и на меня не обращали никакого внимания.

Еле успеваю шепнуть ему:

— И везет же тебе! Смотри, не успели познакомиться и уже такой успех!

— Кому что Бог дал: кому ум, кому красоту, — скромно заявил Костя.

Я вижу — клюнуло, и Костя на крючке. Теперь надо осторожно «подсечь», иначе монахи в Бангкоке и останутся.

— Ну, — говорю, — Костя, и счастливый же ты! Ты знаешь, что я для друга ничего не пожалею. Пусть и моя принцесса сядет рядом с тобой. Ты окажешься в середине, меж двух аристократок. Хочу фотографировать твой успех в высшем свете Бангкока.

Костя самодовольно усмехнулся.

— Не возражаю, — сказал он.

И вот Костя между двух принцесс, которые напе-

ребой за ним ухаживают. Я вытащил из кармана маленький фотоаппарат.

— Прими интеллигентное выражение, Костя. Раз... два... три!

Я сделал несколько снимков и запечатлел, как Костя обнимал то одну, то другую принцессу.

Когда они отлучились по своим делам, я воспользовался моментом снова попросить Костю увезти монахов.

Но он наотрез отказал.

— Ну что-ж! На нет и суда нет. Нельзя так нельзя! — сказал я и налил шампанского в бокалы.

— Ты лучше скажи, Ерофеич, как же ты живешь после отставки? На какие деньги? Вижу путешествуешь как турист! Ведь это дорого стоит.

— Кроме пенсии, я подрабатываю как лектор. Ты знаешь, что русские рассеяны по всему свету. Вот я и знакомлюсь с тем, как они живут, фотографирую их церкви, их дома, их семьи. И затем поступаю так: русским в Аргентине рассказываю, как живут русские в Греции, а русским в Греции, как живут русские в Сиаме. Вот, скажем, через неделю прилечу в Афины (при этих словах Костя стал нервничать). ...И надеюсь, твоя супруга, как председательница Русско-Греческого комитета, поможет мне в устройстве лекций. Ну и конечно, я очень обрадую ее, когда, с помощью волшебного фонаря, покажу ей ее благоверного в компании двух принцесс.

Костя вскочил, как ошпаренный!

— Да что же ты со мною делаешь? Ты меня погубить хочешь? — закричал он.

— Можно и не губить. Все негативы, до проявления их, я отдам тебе, но только при одном условии: отвези монахов в Гонконг!

Костя ругался бешено. На всех языках мира! Я соблюдал олимпийское хладнокровие и молчал. Наконец, излив свой гнев, он произнес:

— Ладно, тащи своих монахов на пароход. Да кто они тебе, эти монахи, родственники?

— Да, Костя, они мои родственники. Русские они, так же, как и ты, несмотря на твое полугреческое про-

исхождение. Стал бы и ты таким же образом буддийским монахом, я бы и тебе помог выбраться отсюда.

— Ну, ладно, ладно! Положим, в Гонконг я их доставлю, а что я с ними буду делать? Как я их выгружу там? Ведь это не товар, это живые люди!

— Костя, ты забываешь, что говоришь с таким же моряком, как ты. Ты, видно, забыл, что во время войны плавал у меня третьим помощником. Что же ты дурака валяешь? Везешь, наверно, какой-нибудь контрабандный товар? Да не криви пасть, знаю, что везешь. Поэтому, конечно, будешь стоять на якоре в Китае и, если где монахам затеряться, то только там.

Он посмотрел на меня озлобленным взглядом, но сухо и по-деловому заявил:

— Завтра утром будь с монахами в порту. В одиннадцать принимаю их на борт. Снимаюсь с якоря в двенадцать. С портовой полицией управляйся сам. В случае чего — ты в ответе, я ничего не знаю. Пленки захвати непременно. Передашь на борт. Принимаю монахов, черт с тобой, повезу их в Кавлун. Но смотри, чтобы оба были немы, как рыбы. До того, что я за груз везу на пароходе, им никакого нет дела, понял?

— Как не понять!

— А все-таки и скотина же ты! — не унимался он и пулей выскочил из ресторана.

Но тут опять несчастье... Легче иметь дело с голодной тигрицей, чем с аннамитской принцессой. Наши дамы вернулись, когда Кости уже след простыл. Я передал им две половинки двадцаток и поблагодарил их за содействие в святом деле спасения человеческих душ. В ответ принцессы закатили мне такую сцену, что я не рад был, что связался с ними.

— Так в чем же дело? — спрашиваю.

Они отвечают, что из-за меня они «теряют лицо». А на Востоке «потеря лица» равносильна гражданской смерти.

Лицо же они потеряли потому, что если такой урод Квазимодо, как Костя, отказался от их чар, да еще на виду у завсегдатаев «Казановы», то их акции упадут до чрезвычайности.

Пришлось заплатить каждой по десять долларов.

Утром в 10 часов ко мне пришли монахи. Робкий, запуганный и вопрошающий взгляд! Прямо сердце сжалось, глядя на них, силой оторванных от родины, не знающих языка страны, в которой живут, ставших монахами потому, что пришлось выбирать между монастырем, тюрьмой и принудительной высылкой в Советский Союз.

И куда только судьба не заносит наших земляков, и что она с ними делает?! Вот и здесь увидел я их в нелепых балахонах, босых, собирающих милостыню, с круглыми чашами на ремнях через плечо.

— Садись, ребята. Чай пили?

— Да какой уж там чай! Есть какая-нибудь надежда?

— Все с собой взяли?

— Да, все.

— Так вот: есть пароход, который через два часа выйдет в Гонконг. Капитан — русский грек, мой приятель, на вид бандит и разбойник, но это только на вид. Вы его не бойтесь. Он вас и доставит в Гонконг, вернее не в Гонконг, а в Кавлунг, напротив Гонконга. Не удивляйтесь, если вас спустят на китайскую джонку. Сойдете на берег, найдете русскую церковь: где она, объяснять не надо, русскую церковь, надеюсь, с другими храмами не спутаете. Идите прямо к священнику и объясняйте, в чем дело. Можете сослаться на меня, но он вас и так не бросит на произвол судьбы.

— А как там насчет работы?

— Идите в отель »Пенинсула»; там управляющий — русский, может он и даст какую-нибудь работу. А уж из Гонконга вас куда-нибудь направят: может в одну из Америк, может в Австралию. Но считайте, что вы из Сиама вырвались.

Смотрю, у обоих монахов слезы на глазах.

— Что это с вами? А еще беспризорники бывшие! На похороны, что-ли, пришли? Ну, веселей, слушай мою команду! — И я вызвал по телефону Василия Семеньгча.

Один из монахов говорит:

— Вот что, Ерофеич, есть у нас тысяча долларов, бери половину. Ты и не знаешь, что сделал для нас.

— Бросьте, ребята, деньги мне ваши не нужны, а в Гонконге они вам пригодятся, и очень. Спрячьте и помалкивайте. Что капитан на том пароходе вас не утопит, — даю гарантию. Но если не будете держать язык за зубами, сойдете с парохода не только без гроша, но еще и без штанов. Чтобы никто не знал, что у вас есть деньги: ни капитан, ни команда. Поняли?

— Понимаем. Спасибо тебе, Ерофеич, на добром слове; мы и так знали, что денег ты не возьмешь. Принесли тебе другой маленький подарочек. Наш казачок-благодетель, наверно смерть свою чуя, дал нам его, сказал, что это талисман. Силу большую он имеет, и кто в него верит, во многих бедах тому помогает. Верили мы, что с его помощью отсюда выберемся. И вот выбираемся. Кто в Бога, кто в Будду, кто в Николая Угодника верит, и пока он верит, — жив и спасен тот человек будет. Не обессудь и прими от нас на память...

И они протянули мне очаровательную статуэтку розового Будды. Я поблагодарил и положил в карман.

Пришел Семеныч. — Везем, — говорит, — святых отцов в магазин, мы их переоблачим в морских кочегаров.

Сели в такси, приехали в магазин, скинули монахи свои балахоны и надели синие куртки, синие штаны. Настоящими сделались «духами» (так моряки называют кочегаров).

Зашли в бар. Приказали им выпить по большому стакану рома, чтобы у таможенных чиновников получилось впечатление, что их начальник, Семеныч, везет запоздалых пьяных моряков на готовый к отходу корабль.

Пролетели ворота. Караульные еще честь отдали Семенычу. Ух, пронесло!... Слава Тебе...

Костина «калоша», под неопределенным от грязи флагом, была уже готова к отходу. Стояла «по местам» команда в стиле героев Максима Горького и Джека Лондона.

Поднялись на борт: монахов сразу в машинное отделение, Механик знал, в чем дело. Я сунул аппарат с негативами в Костину руку.

— Ну, хорошо, Ерофеич, сделка состоялась. Те-

перь убирайся отсюда, пока я тебя не убил! — прогромыхал он.

Потом, протянув руку, отрывисто бросил:

— Будешь в Афинах, скажи Олимпиаде, что надеюсь вернуться месяца через четыре.

Мы сошли на берег. Концы были отданы. Судно медленно разворачивалось для выхода в море. Накрапывал мелкий дождик. Костя, на мостике, «разносил» третьего помощника, потом лег на курс, спустил лоцмана и ушел в открытое море...

В грустно-тихие, серые сумерки осенних ночей часто я сижу у окна моего кабинета, слушаю нежно-ворчливую песенку отлива уходящего на ночной покой старика-океана. Мой уже тускнеющий взор медленно бродит по сокровищам, вывезенным из далеких-далеких стран, куда я больше не вернусь. Я вспоминаю о сказочных местах, где я бывал, о встречах, о бурях, об ураганах, о тихих лагунах Полинезии. И когда мой взор падает на статуэтку розового Будды, освещенную ласковым полусветом, — такую успокаивающую своей ровной красотой и тихой радостью, я вспоминаю Бангкок, Семеныча, Буддийских монахов-псковичей...

Думаю, где они сейчас? Нашли ли то, что искали их смятенные души? Живы ли они?

Если живы, то отзовитесь!

СУЛАМИФЬ ОСТРОВА ЦЕЙЛОНА

«...Большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее...»

«Песнь песней»

От главного директора и старшего капитана пароходного общества «К. А. Попандопуло и К» получил я радиограмму: сдать все дела Нью-Йоркского отделения нашей компании его сыну Харлашке, вылететь срочно в Сингапур и вступить в командование кораблем, сменив опасно-заболевшего командира.

Вместо обычной (для экономии) подписи «Костя» стояло: «твой К. А. Попандопуло», а это означало решительный приказ, который, хочешь не хочешь, надо было выполнять. Чертыхаясь на всех знакомых языках мира, закрыл я уютную квартиру в Нью-Йорке, на аэроплане, через Сан-Франциско и Токио, в два дня очутился в Сингапуре, о чем и сообщил моему патрону короткой телеграммой.

Если читатель не знает, что это за тип, Константин Аристидович де Попандопулов, то могу сказать только одно, что на этом он много не потерял.

Я же, связанный с этим фруктом дружбой, плаваниями, ссорами, драками и делами в течение пятидесятипятилетней жизни, покорно несу наверное за грехи мои посланную мне кару-привилегию быть не только другом этого субъекта, но к тому же и крестным отцом его потомства. Как всякий русский грек, Костя обладает страстной натурой, от него можно ожидать всего, начиная от самого христианского подвига, до самого мелкого шуллерства в любой игре, от карт до шахмат,

включительно, и если добавить его качества великого донжуана, моряка и коммерсанта, то вы поймете, что с ним лучше дружить, чем ссориться. Трогательная личность... Но об этом после.

Стройный 20.000-тонный корабль-грузовик японской постройки с шикарными помещениями для командира и всего экипажа блистал приятной новизной. Было как-то даже радостно чувствовать себя абсолютным властелином этого морского великолепия. Пароход совершал рейсы между Сингапуром и Коломбо с редкими заходами в Пенанг. Расстояние, что-то около 1.500 морских миль, покрывалось 15-узловым экономическим ходом в четыре дня. Сдали груз, взяли новый, и через 8 дней снова «дома», в Сингапуре. Волшебная экзотика этих мест иногда теряла свою прелесть от невыносимой жары экватора, но это затруднение устранялось питьем джина с хинной водой, что, как всем известно, утоляет жажду, охлаждает, предохраняет от тропических болячек, среди которых первое место занимает желтая лихорадка.

Будучи убежденным холостяком, я, конечно, в портах хаживал на берег, шел в какие-нибудь уютные места-клубы и, сидя в укромном уголке всегда один, потягивал свой напиток, отдыхал душой и любовался красотой местных женщин.

А хороши женщины Малайи! Их коричневые тела цвета темного шафрана, блестящие глаза черного сиамского сапфира, их стройные, эластичные фигурки с чуточку непропорциональными головками напоминают какой-то невиданный по красе цветок, медленно качающийся на гибком, упругом и приятном для глаза стебле-стане молодой танцовщицы, и приводят вас в экстаз тихого восхищения от созерцания этих чар Востока.

А когда такая вот фея проходит мимо вашего столика, от нее веет волнующим запахом мускуса и еще каких-то странных цветов, растущих только в этих местах земного шара, а все это, вместе взятое, заставляет вас терять голову. Да, нечего сказать, прекрасны малайки, и даже такой великий донжуан, как мой старший компаньон и капитан нашей компании, Костя

Попандопуло, с его огромной «эрудицией» в «женской области» всего мира, находит малайек самыми женственными, красивыми, покорно любящими существами из всех женщин этой грешной планеты. Что-что, а на эту тему с ним спорить нельзя. В этом «вопросе» равного ему знатока найти довольно трудно.

Я — другое дело. Скромный от природы по отношению к представительницам прекрасного пола, я только любовался, как эстет, малайками, зачастую одетыми в их национальные саронги или сари и... это было все.

Такого рода клубы-кабаре находятся главным образом в Пенанге и Сингапуре. А вот в Коломбо, на Цейлоне...

Между прочим, в моем понятии, если на земле был рай, то он должен был существовать только на острове Цейлоне! Как красив этот остров! Изумрудно-зеленый, то с довольно высокими горами, то со сверкающими покровом белого песка, ровными, пологими пляжами, обрамленными гордыми королевскими пальмами, опоясанный белой пеной прибоя темно-фиолетовых волн Индийского океана Цейлон оставляет неизгладимое впечатление!

Там распускаются невиданные нигде в мире цветы, растут необыкновенные по виду и по вкусу фрукты. Воздух напоен пряным и волнующим запахом цветов и пряностей.

О лунных ночах над пляжами Цейлона говорить лучше не буду. Такая торжественная красота! Недаром Жорж Бизе местом действия для своей оперы «Искатели жемчуга» избрал Цейлон и ария Надира этого его произведения рисует роскошь усеянного яркими звездами черного, мягкого бархата ночи этого райского уголка.

Но есть там и джунгли с дикими слонами, тиграми и множеством опасных ядовитых змей. Полного совершенства даже в природе, по-видимому, не существует, как нет и полного счастья на земле.

Коломбо, главный порт острова, построен большей частью на европейский лад. Это колыбель буддизма, перекочевавшего сюда из Индии. Много монахов в

шафранных одеяниях. Буддийские, индусские храмы старинной архитектуры... Смешанное население острова... Поражают уши мужчин Цейлона: они окружены длинными волосами, которые цейлонцы никогда не бреют, а просто обматывают ими уши, отчего те видом своим напоминают летучих мышей. Экзотичны женщины Цейлона, хотя до малайек им далеко. Много китайцев, почти исключительно занимающихся торговлей и отельным делом. Нельзя забыть и сады корицы (Cinnamon gardens) и знаменитый парк Виктории Коломбо.

В 72 милях от города, в очаровательном городке Кэнди (Candy), окруженном вечно-зелеными чайными плантациями англичан, живущих в приветливых коттеджах и редко смешивающихся с туземным населением, находится известный всему буддийскому миру храм Зуба Будды. Храм всегда переполнен пилигримами, хотя настоящий зуб Будды по приказу какого-то магометанского повелителя был удален и заменен, не знаю чем. Народ же продолжает верить, молиться и надеяться... Религию, веру, легенду среди верующих убить трудно.

Есть там даже одна группа фанатиков, запросто ходящих босыми ногами по раскаленным углям. Этого зрелища я лично не видел, с меня было довольно увидеть однажды в Греции, около Салоник, группу босоногих женщин, с иконами в руках свободно разгуливающих по прогоревшему костру... Для этого нужно иметь либо железные нервы, либо обладать самым крайним любопытством.

Да, интересен Цейлон! Его красот и странностей забыть нельзя, как нельзя забыть и тот случай, который осветил заревом нечаянной красоты необыкновенной встречи поздние сумерки уже наступающей ночи моей жизни...

Как-то зашел я в бар китайского отеля, очень приличный и наполненный оживленной, смеющейся толпой нашего брата-моряка, вечного странника по всем водным пространствам мира до того дня, пока его не

женят или не посадят в приют для престарелых жрецов культа Нептуна, или Посейдона.

Конечно, сразу же нашел кое-каких приятелей, радостно пригласивших меня к бару а за его стойкой жертвоприношениями Бахусу распоряжалась такая его жрица, что я открыл рот, окаменел от изумления и так и продолжал пребывать в остолбенении до тех пор, пока не услышал тихий грудной и, как мне показалось, довольный произведенным ею на меня впечатлением вопрос: « What do you wish to drink, sir ? » (что вы желаете выпить, сэр?).

«Сэр» что-то невнятно пробормотал. Невзирая на врожденную скромность по отношению к женщинам, я залпом выпил виски-сода, попросил еще и, как мне самому показалось, начал нахально рассматривать эту невероятную женственную китайскую красоту (я подчеркиваю «женственную красоту»), некое воплощение мечты поэта, эстета и утонченного мужчины.

Прошло уже несколько лет после этой встречи, но экстаз первого впечатления не изгладился, он даже усилился вследствие нескольких лет разлуки, избежать которых было нельзя.

Под добродушные насмешки приятелей я пришел в себя и украдкой, но уже спокойнее, начал разглядывать это очаровательное существо. В далеком детстве я иногда читал «Журнал для женщин» старой России. Там кто-то писал статьи под псевдонимом «Игрушечная маркиза», и это имя, пока только мысленно, я и дал китаянке-буфетчице в недорогом баре на Цейлоне, одного мизинца которой не стоили бы все настоящие маркизы всего мира, вместе взятые.

«Игрушечная маркиза», фигурка и головка которой были выточены Великим Скульптором из китайской яшмы кремового цвета в стиле искусства древней династии Мингов, навсегда останется принцессой моих уже старческих грез.

Ее личико, обрамленное гладко-причесанными блестящими волосами цвета черного китайского лака, мягкостью изящества линий напоминало цветок анютиных глазок, а ее глаза говорили о влажности жасмина, омытого первой утренней росой. Тоненький, поро-

дистый, со странной для китаянки горбинкой носик и бездна утонченной, беспомощной, на первый взгляд, женственности ясно указывали на высшую породу, которую смыть, спрятать ничем нельзя, несмотря ни на какие превратности судьбы. Цвет кожи ее лица был нежно-кремовый, почти как у японок высшей касты. Спокойное же лицо отражало все ее реакции на каждое слово, жест и шум многочисленных посетителей бара. В противоположность женственности ее личика, фигурка ее напоминала стан молодой пантеры игрой мускулов, заставлявших причудливо переливаться старинную китайскую материю: ее платье плотно облегало молодое стройное тело, когда она нагибалась, чтобы достать что-нибудь из нижнего отделения буфета.

Конечно, ей приходилось выслушивать всякого рода комплименты и двусмысленные вопросы; но все это принималось ею с какой-то детски-покорной и все же полной достоинства улыбкой.

В тот памятный вечер в Коломбо я был действительно как в тумане и мне трудно описать полностью впечатления этой первой встречи.

Помню только, что выпил я много, а опьянеть был не в силах. И мое чувство к незнакомке не было скоропалительной влюбленностью старого ловеласа в изумительную молодую женщину; наоборот, даже мысли о какой-то возможной интрижке (на Востоке старики имеют больше шансов на успех, чем молодые повесы) не было. Всякие шаловливые побуждения могли показаться чем-то чуть ли не преступным, когда вы смотрели на эту женщину.

Я расплатился и ушел на корабль, овеянный воспоминаниями о такой редкости. Власть современной красавицы, в моем понятии, заключается в ее женственности, так редко встречающейся в наш спортивный, практический, бездушный, джазовый век, и я был покорéн.

В эту ночь, сознаюсь, спать я не мог, а к утру, проанализировав мое состояние, пришел к заключению, что я нахожусь во власти культа поклонения этому незнакомому, но такому редкому созданию, без всяких задних мыслей.

Нечего и говорить о том, что до отхода корабля в Пенанг и Сингапур, я каждый вечер приходил в этот бар и встречаемый легкой, непринужденной, но скромной улыбкой сидел один в левом углу и молча пил свое виски. Не задавая ни единого вопроса, я любовался моей теперь уже не игрушечной маркизой, а королевой моих грез, женщиной, имени которой я даже не знал, боялся спросить. Так продолжалось в течение нескольких рейсов, и я все еще находился в состоянии какого-то светлого, ни к чему не обязывающего, добровольного восхищения этой странной женщиной далеких тропиков. Добавлю, что ни в какие другие клубы-кабаре я не ходил и жил только мечтой о возвращении в Коломбо, радостью встречи с легкой улыбкой и вечно неизменным, на отличном английском языке вопросом: « What do you wish to drink, sir, to-day ? » (Что вы желаете выпить сегодня, сэр?).

Перед одним из рейсов в Коломбо, забрел я в Сингапуре в магазин антиквара-японца, где выбрая стилизованную статуэтку молодой кошки из зеленого нефрита поразительной работы, игравшую самыми причудливыми переливами света и теней этого прелестного камня.

А в Коломбо, в баре, вечером, перед тем, как она поставила передо мною стакан с сода-виски, я положил на стол эту редкость и встретил детски-восхищенный взгляд человека, понимающего толк в искусстве. Среди гама, царившего в баре, музыкой прозвучал ее вопрос: где я мог достать такую красоту? И, с надеждой в голосе: кому это предназначается?

Решил сказать, кому я привез эту игрушку. Сначала последовал вежливый отказ. Я настаивал. В конце концов ей пришлось принять мой подарок. Кармином спелого персика покрылись ее щеки, а благодарный взгляд слегка косящих глаз я помню до сих пор. Она побежала показывать котенка хозяйке бара, старухе-китаянке, сидевшей у другого конца стойки. Я вышел на улицу в каком-то странном состоянии тихого, радостного удовлетворения.

Моя первая жертва была не только принесена на алтарь моего эстетического поклонения, но и была бла-

госклонно принята его маленькой богиней. Пустая жизнь была заполнена светлой радостью безнадежного, но все-таки упования старика, идущего к концу бессмысленной, бурной жизни.

Через два дня радиотелеграфист принес депешу: «Лечу в Японию. Остановлюсь на один день в Коломбо. Жди завтра вечером. Костя».

Не было печали!.. В тот момент мне так же хотелось видеть Костю, как присутствовать на похоронах турецкого архиерея, но Костя — хотя и «типик», а все же друг детства, — бранимся всю жизнь, а живем, как братья, по счастью — не всегда, правда, вместе, а видеться, хоть и редко, а все же нужно.

Ну, подумал я, значит следует готовиться к вечной волынке его любовных похождений; будет жаловаться на свою жену, детей, на афинских друзей, собутыльников по кафе Зонтарь, в общем — на весь мир людской, который не понимает его тонкой, одухотворенной натуры.

В то же время, если заметит что-нибудь неладное на корабле, подпустит, конечно, ядовитую шпильку, что приведет к перебранке и, возможно, кратковременной ссоре... Но все это теряло всякое значение, когда я вспоминал слегка косящие глаза, улыбку и музыку движений женщины Востока.

К указанному им времени Костя на корабль не явился. Попросив старшего офицера сообщить Косте, где он может меня найти, я пошел в бар китайского отеля.

Всегда волнующий взгляд первой встречи, грациозно-лукавый наклон головки и, как показалось, легкий упрек в вопросе: « What do you wish to drink, sir ? ».

Я что-то заказал и начал медленно пить, как вдруг на плечо мне легли лапы самого Кости Попандопуло. Та же борода, та же золотая трубка, то же великолепие формы капитана и тот же вечный запах перегара от возлияний Бахусу. Обнялись, облобызались, пожали руки и начали разговор. Туша Кости вскарабкалась на высокий стул у бара рядом со мною, начали подходить приятели, — Костю знал весь мир моряков, — пошли приветствия. Вдруг он повернулся лицом к

стойке, желая, очевидно, заказать виски, и тут, впервые в моей жизни, я увидел Костю прямо окаменевшим, с широко открытыми глазами, перед видением моей игрушечной маркизы.

— Это что такое? Кто она? — по-русски обратился он ко мне.

— Не знаю! Буфетчица...

— О, ты не знаешь! Буфетчица!!! Всю жизнь не могу отучить тебя от глупой и наглой привычки врать мне да еще так неумело! — авторитетно заявил великий воспитатель. — Я уверен, что ты не знаешь даже ее имени?

— Не знаю, — чистосердечно сознался я.

— Ты может быть не знаешь, что перед нами стоит такая женщина, что даже Я никогда во всей моей жизни подобного ничего не видел?

— А это, мой друг, я знаю! Прошу тебя перестать приставать ко мне со всякого рода идиотскими вопросами. Ты ведь знаешь, что я эстет и любуюсь редкими по красоте вещами издали, на расстоянии...

— Что ты — идиот, это я давно знаю. В отношении женщин ты всегда был профаном и кретином, но как ты не сумел познакомиться с таким шедевром, признаюсь, мне непонятно. Ведь это что-то прямо невиданное...

Мне почему-то показалось, что предмет Костиного восхищения прислушивался к нашему разговору.

— Дурак ты! — безаппеляционно объявил Костя, — пропускать такую редкость! — и начал тянуть свой напиток. Китаянка, скрестив руки, спиной стояла к бутылкам на полках и с чуть вздрагивающим от любопытства носиком смотрела на нас. Это мне показалось крайне для нее необычным.

— Вот если бы не мое срочное деловое свидание в Иокогаме, от которого я не могу отделаться, я бы показал тебе, как действует настоящий мужчина в таких случаях, и эта орхидея была бы моею...

— А вы в этом уверены? — чистейшим русским, музыкально-ласковым языком спросила китаянка.

От радостного изумления я оцепенел. Костя вытаращил глаза, раскрыл, как крокодил, свою пасть, от-

куда с тихим звоном упала в стакан верхняя челюсть его фальшивых зубов, которую он, спрятавшись, выловил, чертыхаясь, вставил в рот и, впервые в жизни смущенный, спросил ее:

— Где вы учили русский язык?

Я радостно ожидал ее ответа.

— Да в той же стране, где учили его и вы, но, возможно, в более серьезной школе...

— Это почему же в «более серьезной школе», чем я? — почти обиженно спросил Костя.

— Да потому, что у вас южный, одесский выговор, а я с детства говорю по-русски. Россию знаю хорошо и окончила четыре года тому назад Московский университет, вот поэтому уверена, что вы там не учились...

— Это вы-то окончили университет? В ваши годы? Ведь вы же еще ребенок! — выпалил Костя.

— Не такой уже ребенок. Мне 30 лет недавно исполнилось.

— Вам?

— Да.

— Ничего не понимаю! — проговорил видимо совсем озадаченный Костя и потом, обращаясь ко мне по-гречески, спросил: — Ты уверен, гад ты ползучий, что не разыгрываешь меня?

Я молча поднял и опустил голову, щелкнул языком в знак отрицательного ответа, что, мол, OXI, нет, не знаю!

— Но как вы очутились в России? Почему вы теперь здесь? Как вас зовут? — приставал Великий Дон-Жуан.

Мягко-лукаво улыбаясь, глядя на Костину смущенную рожу, она ответила:

— Мы, китайцы, глубоко уважаем стариков, а вам, с вашей замечательной бородой, можно дать лет под 75...

Костя зло поперхнулся глотком виски.

— Но, русская по воспитанию, я все же не хочу, чтобы вы старели еще больше. Оставайтесь таким, каким вы есть...

— Это ж почему? — перебил Костя.

— Да потому, что если все будете знать, то скоро

совсем состаритесь, — и победоносно-лукаво бросив ему взгляд, она перешла на другой конец бара к новоприбывшей компании моряков.

Мне стоило адских усилий сдерживать смех над положением Кости, и хорошо было хоть то, что его многочисленные приятели не понимали по-русски. Иначе был бы совсем зарез для его репутации донжуана, покорителя женских сердец всей вселенной.

Выдавив на своей каторжной физиономии подобие какой-то светской улыбки, Костя вежливо расплатился. Распрощались мы молча и пешком отправились на корабль. Мне казалось, Костя что-то усиленно обдумывал. Он первым прервал молчание.

— Так это верно, что ты ничего не знаешь о ней? Не знал о том, что она говорит по-русски до этого вечера, а?

— Твоими устами говорит сама истина, о Заратустра!

Костя прошипел замысловатое греческое проклятие, перечисляя мою родословную до глубины веков, вплоть до появления самого Заратустры на этот не всегда приятный свет, а затем добавил:

— Я тебя, дурака, спрашиваю, так ли это или нет? Отвечай по существу и не впутывай в это дело философов, о которых ты ни черта не знаешь... (Костя «изучал» философию и считал себя авторитетом в этой науке). [1])

— Клянусь я первым днем творенья, клянусь ТВОИМ последним днем, который может наступить очень скоро, если ты не перестанешь приставать ко мне со всякого рода идиотскими вопросами об этой женщине. Знать не знал, ведать не ведал! Твоими детьми клянусь, даже! Ставь точку над своими гнусно подозрительными допросами... На них я больше отвечать не буду...

— Это ее счастье, что завтра я улетаю в Японию. Времени нет... А то я ей показал бы, где раки зимуют! Не такие, как она, женщины стояли предо мною на ко-

---

[1]) Мы с Костей с детства любили поражать друг друга высокопарными фразами, зачастую не зная их значения.

лениях. Но я еще вернусь сюда! Отомщу ей за сегодняшний разговор со мною, — у греков чувство мести священно! А за зубы вчиню дантисту громадный иск. Ты будешь здесь плавать еще месяцев 5-6, так узнай все об этой женщине: кто и что она, и сообщи мне. Эти сведения мне нужны для плана моего возмездия. Понял?

— Понял. Выполню твой приказ.

Мы разошлись по каютам спать.

В моей душе все пело. Если бы не Костино поражение в этот вечер в Коломбо и не его приказ выяснить все об этой женщине, то я никогда не заговорил бы с нею... Робок ведь я с прекрасным полом. Но тут нужно было исполнить просьбу-приказ моего друга, компаньона и старшего капитана пароходной компании »К. А. Попандопуло». С этой мыслью я упал в объятия Морфея.

Утром Костя улетел в Токио, а я нетерпеливо ожидал цейлонской прохлады вечера.

Вошел в дымно-влажный, шумный бар. Встретил улыбающиеся глаза. С левой стороны ее очаровательной головки заметил умело-небрежно воткнутую в волосы свисавшую гардению. Подошел к бару.

— Здравствуйте! — сказал я по-русски.

— Здравствуйте! Вы сегодня один?

— Да. Можно попросить у вас сода-виски?

— Пожалуйста! — Принесла напиток. Было видно, что она умирает от любопытства и от желания выяснить всю подоплеку вчерашнего вечера, но удерживает себя. Решил ей помочь.

— Несколько месяцев посещаю ваш бар, вижу вас каждый раз, но мне даже не снилось, что вы говорите по-русски да еще как! Я страшно рад тому, что вчера пригласил моего друга: если бы не он, ваше знание русского языка осталось бы для меня тайной...

— Этот капитан — ваш приятель? — улыбаясь, спросила она.

Пришлось признаться в дружбе, рассказать о плаваниях, о нашей общей пароходной компании. В заключение, я попросил извинения за Костину бестакт-

ность и добавил, что за пределами его слабости к женщинам он — не плохой парень... Улетел в Японию, но непременно вернется сюда.

Последовала изящно-детски лукавая улыбка и затем слегка удивленный ответ:

— А я принимала вас за чайного плантатора, а не за капитана корабля, а уж о том, что вы — русский и речи быть не могло... Приятно поражена моими открытиями о вас, и все — благодаря вашему другу, его манере раздевать женщину, да еще где? В кабаке! Поэтому вчера я его слегка отчитала, а теперь благодарна ему...

— Я не боюсь постареть, — я уже старик, — но скажите мне, кто вы? Откуда? Почему вы здесь? Почему Московский университет, а затем — Коломбо? Вы меня извините, но я, как женщина, сгораю от любопытства.

Она отошла налить виски другому посетителю. Вернулась.

— Мне будет трудно рассказать вам всю мою историю здесь, на работе.

— Хорошо! Вы можете прийти ко мне на корабль? Завтра, к завтраку? Я через три дня ухожу в Пенанг, затем в Сингапур...

— Хорошо, я буду завтра у вас в 12 часов дня. Времени для разговора хватит: я начинаю работать в 5 часов вечера. Где ваш корабль, как он называется?

Я дал ей все сведения, сказал, что буду ждать ее сам у сходней, попрощался и ушел. Сидеть и смотреть на эту прелесть-загадку не было сил...

Жаркий, остро-пряный воздух на Цейлоне! Расслабляет, одурманивает человека, попавшего туда.

В 11 часов следующего утра, в моей капитанской каюте был приготовлен стол для завтрака на две персоны. Толстый восточный ковер, картины, белоснежное столовое белье, отличное серебро, хрусталь, английская посуда, цветы, влажно-зеленоватая бутылка Château d'Ay в серебряном ведре со льдом, мало говорили о скромной, почти монашеской жизни капитана, но К. А. Попандопуло, главный директор и старший капитан нашей компании, что-что, а денег для ком-

форта командира и экипажа наших многочисленных судов не жалел.

Подчеркивая корректность визита, я оделся в белую морскую форму, нацепил все колодки орденских и других компаний ленточек за все мои войны. Мой необычный наряд (коммерческие моряки редко надевают форму) вызвал удивленные взгляды моих офицеров и команды, но я хранил олимпийское спокойствие и хладнокровие.

В 12 часов я стоял на берегу у трапа (сходней) корабля гадая, сколько времени придется ожидать мою гостью. Женщины ведь редко бывают аккуратны в вопросах времени...

В 12 часов и 5 минут к кораблю подкатил автомобиль и вместо ожидаемой мною женщины Востока в национальном одеянии из него вышла по-европейски, с массой изящного вкуса одетая молодая дама в прелестном кремового цвета чесучевом костюме, в элегантной розово-бежевого оттенка шляпке с дымчатой вуалью (почему женщины теперь перестали носить вуаль? Это так красиво, волнует, интригует какой-то тайной!), опускавшейся до верха ее безупречного рта и так заманчиво оттенявшей белизну ее улыбки...

Быстрое, уверенное пожатие ее узкой руки, затянутой в длинную перчатку, — и я последовал за нею по сходням, любуясь стройными линиями ее ног, красоте которых могли бы позавидовать миллионы женщин. Беглый осмотр корабля, и мы вошли в мою каюту.

— Я второй раз в жизни нахожусь на океанском корабле. Первый раз — в трюмном помещении, когда я плыла из Гонконга в Коломбо, это не было особенно восхитительным, но теперь, здесь, я прямо поражена роскошью и комфортом ваших трех кают.

Она подняла вуаль, сняла шляпку, села в кресло. Я, совершенно обалделый, предложил ей папиросу. А обалдеть было от чего: предо мною сидела не китаянка-буфетчица средней руки бара для моряков, а говорящая на четырех языках утонченная молодая женщина, спокойно-уверенная в своей привлекательности, знающая себе цену светская дама и, я повторяю сно-

ва, наполненная массой мягкой женственности, за которую одну можно безумно любить, пойти на край света, покорять страны, создавать империи и, вообще, наделать глупостей черт знает каких! И все за то, чтобы хотя бы только быть вблизи этого создания. Она смело могла бы быть украшением любого фешенебельного вечера на 5-ом Авеню Нью-Йорка, и любого дома лондонского Mayfair, и парижского предместья St. Germain, она могла бы оттенять собою стильную красоту уже немногих дворцов Рима, Флоренции и Венеции.

Это была статуэтка эпохи династии Мингов, одухотворенная современными Пигмалионами моды, хорошего вкуса, тона и, я сказал бы, известного рода обаятельного шика. Ее личико не было по-китайски круглым, оно было слегка продолговатым, по-европейски узким, только немного косили ее глаза.

Стюард открыл бутылку и наполнил бокалы шампанским. Я предложил какой-то тост, стоя его пил и смотрел на поднятые глаза этого очарования-женщины, умело пившей дар богов Франции в далеком Коломбо, на Цейлоне. Сели за стол, начали завтракать, ведя непринужденный разговор о жизни острова.

— Простите меня, я не удосужился спросить, как вас зовут! — и я назвал свое имя.

— Своего китайского имени я вам не скажу, оно слишком вычурно и претенциозно. Русское мое имя — Лидия. Так меня называла в течение многих лет, с самого детства, моя русская няня-гувернантка.

Родилась я в Харбине, в 1922 году, в китайской, с примесью русской крови, семье. Дедушка, отец матери-китаянки, был русским, — такие браки были довольно редки. Дома, хотя и плохо, но все говорили по-русски, а когда мы переехали в Шанхай, мне было тогда четыре года, отец нашел мне русскую бонну-гувернантку, культурную женщину, которой я обязана знанием трех языков, музыки и, главным образом, русской литературы и дореволюционной русской же культуры. Лишенная революцией всей семьи, моя няня всю любовь к утерянным детям перенесла на меня, и я обязана ей многим больше, чем моим воспитанием. Собственная мать-китаянка на меня, девочку, не обращала

никакого внимания, так как девочки в китайской семье рассматриваются даже и теперь как несчастье, как обуза и от них стараются, если хотите, поскорее избавиться. Не так давно, еще лет 60-70 тому назад, новорожденных девочек в бедных семьях зачастую душили, выбрасывая их трупики в мусорный ящик. Другое дело — мальчики... Это — благословение семьи, дар небес, их любят, ими гордятся... Жили мы в Шанхае, где я и получила среднее образование, после чего мне сразу нашли жениха. Вы знаете, как устраиваются браки в Китае?

— Нет, — сказал я.

— Родители жениха находят ему, через сваху, девушку, которая своими положительными качествами заполняет недостающие ее будущему мужу. О любви, зачастую, не может быть и речи. Родители сговорились, поженили, живите, и вся недолга.

Жена, — продолжала Лидия свой рассказ, — всегда почти рабыня своего мужа и уж, конечно, свекрови, слово которой — непреложный закон. Так поступили и со мною. Нашли робкого, тщедушного юношу из средней семьи, сговорились о приданом, состоялась свадьба, и я сделалась какой-то одушевленной вещью в доме моего мужа, помогавшего отцу в торговле, с носом, вечно всунутым в какие-то социальные книги. Брат его слыл довольно видным революционером, почти не жил дома. Конечно, мужа я не любила, счастьем было то, что не было детей, — за это весьма косо смотрела на меня моя свекровь. Ну, потом пошли наши вечные китайские революции, японская война, беженство, а в 1946 году брат моего мужа, уже крупный коммунист, отправил нас обоих учиться в Москву. Муж плохо говорил по-русски, а для нас, китайцев, «дружественное» советское правительство ставило драконовские условия: давали 6 месяцев максимум на изучение русского языка, необходимого для посещения университетских лекций. Неуспевавших отправляли обратно в Китай. Но с нашей азиатской трудоспособностью преодолевались все препятствия, вынимались все палки, втыкаемые в колеса нашего прогресса. Мы тогда уже стали понимать, что даже сам Сталин начал

бояться образованного Китая и тормозил все и вся. Я окончила химическое отделение, муж — Экономический институт, и мы поехали обратно в Пекин.

В России при Сталине было плохо, но то, что мы увидели в Китае, было в десять раз хуже. Расстрелы, голод, аресты, раскулачивание шли во всю ивановскую, да так, что даже сталинская Россия казалась раем в сравнении с советским Китаем. Несмотря на высокое положение брата моего мужа, жилось нам отвратительно. Коммунистически-настроенными мы вообще никогда даже не были, были патриотичны, это верно... Но год такой кошмарной жизни и заявление брата моего мужа, что целью советскаго Китая является объединение всех цветных рас мира под китайским влиянием и предводительством и что эта задача возьмет много и много лет, заставили нас серьезно призадуматься над смыслом пребывания в этой милой стране, и мать моего мужа приказала нам бежать на юг, в Гонконг или Макао. Я — вместе с нею, муж — отдельно, чтобы не вызвать подозрений. Денег было мало, но свекровь имела маленькую и редчайшую коллекцию камей из зеленой китайской яшмы. Счастье нам сопутствовало. На джонках добрались мы до Макао, а оттуда в Гонконг. Ждали мужа два месяца, но он как в воду канул. Свекровь списалась с ее старшим братом, бездетным вдовцом в Коломбо, владельцем маленького отеля и бара, куда он нас и пригласил. Мы приехали, начали работать. Через месяц он умер, оставив все имущество и тот отель с баром, где я работаю, моей свекрови. От мужа вестей нет. Свекровь заявила, что надо подождать еще пять месяцев: если вестей не будет, значит он убит, и я должна выходить замуж снова. Она уже нашла мне жениха, богатого китайца с острова Тимора. И вот вам вся моя история, — грустно, подетски улыбнулась она, заканчивая свою повесть.

— И что же, вы видели вашего будущего мужа? Он вам нравится? Вы согласны выйти за него замуж? — пробежал ряд моих неподдельно тревожных вопросов.

— Видела. Он, конечно, мне не нравится, а замуж за него выйти я все же должна, так или иначе.

— Почему?

— Я — китаянка, я люблю свой народ, я верю в его будущее. Многотысячелетняя история Китая и его высшая, чем у белых, культура, и то, что мы не вымираем, а наоборот, китайское население все время увеличивается, обязаны нашим традициям, обычаям, из которых самую главную роль играет повиновение старшим; в этом наша сила, наше будущее. Я знаю, как белые смотрят на желтых. Не только ненавидят, но и боятся нас, стараются нас разъединить. Друзей у нас нет. Если же мы сами начнем нарушать наши порядки, то мы будем разрознены, нам наступит конец, и тогда — прощай Китай!

— Но у вас есть новый, советский Китай, который забыл ваши традиции...

— Капитан! Китаец — прежде всего китаец, а потом уже — его политическая окраска, которая в данный момент является только переходной ступенью к возвышению цветной массы над белой. Веря в будущее моей нации, я не хочу нарушать обычаев моего народа, поступаю так, как мне приказывают и, хотя мне это не нравится, я все же должна подчиниться приказу и выйти замуж.

— Это преступление! С такой красотой, умом, культурой, как у вас, вам нужно любить, жить полной жизнью, а не продавать себя в рабство китайцу из Тимора... Или вы хотите сказать, что китаянки неспособны на любовь, что для них Китай выше этого чувства?

Она загадочно улыбнулась.

— Нет. Китаянки могут любить и еще как! Любила и я. Мне было тогда 12 лет...

— Рано начали, — слегка раздраженно сказал я.

— Vous avez l'ésprit mal tourné, capitaine, — почему-то удовлетворенно вырвалось у Лидии.

— Я была тогда девочкой, — продолжала она. — В контору моего отца в Шанхае приходил один итальянский морской офицер. Он был очень красив, мужской, сильной красотой. Вот в него я и влюбилась. Но как: по уши! Конечно, на меня, ребенка, он не обращал внимания, а я томилась, изнывала, мучилась, тор-

чала целыми днями в магазине отца, страстно ожидая самой желанной встречи для меня во всем мире. И вот однажды он появился во всем великолепии морской белой формы, как у вас, принес мне, вы понимаете — **МНЕ**, большую коробку конфет! Если бы не мое китайское самообладание, я наверно упала бы в обморок от счастья... Кружилась голова... Я побежала домой. Речи не могло быть об еде конфет: они были для меня святыней! Первым подарком мне как женщине, да еще от кого? От героя моих грез, от моей первой любви... Я не спала всю ночь, написала ему письмо. Имя, фамилию, название корабля знала, скопировала со счета товарам моего отца... Трепетно ждала ответа, которого не было. В конце безумной недели он пришел в контору. Я замирала от страха и от радости, не зная, что произойдет. Быть может он передаст письмо отцу? Тогда все пропало! Но случилось хуже: он пришел прощаться с отцом, он уходил обратно в далекую Италию. Он рад этому. Сюда он не вернется никогда, никогда... Подошел ко мне, потрепал по щеке, сказал: «Merci!» и ушел раз и навсегда из моей жизни (так думала я в тот момент разлуки) для того, чтобы вернуться снова через 18 долгих лет опять ко мне, но в такой ужасный момент, когда моя судьба была решена...

— Он вернулся? Куда? — уже желчно-ревниво спросил я.

— Сюда в Коломбо, на Цейлон. Постаревшим, хотя, нет! Я сказала бы-более возмужалым, но все таким же. Те же глаза, та же улыбка, только немного седых волос в его все еще пышной шевелюре...

— Вы его видите?

— Да.

— Когда?

— В данный момент, mon cher capitaine : ведь вы же — двойник итальянца, моей юной любви! Когда вы вошли впервые в бар, я от радости чуть не вскрикнула, но наша китайская бесстрастная осторожность взяла верх. Я не была уверена в том, что вы именно тот, которого я любила в 12 лет. Но наших встреч я ждала, как и 18 лет тому назад. Я следила за вами, за вашими движениями, украдкой, за вашими жестами, я была

поражена абсолютным сходством всего вашего существа с моим героем, даже с его скромностью. Я снова была влюблена. Но вы со мной никогда даже не заговорили. Ваш подарок, котенок из нефрита, сказал мне многое, но все же я боялась начать с вами разговор первой и, если бы не ваш друг, я не была бы сегодня у вас, — я ему безумно благодарна.

Аллах и все турецкие угодники! Что я слышу? Во сне ли все это или наяву? Но эта проклятая робость перед женщиной, да еще **такой** женщиной прямо-таки сковала меня! Я сидел, наверное, с открытым ртом и, думаю, что уж очень смущенный и глупый был у меня вид, так как она мягким кошачьим движением поднялась с кресла, подошла ко мне, с ее запахом тонких французских духов, причудливо смешанным с пряностью мускуса женщины Востока, взяла меня за руки, посмотрела долгим, глубоким взглядом и тихо, уверенно, почти властно проговорила:

— Мы, китаянки, мягки, покорны, податливы, но, как стальная пружина, крепки и упруги. Своих решений не меняем, но если что-нибудь придет нам в голову, то мы его достигаем... всяческими путями. Мужчина в Китае — все, это верно, но Китай — страна скрытого могучего матриархата: женщина ведет жизнь Китая, — от нее все зависит. Любить мы тоже можем и умеем. Да, я скоро выхожу замуж, через четыре-пять месяцев. Но эти четыре месяца, капитан, я — ваша! Мне почему-то кажется, что и я вам немного нравлюсь тоже, не так ли?

Я тихо застонал и впервые в моей жизни осмелел, порывисто ее обнял и впился долгим, жадным поцелуем в полуоткрытый упругий рот. Она тихо освободилась от моих объятий... Я ничего не соображал, все плыло в каком-то голубом тумане... Навстречу шли какие-то перистые розовые облака, одуряюще действовал на меня, на мои чувства ее запах женщины Востока.

— А теперь найдите мне такси. Мне нужно ехать... Я к вам приду сегодня ночью... после работы... Ждите меня у сходней.

— Но ваша свекровь?

— Она спит глубоким сном. Как убитая. Разбудить ничем нельзя.

Лукаво-загадочно посмотрела на меня, одела шляпку, спустила густую вуаль. Мы сошли на берег. Она уехала в город, я вернулся на корабль. Я ничего не соображал, был в каком-то угаре, опустился в кресло моей каюты, в которой еще царил запах нежных французских духов, смешанный с запахом острова Цейлона.

Харбин... Шанхай... Итальянец... Муж-китаец... Пекин... Москва... Побег из Китая... Макао... Гонконг... Коломбо... Двойник — и это я... Свекровь... Новый муж с острова Тимор... Четыре месяца со мною... Она думает, что немного мне нравится!.. Ничего не понимая, я почему-то вспомнил поговорку веселой Одессы: одно из трех: или я пьян, или сошел с ума, или Лидия накурилась опиума...

Радостно-тоскливо я уже начал ожидать ее прихода на корабль, ко мне... Сегодня ночью... Наверное — в 12 часов, не раньше... Холодный, бесстрастный морской хронометр медленно и музыкально отбил два удара одной склянки... Только пять часов вечера... Сама вечность в сравнении с семью часами ожидания показалась мне каким-то пустяком.



В полночь, измученный пыткой ожидания и сомнений в течение долгих 4.200 минут, много передумавший и все еще не доверявший своему счастью, я стоял на пристани у сходней корабля. Глаза мои воспаленно ожидали появления автомобиля. В 12 часов 30 минут такси остановилось около меня и статуэтка древней династии Мингов, одетая в китайское платье, побежала мне навстречу. Мы поднялись в каюту. И о том, что было там, что произошло в ту памятную ночь в Коломбо, на Цейлоне, знали и будут знать изумленные звезды далеких тропиков, заглядывавшие в открытые иллюминаторы моей каюты, и стихающий прилив могучего, но по-старчески одобряющего и довольного Индийского океана.

Я, очевидно, спал и не слышал, когда она ушла, а

на столе нашел записку «Сегодня вечером жду в баре, тебя люблю! Лидия».

Красив Цейлон. Об этом спора нет, но в то утро, волшебное по воспоминаниям ночи тропиков, он выглядел еще прекраснее. Ведь я любил и был любим, и ревновал мою любовь к морскому офицеру-итальянцу ее далекого шанхайского детства.

Бар вечером. Толпа мужчин, любующихся вашей женщиной за стойкой бара, но о тайне ночи прошлой знают только двое, — она и вы. Лукаво-скромный взгляд, порою тайком мне брошенный, вам много говорит, вы — в грезе наяву.

Через два дня я уходил в Сингапур. Никто на корабле не понимал, почему я дал приказ идти самым полным ходом, все удивлялись отчаянной спешке разгрузки и нагрузки корабля, и снова — полным ходом обратно на Цейлон, туда, где на закате дней моих судьба послала мне любовь, пусть краткую, но за которую я отдал бы всю жизнь. Я мало спал эти ночи на корабле, в море или в порту. Все думал я о ней, моей уже далекой и в то же время такой мне близкой китаянке; почти пугливо я гнал мысль о разлуке от себя и, вместе с тем, я как-то странно покорялся року. Очевидно, Восток и его странная философия начали овладевать мною, я им невольно подчинялся, но мышление белого человека мне говорило, что я глубоко, пожалуй впервые в жизни, на этот раз по-настоящему влюблен. И — чувством сильным, ровным и могучим: уйдет она от меня куда-то на Тимор, — жить без нее будет мне невозможно... Как быть?

Разгрузку корабля в Коломбо я производил очень медленно, изощряясь во всех уловках, чтобы задержать корабль в порту как можно дольше: ведь каждые сутки давали мне ночь с моим любимым, странным существом. Она все больше, все сильнее овладевала мною, и я решил открыть ей все, что было в тайниках моей души, что было в помыслах сокрытых у старика, идущего в шестой десяток лет скитаний по морям и океанам мира. И вот в одну из встреч, когда она была особо нежной, я рассказал ей все... мою лю-

бовь, мою признательность за ее любовь, я просто пояснил, что жить уж без нее никак я не смогу, что я прошу ее руки, моя же судьба в ее руках. И если мне она откажет, чего могу я ожидать (ведь я — старик, она — дитя!), то пусть отказ будет помягче... Я все пойму, я все прощу, и я уйду куда-то далеко, раз навсегда... Забыть ее я не сумею никогда...

Она молчала и долго думала. Потом сказала:

— Пойми, мой капитан! Ведь я тебя люблю, вполне возможно, что сильнее даже, чем ты меня. Сказала я тебе в день первый нашей встречи, что китаянка я, что свой народ люблю, что верю я в него, в его звезду, что нарушать обычай не могу, раз слово я дала, — должна его сдержать. Прекрасно знаю я, что ждет меня в Тиморе: богатый, пышный дом, ковры, тяжелая китайская мебель, противный, нелюбимый муж. Возможно, что имеет и наложниц... Липкая влажность тропиков, жара, москиты, никаких развлечений, все это знаю я, все же я иду на этот шаг...

— Почему? Почему? — с тоской отчаяния вырвалось у меня...

— Много работает китайцев с их семьями у моего мужа... Богатый акула-делец, ворочающий многими делами на нескольких островах Индонезии, он немилосердно эксплуатирует этих несчастных беженцев, которых он выписал из Гонконга и Макао. Среди них есть много моих друзей и знакомых. Вот их судьбу я хочу немного улучшить... своим влиянием на будущего мужа. Поэтому, приказу свекрови подчинилась, дала слово и, несмотря на мою любовь к тебе, я все же должна уехать. К тому же есть опасность смерти не только для меня, но также и для тебя. Если я нарушу слово, то мой будущий муж «потеряет лицо», а на Востоке это значит, невзирая на его богатство, превратиться в парию, в общественного отщепенца. За это мстить он будет и ужасно!..

— Нет! Я думаю, что главной все-таки причиной твоего решения нужно считать разницу в наших возрастах... Ведь я — старик...

— Это ты — старик? — Она тихо рассмеялась.

— Ну, чтобы успокоить тебя, вспомни, что у Пе-

трония была Эвника, а у царя Соломона последней любовью была Суламифь; и одна и другая были девчонками в сравнении с их возлюбленными. Мне же 30 лет. Так кем ты хочешь, чтобы я была, если ты делаешь мне комплимент, Эвникой или Суламифью?

— На Петрония похож я мало...

— Тогда, царь Соломон, отныне я — ваша Суламифь острова Цейлона, — шаловливо сделала глубокий реверанс и бросилась, как избалованный котенок, мне на шею.

Я очарованно-печально смотрел на нее и думал: «Ну где можно еще найти такую многогранную прелесть?» В ней было все: и ум, и красота, и резвость ребенка, связанная с серьезностью культурной, все понимающей женщины, и чувство долга, спаянное почти с самопожертвованием, и масса такой покоряющей, обезоруживающей, заставляющей все сильнее ее любить, женственности. Я невольно тяжело вздохнул.

— О чем? — спросила она.

— Да все о том же. О тебе, о скорой разлуке, о том, что ждет тебя на Тиморе, о том, что не услышу о тебе, возможно, никогда.

Она помолчала и потом сказал:

— О будущем моем я много думаю сама. Поверь мне, что оно не так уж страшно. Писать тебе не часто, а все же буду, но ты не должен отвечать ни на одно мое письмо, — это может быть опасно. Я — китаянка, в мою судьбу, хорошую судьбу, я верю глубоко... И если раз она меня свела с тобою, то где-то, как-то, а вот когда, не знаю, — она опять устроит нашу встречу...

— А почему ж такая вера?

— Да потому, что я с тобой любовь узнала, что счастья много дашь мне ты, я это чувствовала сразу. Сказать тебе об этом не могла я, а время шло. Но тут твой друг помог. Вот почему, когда приходит твой корабль в Коломбо, на Цейлон, я провожу с тобою ночи вместе.

Не знаю я, что сбудется со мною дальше, но наших этих встреч я не забуду никогда. Твой новенький корабль, ты в белой форме капитана, цветы на празднич-

ном столе, а в вазе, там в углу, — шампанское во льду... Все это для меня, я это знаю, как знаю то, что я — твоя, а ты навеки мой, мой мореход Синбад... Но нас разлука ждет... Однако зачастую боги балуют всех тех, кто искренне желает новой встречи с тем, кто дал впервые им так много счастья. Но если встреча эта не случится, то память мне будет освещать всю жизнь и ею согретой будет моя старость...

— Не говори о старости! Уже старею я не по дням, а по часам, думая о неизбежной разлуке. А ты все с шутками!

— Нет, я говорю всерьез. У меня даже мелькнула мысль о том, что, может быть, разлука лучше: четыре месяца непревзойденного блаженства могут померкнуть в прозе семейной жизни даже с тобою. Я — желтая, ты белый. Начну стареть, лысеть, как многие китаянки, появятся морщины. Я расплывусь, ты будешь звать меня противной, старой желтолицей обезьяной, а этого уж я никак не перенесу, — лукаво она посмотрела на меня и зажала протест горячим поцелуем.

Я решил молчать и ожидать конца, питая слабую надежду, что, может быть, она изменит решение, что, может быть, любовь ко мне, старику, возьмет верх и она бежит со мною. Но нет! В начале пятого месяца я уходил из Коломбо в Сингапур. Она мне заявила, что следующая встреча будет последней: через две недели она со свекровью отправляется на пароходе «Синяя Звезда» на Тимор. Она печально взглянула на меня влажными глазами и тихо сжала мне руки.

Последний день мы провели почти без слов, я не ушел, а буквально улетел в Сингапур. Сдал и взял груз предельно быстро и полным ходом пошел в Коломбо, так как знал, что останется три, максимум четыре, последних свидания. Вторая ночь на высоте Пенанга была довольно бурной, но хода я не уменьшал. Вдруг — телефон, и старший инженер заявил, что в одной из машин случилась поломка, не особенно серьезная, но что починка возьмет часов десять. Проклиная все на свете, приказал идти одной машиной, уменьшив ход до половины; но океан рассвирепел, и даже

после исправления второй машины идти полным ходом было бы безумием. Подсчет пройденного расстояния уже показывал, что я опоздал на целых три дня... Я жил лихорадочной мечтой о хотя бы только одном дне последней встречи.

Миль за сто до Коломбо погода улучшилась. Я снова дал полный ход... Вот уже виден Коломбо, как вдруг впереди показался большой пароход, идущий мне навстречу. Мы сблизились, и я увидел, что это была «Синяя Звезда». Капитана и корабль я знал хорошо. Он дал мне три гудка морского приветствия встречи судов в море, означающие: «До свидания, счастливого пути!» и, наверное, счел меня невежей, так как ответного сигнала от меня не получил. Я не хотел сказать последнего «прощай» моей возлюбленной, на этом корабле ехавшей на Тимор. Тем более не мог я ей пожелать счастливого пути! Я как-то омертвел. Все сделалось мне безразличным.

Пришли в Коломбо, получили почту. Письмо от главного директора Кости из Токио с четырьмя вопросами о перерасходе топлива и с им же нарисованным кулаком, смотрящим мне в лицо. Была приписка, что у него большой роман с гейшей, в прошлом — манчжурской принцессой, а посему — не наводить справок о китаянке в баре. Он решил ей не мстить. Считает это ниже своего достоинства, — его возлюбленная в Японии — царской крови. Я выбросил письмо за борт.

Не буду описывать мои переживания. Это трудно делать, да и кому это, за исключением редких случаев, нужно или интересно? Скажу просто: я запил. Две бутылки в день было моей нормой. Если бы не старший офицер, отличный моряк-грек, не знаю, что случилось бы с кораблем. Он заменял меня, когда я сидел у себя в каюте, думал о Лидии и воспалял ее образ жгучей влагой.

Взяли груз для Лондона, зашли в Александрию, где нас ожидал сам Костя Попандопуло. Одного взгляда на меня ему было вполне достаточно, чтобы он высказал сожаление о том, что не открыл водочного завода, а то бы еще больше приумножил наши капита-

лы. В каюте, с глазу на глаз, он потребовал полной исповеди, как попу на духу. Рассказал я ему все. Костя долго думал, как и что ответить, и безаппеляционно заявил, что я — круглый идиот.

«Ты влюбился, тебя любили — она бывала у тебя на корабле — и ты не мог хотя бы силой увезти ее с собой? Какие там у нее обязанности перед Китаем, перед свекровью, если она тебя любила? Или ты несешь какой-то вздор, или она не хотела говорить всю правду, но тут что-то есть посильнее и послушания родным и любви к своему народу».

Костя помолчал.

«Это дело сразу разжевать нельзя даже и с моей головой, надо долго думать. Теперь я понимаю твою манеру командования кораблем эти месяцы... Вот что я сделаю с тобой: приму корабль, а ты лети на аэроплане в Грецию. Там, под наблюдением докторов и Олимпиады (его жены), приведи себя в порядок. Но если не прекратишь пить, то горячка и смерть, а в лучшем случае — сумасшедший дом, гарантированы. Не забывай, что мы с тобой почти братья и я тебе только добра желаю. Понимаю твое увлечение или, если хочешь, твою любовь к этой женщине и, хотя меня она поставила в неловкое положение, должен сознаться, что такой любви, даже и не такого слюнтяя, как ты, она вполне стоила. Я не обещаю, но постараюсь навести справки, что за человек, ее муж... »

«Костя, ради Бога ничего не делай! Она меня усиленно просила оставить ее в покое...»

«Ладно, быть по сему! А сейчас отправляйся в Грецию. Корабль я уже принял. Где лог-бух? Давай распишемся!»

В голубой солнечной Элладе, под покровительством Костиной жены и докторов, лечась водами, я быстро пришел в себя, мой уже стареющий организм был еще крепок. Но в душе царила тихая грусть. Неповторимым мне казался мой цейлонский сон.

Я вернулся в Нью-Йорк, окунулся в дела, слегка заслонившие волшебные ночи Цейлона. В конце года я получил от Лидии письмо, где с горьким юмором она

сообщала, что я был прав в своих предсказаниях об ее судьбе... Муж встретил ее в Сингапуре, была пышная, трехдневная китайская свадьба, затем — Тимор, дом мужа, где у него была, правда, только одна наложница, но больше одной наложницы на одном и том же острове он не держал, но островов в Индонезии, больших и малых, около 7 тысяч! Вдобавок к этому, ее Цейлонские опасения, сведения о муже, подтвердились: муж оказался крупным участником международной гангстерской организации, контролирующей все и вся, начиная от опиума до торговли белыми рабынями. Свекровь умерла. Жизнь ее пустая, бесцветная и тяжелая. Мужа, к счастью, она почти не видит, он все время в разъездах. Убежать, уехать одной даже и думать нельзя. Агенты мужа живут повсюду, ее знают. Просила не сходить с ума и не приезжать ее выручать. Это приведет только к смерти. Но как бы тяжела жизнь ни была, она все же верит в нашу встречу опять.

«Когда? Где? Как? Не знаю. Но это будет уж только потому, что я живу ужасной жизнью и радостной мечтой о том, когда мы встретимся опять. Не пиши ничего. Это опасно». И подпись: Твоя Лидия.

Перечитал письмо несколько раз, положил его в карман и задумался. В таком безразличном состоянии я просидел у себя в конторе до вечера, когда ввалился Костя. Он был в Нью-Йорке. На его недоуменный взгляд я молча протянул ему письмо Лидии. Конечно, он разнес меня в пух и прах за то, что я не дал ему возможности навести справки о муже Лидии и попытаться сделать что-нибудь в смысле ее освобождения, и категорически заявил, что берет всю эту историю в свои руки. Он-де решит эту проблему своими греческими мозгами. Благо он летит опять на Восток, где у него масса знакомых китайцев. Он уверен, что с помощью его друзей можно будет что-нибудь предпринять. Приказал «не вешать носа на квинту», быть мужчиной, а не какой-то кисейной барышней, ожидающей только мрачной развязки ее великого романа. Уехал, а я по-прежнему грустил, тосковал, и слабое пламя моей угасающей жизни иногда разгоралось вспышка-

ми воспоминаний о волшебных ночах так далекого теперь Цейлона, такой недосягаемой моей маленькой Суламифи, живущей на острове Тиморе, все еще думающей обо мне.

Через несколько месяцев я получил Костино письмо, извещавшее, что я действительно влип со своей любовью в довольно трудную историю. Муж Лидии не только самый большой беспощадный международный гангстер, но и крупный делец, известный политикам столиц всего мира, где он ведет громадные дела, неимоверно богат, поэтому все его подозрительные аферы сходят ему с рук; тронуть его нельзя, а уж об его жене и говорить не приходится! Но у него (Кости) есть кое-какие приятели-китайцы не весьма мелкого калибра дельцы тоже, которые посоветовали вооружиться терпением и ожидать чего-то, что может случиться очень скоро. По своему обыкновению Костя туманно заканчивал свое письмо советом сидеть в Нью-Йорке и не «рыпаться», главное — взять себя в руки, быть мужчиной и надеяться. Так прошел томительный, грустный 1955 год, с Тимора вестей не было. Вдруг, ни с того ни с сего, письмо из Афин от Кости: прибыть на каникулы в Монако, куда он идет на нашей общей яхточке «Гроза Морей», остановиться в Hôtel de Paris и ожидать его там.

Совершенно безразлично-вяло прибыл я в Монте-Карло и узнал, что «Гроза Морей» ожидается через два-три дня.

Опереточно-волшебная красота этого княжества создана на русские деньги, главным образом. Шайки прямо-таки преступно богатых мирового масштаба дельцов, зачастую весьма сомнительной репутации, сонм блестящих и легко доступных красавиц, расположившихся и на веранде самого фешенебельного отеля в мире, где я остановился по приказу Кости, и во всех трех залах мирового Casino, оставили меня совершенно безразличным ко всему происходящему вокруг меня. Провел целый день в знаменитом аквариуме Монте-Карло, размышляя о причине вызова в этот бедлам, Вернувшись в отель вечером, равнодушный ко всему, переоделся, спустился в бар, что-то заказал

и погрузился в чтение газеты. Вдруг раздался звон упавшего и разбившегося бокала. Машинально, оторвавшись от чтения, я взглянул впереди себя... и, о боги! Что же я увидел? Напротив меня, на другой стороне... сидела Лидия с каким-то китайцем в темных очках, что-то говорившим официанту, обтиравшему его мокрый от разлитого напитка костюм. Обуреваемый циклоном радостно воскресших чувств, я чуть не бросился к ней, моей любимой, недавно такой далекой, а теперь сидящей вот здесь, почти рядом, недоуменно близкой, но она мгновенно приложила самый дорогой в мире для меня пальчик к своим губам, нежной поволокой ее восточных глаз, понятной мне только одному, попросила ждать... быть сдержанным... не волноваться. Ее спутник, очевидно — муж, расплатился. Вдвоем они вышли в обеденный зал, а о том, что происходило у меня на душе, лучше не буду говорить. В каком-то волшебном сне я просидел за столиком около часа, поднялся к себе в комнату, где на столе нашел маленький конверт. Дрожавшими руками я открыл его и прочел: « Я с мужем в комнате такой-то, на третьем этаже. Постарайся перебраться в комнату напротив нас, она пустая, — я это знаю. Жди меня сегодня ночью, оставь дверь открытой».

От записки исходил такой волнующий и тонкий аромат духов, знакомый мне по Цейлону. Трудно было совладать с собою, но все же я взял себя в руки. Благодаря знакомому управляющему, я был переведен в ту комнату, которая была указана Лидией. Я начал ждать мою возлюбленную, волею капризных, но, очевидно, расположенных милостиво богов занесенную сюда, ко мне, из далекой Индонезии.

Лихорадочно работала голова, в ней шла отчаяннейшая свистопляска самых разнообразных мыслей. Я безостановочно курил, не доверяя ни самому себе, ни реальности происшедшего несколько часов тому назад в баре отеля. Изможденный, изнервничавшийся сдерживанием своих переживаний, я взглянул в сотый раз на часы: было 12 часов 30 минут ночи, и... только я решил, что, наверное, она уже не придет, как дверь тихо открылась... она вошла в комнату... Щелк-

нул автоматический замок, и мы молча упали друг другу в объятия. Тоже трудно сказать, сколько продолжался длинный, так ласково успокаивающий поцелуй после долгой разлуки, но тревога за нее, мою любовь, заставила спросить:

— Как ты пришла сюда? А где же муж? Что скажет он, проснувшись и не найдя тебя?..

— Он будет долго спать... Он мною усыплен... До следующей ночи я — твоя...

— Он усыплен тобою? Почему? Я ничего не понимаю!

Лидия тихо засмеялась.

— Он так же будет долго спать, как и моя свекровь на о. Цейлоне, когда ночной порою я шла на твой корабль побыть с тобой хоть несколько часов, когда ты приходил в Коломбо. Ты это помнишь?

— Да, но там ты была свободна, а здесь, в Монако, ты с мужем. За эти годы я получил только одно твое письмо, я был уверен, что нашей встрече не бывать, да и сейчас не доверяю своим глазам, — ты ли это? Наяву? Не наваждение?

Она тихо засмеялась, усадила меня в глубокое кресло, куда села рядом со мною и начала, по-восточному медленно, свой рассказ:

— В дни наших первых встреч я многое таила от тебя, я не хотела говорить о том, что продана была я моею милою свекровью моему будущему мужу...

— Ты была продана?

— Да, почти, но не перебивай меня, а слушай внимательно, уж только потому, что вся моя история получит другую форму и окраску, вообще все твое понятие, возможно, будет изменено, когда ты все узнаешь. Да, из-за жадности свекрови к золоту я была продана моему мужу, когда впервые он увидел меня в баре, который фактически принадлежал ему. Та, правда, выторговала несколько месяцев свободы до брака, ссылаясь на возможное возвращение моего первого мужа, ее сына. Я исподволь узнала многое: во-первых, что будущий муж — всемогущий гангстер, богач, но самым страшным было то, что он возглавлял секретную китайскую организацию мирового масштаба, которая мо-

гла найти своих врагов во всей вселенной и поступить с ними так, как это было им нужно. Спрятаться от них можно только в одном месте, — это в могиле [1]). И вот, прекрасно зная, что ждет тебя, а также и меня, если я уйду с тобою и он «потеряет лицо», я начала тебе мои рассказы о моей любви к Китаю, к его народу, что у меня специальная миссия поездки на Тимор, что слово я дала, ну в общем все уловки сделала, чтобы ты поверил мне. На деле же, мне было страшно потерять тебя, — найти тебя убитым. Тогда бы не было и жизни для меня. Ты знаешь, что китайцы страшно азартны, и я решилась идти ва-банк: уехать на Тимор, спасти тебя, — возможно и меня...

Она помолчала. Глубоко взволнованный ее рассказом, я только тихо гладил ее руки.

— Женился он на мне престижа ради. В Шанхае он был рикшей, как и его отец, мою же семью, известную всему китайскому Шанхаю, он знал. Когда достиг своих финансовых высот, меня увидел, решил, что я самая подходящая жена для него, мать его детей. Отсюда — свадьба, поездка на Тимор, разлука с тобою. Теперь мой рассказ будет коротким. Ко мне он относился довольно безразлично, все время бывал в разъездах, слегка был недоволен отсутствием ребенка, сына, — продолжения его рода. Одну меня он никуда не пускал, но в делах своих, благодаря моему знанию языков, мне доверял. Надежды встретиться опять с тобой я не теряла, мучительно гадала, когда же эта встреча случится, но в ней уверена была. Писать тебе, ты знаешь, я не могла, но знала, что ты живешь, и это сглаживало скорбь разлуки.

Мой муженек вел разные и крупные дела, — одним из них была торговля оружием. Кому? Неважно, платили бы исправно деньги и это все. В одной из стран Индо-Китая начали готовиться к гражданской войне. Юг поддерживался одной европейской державой, дававшей все, и громадную финансовую помощь тоже,

---

[1]) То, что я пишу о китайских секретных организациях, совершенно серьезно, не вымысел, а действительно существующий факт.

а север — китайскими комунистами, на помощь тоже не скупившимися.

Члены южного правительства прекрасно знали, что войну они проиграют, поэтому, как практичные люди, решили, что тратить деньги на хорошее вооружение будет просто глупо. Зачем? Ведь все равно потеряем, и обратились к моему мужу с предложением поставлять им самое негодное, устаревшее барахло-вооружение, которое он будет покупать на всех свалках мира по дешевке, но считать им полностью, как за новые вещи. Война будет проиграна, а разницу в цене можно честно поделить пополам. Сделка состоялась. Война была проиграна. Южное правительство оказалось в изгнании. Приехали к мужу потребовать своей законной доли за честную комбинацию, но он отказался от всякой уплаты и предложил им судить его. Мало того, он обошел таким путем и нескольких своих же собственных сотрудников-китайцев, членов его секретного общества. Тогда ему была объявлена беспощадная война. Он знал, что смерть неминуема. На нашем частном аэроплане мы добрались до Бомбея, откуда я послала тебе письмо в Нью-Йорк, не знала, что ты в Европе, прибыли сюда, и... вот встреча опять! В баре отеля тоже, как и впервые! — она тихо рассмеялась.

— Мой муж — преступник по натуре, со стальными нервами, под влиянием неминуемой грозной опасности начал сдавать, сильно нервничает, страдает бессонницей и манией преследования. Вот поэтому я вспрыскиваю ему морфий, мне он доверяет только одной. И вот поэтому сегодня я закатила ему предельную дозу снотворного. Я — у тебя, а он долго будет спать.

Ее нежные смуглые руки мягко обхватили мою шею.

— Послезавтра, — продолжала она, — он, переодетый, один, тайком уезжает в Тулон, где его ждут четыре верных сообщника, нанимают там яхту, хотят ехать в какую-то новую республику в Африке. Я же остаюсь здесь. Когда все будет готово, он вернется сюда за мной...

— И ты поедешь? — с тревогой вырвалось у меня.

С нежной укоризной посмотрели на меня глаза любимой женщины Востока.

— Нет! С ним я не уеду никуда. Ты должен это знать. Несколько лет бессонных ночей, терзаний разных мыслей о тебе, о трудности встречи, — и вдруг снова судьба столкнула нас. Противиться я ей не буду и от тебя не уйду, но надо быть крайне осторожной, так как положение сейчас куда опаснее, чем в Коломбо. Враги мужа, если еще не здесь, то скоро прибудут сюда, и для них я тоже враг, ведь я его жена. Я просто знаю, что надо ожидать конца скорой развязки этой драмы, и очень скоро. Когда конец придет, бери меня, вези, куда хочешь, пока же не будем подвергать твою жизнь возможной опасности, ведь ты здесь ни при чем.

Сейчас я ухожу, а завтра ночью буду с мужем. Он рано утром уезжает в Тулон, не будет спать всю ночь. Когда уедет, приду к тебе пить утренний кофе. Прощай, мой дорогой! — и она тихо вышла из комнаты.

Остался я один. И тут уж моя бедная голова под наплывом встречи, ее рассказа, странного, как уголовный роман, отказалась работать совершенно. Я ничего не соображал. В таком состоянии, в ранний час, когда все Монако еще спало, вышел я из отеля, пошел в порт, где увидел стоявшую на якоре «Грозу Морей». На душе полегчало. Посмотрим, что скажет Костя, когда узнает, что Лидия здесь.

В 9 часов утра сидели мы, пили кофе, я рассказал ему всю историю и спросил, как быть?

Невозмутимо спокойно он заявил, что пока делать ничего нельзя. Она совершенно права, — нужно ожидать конца развязки. Но если ее муж даже благополучно вернется из Тулона, ей туда с ним ехать нельзя ни под каким видом, а прямо на «Грозу Морей» со мною и, айда, — в Грецию!

Внимательно посмотрел на меня, приказал привести себя в порядок, побриться и ожидать его в отеле на ужин в 8 часов вечера. Подсознательно я подчинился его приказу, слегка удивившись равнодушному отношению к моей драме.

За ужином Костя держался весьма спокойно, мол-

чал и я, а на душе творился ад; я знал, что надо отдохнуть, ведь я еще не спал. Но как-то странно, усталости я не чувствовал.

После ужина Костя потащил меня в Казино, где впервые в моей жизни я играл в рулетку, выиграл кучу денег. Везло и Косте. Уже брезжил рассвет, когда мы распихали по карманам кучу кредиток и отправились: я — к себе в отель, Костя на яхту, назначив встречу вечером опять. Вошел в комнату, не раздеваясь, мертвецом упал на кровать и, казалось, потерял сознание.

Проснулся я от ласкового смеха: у кровати сидела Лидия.

— Вставай, иди вымой лицо! Кофе уже готово. Боже, какой ты заспанный и неуклюжий...

— Как ты попала сюда, кто дверь тебе открыл?

— Мой муж уехал на вокзал. Я заказала тебе в комнату кофе, официант принес его, я с ним вошла, тебя я разбудила. Это было так просто.

Потом был целый день какого-то сладостного угара от ее присутствия, разговоров об этих двух годах разлуки. Все это было радостно, спокойно, непринужденно, ни слова об уехавшем на опасное свидание муже.

И только перед ужином мы разошлись. Вечером сидел я в баре. Пришел Костя. Молча положил передо мною раскрытую французскую газету, на второй странице. Не особенно бросающееся в глаза извещение гласило, что в Тулоне, в одном недорогом отеле, был найден труп убитого китайца. Стояла фамилия мужа Лидии. Я бросился к телефону, сообщил ей эту новость. Спокойным был ее ответ: «Я этого ждала. Сейчас спущусь вниз, жди меня у лифта».

Пока я ожидал ее, подошел Костя. Она вышла из кабинки, ласково протянула ему руку, держалась ровно и спокойно, внутреннее волнение слегка выдавала дрожь ее прелестных породистых рук. Вдруг к нашему столу подошли три каких-то прилично одетых субъекта. «Полиция!», по-гречески, на афинском жаргоне шепнул мне Костя. Вежливо попросили ее выйти на минутку с ними. Вернулась она к нам минут через

двадцать. Бросила короткими фразами, что после установления ее личности было сообщено о судьбе мужа, предложена охрана, от чего она отказалась.

— Правильно! — заметил Костя, — вам нужно подождать до завтра и ночью, на «Грозе Морей», мы уйдем в Грецию или куда вы хотите. Одной уехать вам отсюда будет рискованно. Видите вот этот стол в углу? — он глазами показал на четырех каких-то индокитайцев, спокойно занимавшихся ужином.

— Да, я это чувствую и знаю, — моя судьба в ваших руках. Я больше ничего не могу сказать, — тихо проговорила Лидия.

А следующей ночью, грозовой и бурной, мы ушли из Монако куда-то далеко...

Я чувствовал, я просто знал, что в деле встречи с Лидией мой друг Костя «свою руку приложил». Есть даже сейчас маленькое подозрение, что и Лидия что-то знала об этом деле, но я молчал, безумно счастливый. Шумела попутная волна за кормой, летели брызги волн соленых в наши лица. Прижавшись доверчиво ко мне, Лидия смотрела на исчезающие позади огни Монако и ласково играла с нефритовым котенком, моим первым ей подарком в Коломбо.

***

Мы живем на маленьком, восхитительном острове, где-то в Греции, где именно, не скажу. Пока еще нельзя, чтобы некоторые лица знали о нашем местопребывании. Ограничусь тем, что сказал для моих друзей, то есть, что с нашего острова, через узкий пролив, виден один турецкий город. При облачной погоде, ночью, отражения городских огней на небе кажутся какими-то видениями, напоминающими своими формами парящих могучих птиц: Орлов... екатерининских орлов... Один «из этой стаи славной» когда-то маленькими силами в неравном бою разгромил большой турецкий флот... Да, вы угадали! Это был граф Орлов Чесменский, высоко поднявший флаг Св. Андрея Первозванного Русского Императорского флота. Флаг этот сей-

час не в моде, но слава его будет долго жить в истории России [1]).

Мы живем в двух маленьких домиках-виллах, рядом, у самого синего Эгейского моря, отдельно, так как, видите ли, дорогие читатели, моя Суламифь до сих пор не дает согласия на наш брак. После смерти ее мужа она честно расплатилась со всеми людьми, которых он объегорил, а теперь она — моя официальная секретарша, if you please (если вам нравится, — а мне нет!).

Мы с моим другом Костей ушли от наших пароходных дел, он живет с семьей в Афинах, и вы, наверное, уже догадались, где мы.

Скучая по детям, Лидия взяла на воспитание двух прелестных греческих сироток детей, мальчика и девочку. Официально они записаны на мое имя.

Хотя я их и люблю, но она так избаловала их своею любовью, что я считаю их ярким и вопиющим доказательством крайней необходимости закона о контроле деторождаемости. Все ломают, уничтожают, мешают работать, и в то же время они очаровательны. Даже вот сейчас, — я занят, пишу, а их мамаша, катаясь на полу, изображает из себя рычащего тигра, маленькие же «ангелочки» — охотников на этого кровожадного зверя. Гвалт стоит невообразимый на какой-то только им понятной смеси греческого и русского языков.

Сказать им ничего нельзя, а уж о том, чтобы их отшлепать по старинке, — то, Боже упаси!

Лидия глубоко верит в современное воспитание, и, по ее теории, этих будущих кандидатов на электрический стул наказывать нельзя, а то что-то случится с их психологией, видите ли вы! Бросил писать, смотрю на эту ораву... Лидия вопросительно смотрит на меня:

— Мы тебе, надеюсь, не мешаем? Почему ты остановил работу? Что ты хочешь?

— Если я должен покорно нести крест воспитания этих фруктов, то хочу, чтобы ты разделила бремя моей ответственности и официально вышла за меня замуж...

---

1) Действие происходит на о. Хиосе, отделенном узким проливом от материка, на котором находится Чесма.

— Это можно сделать, когда ты мне сделаешь предложение...

— Тысячу раз тебе я его делал, а ты все нет да нет...

— Нет, потому что все эти предложения были сделаны не вовремя...

— Когда же должен наступить этот благоприятный момент?

— Вот когда я сделаюсь маленькой, старой, сморщенной желтолицей обезьянкой и, если ты тогда мне его сделаешь, то я его приму, а пока... — кошачий прыжок, и мой протест был закрыт гранатом губ Суламифи острова Цейлона.

Слышен тихий смех, шелест набегающих волн Эгейского моря.

АКУЛЫ УМЕЮТ МОЛЧАТЬ

Американский торговый корабль «Южная Красавица» (« The Southern Belle ») возвращался в Нью-Йорк из сказочного по красоте Рио-де-Жанейро. Экватор был уже пересечен, и «Южная Красавица», подгоняемая крепким попутным бризом да ровной, крупной кормовой волной, находилась вблизи острова Тринидада.

Старший офицер, Иван Костромаров, правил свою послеобеденную вахту. Крупный мужчина с типично южно-русским открытым, бронзовым от загара лицом, с выцветшей от солнца и соленого морского ветра шапкой темно-русых волос, он пользовался уважением и любовью всего экипажа корабля.

А в каком портовом баре всех гаваней, от Панамского канала до Магелланова пролива, не был известен всем жгучим южно-американским артисткам этот выходец из русских степей, орошаемых тихим голубым Доном?

Такого места не было. «Пилото» [1]) Костромарова, его широкую русскую доброту, ласковый оскал белоснежной улыбки со слегка лукавым взглядом его зеленых глаз, знали по всем портам Южной Америки, в местах, где труженики моря находят короткий отдых и ласку, если хотите — в награду за свою каторжно-трудовую бродячую жизнь.

И вот теперь на мостике его судна, наблюдая за горизонтом, он все время думал о Долли. Она была его

---

1) «Пилото» на морском жаргоне испанцев — это первый помощник капитана.

приятельницей, поразительно красивая, божественно сложенная молодая мулатка из Рио.

Десять дней, проведенных с нею, были незабываемыми. Неподдельными были слезы разлуки, искренне звучало обещание ждать его возвращения. Но кто ухаживает теперь за Долли?

Прилив какой-то беспомощной ревности овладел Костромаровым. И почему-то пришли в голову строфы его любимого персидского поэта Омар Хайяма:

«Развеселись! В плен не поймать ручья?
Зато есть беглая струя!
Нет в женщинах и жизни постоянства?
Зато бывает очередь моя...»

Сам себе Костомаров проговорил вслух по-русски: «Слава Аллаху за то, что хоть очередь бывает. Могло быть и хуже...»

Вдруг смотревшему в бинокль Костромарову показался на горизонте какой-то странный предмет. Низко сидящий в воде, длинноватый, с подобием какого-то паруса — он не походил на лодку. Определить его было довольно трудно, — он то опускался вниз между валами, то на миг показывался на гребне волны.

Костомаров приказал вахтенному матросу вызвать капитана. Через несколько минут на мостике появилась фигура гнома с уродливым злым лицом, вечно брюзжащего, всегда недовольного скопидома, командира корабля, выходца из какой-то страны Балканского полуострова.

Единственным положительным качеством этого урода являлось его знание многих языков. И когда ему это было нужно, он разговаривал с его старшим офицером по-русски. Неприятным, заспанным голосом, недовольным тоном капитан спросил о причине его вызова на мостик.

— Два румба справа по носу виден какой-то странный предмет, мне непонятный...

— Вам еще много вещей непонятны, — проговорил командир и вперил свой змеиный взор в направлении, указанном ему Костромаровым.

Через несколько минут им обоим стало ясно, что предмет этот был весьма странной формы лодкой. Были видны в ней и фигуры людей, размахивавших руками.

— Не было печали, — проговорил капитан. — это что-то вроде индейской пироги. Видны люди. Тысяча проклятий с чертом и косой ведьмой в придачу! Я принимаю вахту. Вызвать всю команду. Я приведу судно к ветру. Вы спустите шлюпку, подойдете к этим типам. Сначала выясните, что за люди. Если нужно, возьмите их с собой. Но, если только нужно! Понимаете? Я буду следить за вами, пойду вам навстречу и возьму вашу шлюпку с надветренной стороны. Понятно? Надеюсь, что вы еще не забыли правила спасения людей с тонущего судна? — ядовито спросил капитан.

— Да. Забыл, но спасибо вам, что вы мне это напомнили, — иронически бросил Костромаров и дал команду: «Всех наверх!»

Были сделаны нужные маневры, шлюпка была спущена на воду и с Костромаровым у руля пошла навстречу тонущему, по-видимому, предмету.

Капитан видел, как были взяты на борт шлюпки шесть человек, и он, изменив курс, пошел к ней навстречу.

Через некоторе время шлюпка была поднята на верхнюю палубу корабля. Шесть человек спасенных вылезли с помощью матросов из шлюпки и в изнеможении упали на палубу. Вид их был ужасен. Воспаленные, опухшие глаза. Обожженная солнцем и морской водой кожа на лице и на теле вся была покрыта волдырями и язвами. Измученный, страдальческий вид этих полумертвых людей, обросших спутанными, нечесанными волосами, одетых в какие-то лохмотья, все время просивших и получавших понемногу воды, мог бы вызвать жалость у самого бессердечного человека.

Подошедший капитан, брезгливо посмотрев на эту группу несчастных, обессиленных, пугливо озирающихся по сторонам людей, спросил у Костромарова, что это за народ.

— Беглые каторжники из Кайенны, французской Гвианы, — ответил старший офицер.

Лицо капитана сделалось прямо-таки синим от приступа охватившей его злости.

— Беглые? Каторжники? А что я вам приказывал? Разобраться сначала, что представляют собою эти люди, а потом уж оказывать ваше знаменитое русское милосердие! — ядовито прохрипел капитан.

— Их пирога была почти разрушена волной. В моем понятии — самое большее через сутки они пошли бы ко дну. Они видели название нашей шлюпки. Подбери их другой корабль, какую репутацию получила бы «Южная Красавица»?

— Вы прекрасно знаете, что на 300 миль вокруг нас нет другого корабля. Этих преступников никто не мог бы подобрать. Да! Они очутились бы в воде. Вы знаете, что здесь много акул. А акулы умеют молчать! — уже по-русски заявил капитан.

— Принимайте вашу вахту. Подумайте хорошенько, как нам избавиться от этого сброда. Я не желаю заходить на Тринидад и тратить два дня на переговоры с властями, которые все равно откажутся их принять. Содержание корабля и команды стоит четыре тысячи долларов в день, — по-английски закончил капитан.

Вся команда, слушавшая слова капитана, с ненавистью смотрела на него, Костромаров, приказав третьему офицеру позаботиться о спасенных, поднялся на мостик оканчивать вахту. Он начал усиленно соображать, какой выход найти из положения со спасенными людьми. Вдруг его лицо озарилось широкой русской улыбкой, он повеселел и даже начал насвистывать какую-то песенку. К концу его вахты на мостике появилась фигура озлобленного карлика-капитана.

— Ну, что, придумали, как избавиться от этих пассажиров? — прошипел командир.

— Да, — непринужденно ответил Костромаров.

— И в чем заключается ваш гениальный план? Вы, может быть, хотите сбросить их за борт?

— Да, я сброшу их за борт, — спокойно проговорил старший офицер.

— Туда им и дорога! Вы начинаете понимать, что этим отщепенцам там только и место, среди акул. Аку-

лы умеют молчать. Но как вы это сделаете? Их спасение занесено в судовой журнал.

— В трюме номер пять находится лишний спасательный плот. Если вы не забыли правил о таком предмете, то должны знать, что он рассчитан на пятнадцать человек. Остался он у нас на борту еще со времен войны, когда «Южная Красавица» перевозила солдат в Европу. Там есть и вода и провизия на несколько дней, сами знаете. В инвентарь корабля плот этот не занесен и никому не нужен. Завтра утром на моей вахте, часов в пять утра, мы будем проходить остров Св. Ирены. Пройдем его, самое большее, в пяти милях от его берега. Течение идет в сторону острова. Я спущу плот на воду, на него посажу беглецов, и течением они будут принесены к берегу. А оттуда беглецов эта страна не выдаст. Они будут спасены. И вам, сэр, не будет никаких неприятностей, — проговорил Костромаров.

— Делайте с ними что угодно, но чтобы к утру их не было на корабле. Понятно?

— Есть, понятно! Костромаров сдал свою вахту, спустился вниз посмотреть на беглецов и отдать распоряжения боцману.

В одном отсеке нижней палубы лежали уже коекак пришедшие в себя, накормленные, вымытые и даже побритые беглецы.

Сурова, подчас отрывисто-груба речь моряков. Их лица опалены до цвета темной бронзы и пронизывающими все их существо лучами солнца, и ветрами всех морей и океанов. Но какая-то часть солнечных лучей, очевидно, поражает сердце моряка. Оно делается мягким, чутким и сострадательным к мукам ближнего, и почти всегда моряк идет навстречу ему с братской помощью.

Так вот случилось и теперь. Весь экипаж «Южной Красавицы» наперебой старался чем-то и как-то помочь пусть каторжанам, преступникам, но тем не менее страдающим людям.

Моряки поделились с ними одеждой, и обувью, и табаком, и даже побрили беглецов. Окружили их кольцом, и один из каторжан на ломаном английском язы-

ке рассказывал экипажу их одиссею. При появлении Костромарова команда расступилась, давая ему дорогу. Он сразу заметил у одного из спасенных беспомощно висящую руку, быстро схватил ее и умелым движением вправил вывихнутую часть тела на ее место. От минутной боли каторжник вскрикнул, но сейчас же лицо его озарилось благодарной, мягкой, смущенной улыбкой.

Его товарищ, гигант-скелет, говоривший по-английски, робко протянул Костромарову руку и сказал: «Спасибо!»

— Вы русский — удивленно спросил Костромаров.

— Да. И рад был узнать из вашего разговора с капитаном, что вы тоже русский, — медленно проговорил этот ужасный по виду человек.

— Как вы попали в такое положение?

— Эх, господин помощник, длинная моя история, а кто поверит каторжнику, бежавшему из Кайенны?

— Это верно, — сказал Костромаров. — Теперь слушайте меня внимательно. Я хочу сказать вам что-то важное. Если капитан и согласился бы доставить вас на о. Тринидад или в Америку, то по закону и по соглашению с этими странами власти должны выдать вас французскому правительству. Сами знаете, что дело пахнет гильотиной или же вечным заключением, а второй побег невозможен. Трудно сказать, что хуже, — смерть или вечное заключение под ножом «сухой гильотины»... *)

— По-моему, смерть лучше, чем жизнь на каторге, — проговорил русский беглец.

— Я с вами согласен. Переведите своим товарищам мое предложение и узнайте,согласны ли они на это, — и Костромаров изложил свой план. — Три, самое большее — четыре часа в море, и вы будете принесены течением к берегу. Ну, придет полиция, арестуют вас, подержат день-два, а потом и отпустят. Дадут право на жительство и на работу, здесь ее много. И вы будете спасены. Франции вас не выдадут, на это

*) Так называли арестанты Чертов остров и Кайенну.

у них нет договора. Так переведите все сказанное мною и подумайте, а я вернусь через полчаса. Тогда вы мне дадите ваш ответ.

Костромаров ушел к себе в каюту, сел в кресло и залпом выпил очередную порцию — полстакана виски. Задумчиво улыбаясь, он сам себе сказал вслух по-русски: «Ну и везет же мне с землячками! Где я только их не находил: по всему земному шару! И даже среди беглых каторжан с Чертова острова, болтавшихся где-то в океане, тоже компатриот нашелся. Недаром меня в Америке вся русская братия называет офицером для связи с земляками по всему миру».

Закурил трубку, отдохнул и спустился вниз, к группе уже заметно повеселевших каторжан.

— Ребята согласны на ваше предложение, господин старший помощник, — объявил русский каторжник. — Готовы идти хоть к черту на рога, только не обратно на каторгу.

— Хорошо! Теперь постарайтесь заснуть. Наберитесь немного сил. До свободы подождать осталось вам несколько часов.

— Эх, какой уж там сон, — проговорил русский.

— В таком случае пойдем ко мне в каюту посидим, поговорим, — пригласил земляка Костромаров.

Каторжник, еще слабо передвигаясь своими израненными ногами, пришел и сел на диване в каюте старшего офицера.

Дрожащими руками он принял от Костромарова рюмку виски, робко взял и закурил протянутую сигарету.

Прошло несколько минут. Он, казалось, успокоился. Долго молчал этот, очевидно, в прошлом богатырь-мужчина. Его резко-очерченное сильное, волевое лицо с серо-русскими глазами, с красивой формой римского носа продолжало изредка вздрагивать нервной дрожью.

— Не хочу вас мучить разными вопросами, — проговорил Костромаров, — но мне хотелось бы все же узнать вашу историю. В чем тут дело? Как вы попали в Кайенну, как бежали оттуда? — Он налил ему

еще виски, протянул другую сигарету, и каторжник начал:

— Моя повесть проста. Я русский. Помор. Моряк с детства. Плавал, как и вы, уже старшим помощником. Затем война. Потом революция. После нее — гражданская война. Белая армия. Ее поражение. Отступление. Эмиграция. Плавать русскому беженцу было трудно. Попал во Францию, в Париж. Работал плотником. Этот труд хорошо оплачивался. Познакомился с молодой вдовой и влюбился в нее. У нее была маленькая девочка, Жаклина. Она называла меня отцом. Настоящий же ее отец был убит на фронте. Она его никогда не видела. Все шло хорошо. Думали через год подсобрать денег и обвенчаться. Но судьба решила иначе. Однажды в субботу пришел я от моей невесты к себе домой. Обнаружил, что у меня пропал бумажник с документами и деньгами. Я не обратил на это особого внимания. Решил подождать понедельника, чтобы пойти в полицию и заявить о моей утере. А в воскресенье вечером я был арестован. Обвинялся в убийстве какой-то богатой старухи, хозяйки ресторана для рабочих. Улики? Мой бумажник с моими документами и деньгами. Его нашли на полу около убитой. Плохое знание языка страны, отсутствие денег на хорошего адвоката сделали свое дело. Подруга моя истратила все свои деньги, заложила свои более чем скромные безделушки, старалась помочь оправдать меня, как только могла, но из этого ничего не вышло. Был суд. Я был признан виновным и приговорен на каторгу, на Чертов остров, на 20 лет, без права возвращения во Францию после отбытия наказания. Ну, вот я и попал в тюрьму знаменитого Чертова острова, известного под названием «сухой гильотины».

Неимоверно жаркий и влажный климат. Ужасная тюрьма с жестокой дисциплиной. За малейшее отступление от правил, за малый проступок, давалось долгое одиночное заключение. Всякого рода болезни. Большинство каторжан — самое порочное отребье всего рода человеческого. Им было плевым делом убить человека, а убивали нередко. Их главари жестоко обращались со своими «подданными», а меня спасал мой

рост да моя поморская сила. Эти качества на каторге весьма уважаются, и меня оставляли в покое.

Прошло пять лет. Я был переведен на материк. Там было немного легче, но жестокое обращение и даже казни за попытки к побегу были нормальным явлением. Работали мы тяжело, но разрешалось прирабатывать немного денег и для себя, главным образом — ловлей тропических мотыльков. За них платили хорошие деньги.

Мари-Анн, моя подруга, меня не забывала, писала мне, что старалась во Франции доказать мою непричастность к преступлению, освободить меня... Но что может сделать маленькая бедная вдова в таком случае? Конечно, ничего. Сошелся я с нею по любви, а вот на каторге я еще больше полюбил ее за ее верность, за самопожертвование. Ведь она тратила свои скудные, таким тяжелым трудом заработанные деньги на всяких адвокатов, на разные ходатайства. Писала мне, всячески обнадеживала своей верой в то, что меня освободят.

Но она не знала, что такое Чертов остров, что представляет собой Кайенна.

Из-под ножа «сухой гильотины» редко кто вырывается здоровым, нормальным человеком. И я знал, что если пробуду на каторге еще несколько лет, то или сойду с ума, или превращусь в живой труп, безучастный ко всему окружающему, потерявший всякую надежду на все и тупо ожидающий своего серого конца арестанта за номером таким-то. Все это и еще моя любовь к Мари-Анн, желание увидеть ее хотя бы только на один миг и заставили меня думать о побеге.

Побег из Кайенны дело крайне трудное, опасное и редко возможное. Бежать через джунгли в Венецуэлу было очень рискованно. Это не то, что в наших северных лесах: в джунглях почти нет пищи, очень мало воды. Змеи, пумы, обезьяны да попугаи, — вот и все. К тому же индейцы за гроши вознаграждения ловили беглецов и выдавали их властям. В мешках пойманных находили иногда человечину. Ею питались оставшиеся в живых, более сильные и выносливые ка-

торжники. Трупы слабых не бросали. Их обращали в пищу.

Бежать морем? Надо было иметь хотя бы какую-нибудь пирогу, что ли. Обычно ее покупали у индейцев, которые, получив скудные сбережения каторжников, предавали их опять в руки их тюремщиков. За побег же всегда бывал суд. Зачастую приговором была смерть на гильотине.

Собрал я семь человек товарищей по несчастью. Им я доверял. Поговорили мы и согласились бежать морем. К индейцам за пирогой решили не обращаться, построить самим какую-нибудь посудину, а там — пан или пропал! За возможность вырваться из этого ада можно было поставить жизнь на карту. Наша компашка жила уже не в тюрьме, а в домиках поселения, как отбывшие свой срок на Чертовом острове. В свободное от положенных работ время мы могли отлучаться на ловлю бабочек в те места, где они водились. В непроходимой чаще нашли мы сваленное бурей большое дерево и из ствола его выдолбили не то индейскую пирогу, не то древне-русский струг. Работа шла под моим руководством. Инструментами были с трудом добытые несколько стамесок да маленький топорик. Целый год потратили мы на постройку этой калоши. Работали по два человека, входили и выходили из чащи так, чтобы не быть замеченными индейцами.

Сделали подобие какой-то мачты, сшили кое-какой парус, вырезали несколько весел, взяли небольшой запас воды и пищи, в одну ночь дотащили лодку до берега — и айда! В море! Был отлив, и в несколько минут мы были унесены им в открытый океан.

Морскими инструментами были игрушечный компас, маленькие часики да карта Южной Америки, вырезанная из какой-то подобранной газеты.

Еще ночью я заметил, что течением нас несло на север, а не на юг, к Бразилии, куда я рассчитывал попасть. Утром повернули на юг, но мои ребята не могли выгребать против уже крупной волны и все время усиливавшегося ветра.

Решили отдаться на волю волн. Поставили парус,

пошли на север. На душе было легче от того, что все же мы уходили дальше от Чертова острова.

Кровавое, жгучее тропическое солнце поднималось все выше и выше. Его беспощадными лучами и солеными брызгами океана даже наши привыкшие к жаре лица и тела были через несколько часов обожжены так, что кожа с них сходила лоскутьями. Теснота, невозможность даже встать на ноги сделали всех нас крайне раздраженными и обозленными. Начались ссоры. К довершению всего днище нашей лодки дало течь. Пришлось отливать воду чем попало. Некоторые соплаватели начали сомневаться в моем знании морского дела. Кое-какая провизия и питьевая вода были уже на исходе, а вскоре и совсем кончились. На четвертый день у двух каторжан от жары, голода и жажды начались галлюцинации, потом они начали буйствовать и пытались убить меня, считая, что я виновник их несчастий. Уговорить, утихомирить их было невозможно, и нам стало ясно, что они сошли с ума. По общему молчаливому согласию было решено избавиться от этих несчастных.

Оба они были прикончены « Пестрым попугаем », довольно решительным малым, имевшим еще до каторги «стаж» военной тюрьмы в Африке. Трупы были выброшены за борт, и их моментально разорвали уже следовавшие за лодкой акулы.

Прошло еще пять дней сплошного ада, и вот сегодня вы нас подобрали. Что будет с нами дальше? Все равно. Лишь бы не опять на каторгу.

Каторжник умолк, устало опустив голову на свою широкую грудь.

Костромаров, с неподдельным участием слушавший страшную повесть, с состраданием смотрел на земляка.

— Как ваши имя и фамилия?

— Прохор Орнарев. Помор я. Окончил мореходку в N. Штурман дальнего плавания, — ответил каторжник.

— Так вот что, Прохор. Завтра вы будете спасены от каторги. За это я ручаюсь своей головой. В знак моей уверенности... — Костромаров вынул из ящика

стола маленький клеенчатый бумажник, сунул туда несколько долларов и протянул его Прохору.

— Примите от меня этот подарок. Он вам пригодится на первое время на земле...

Каторжник недоверчиво взял бумажник, положил его в карман штанов. Трудно передать словами благодарность, которую выражал его взор, взор загнанного, замученного беспощадными ударами судьбы человека, которому помогает его брат-моряк, тоже человек...

— Не знаю, как благодарить вас, господин...

— Костромаров, Иван...

— Господин Костромаров. Трудно надеяться, но, быть может, когда-нибудь в будущем и я смогу сделать что-либо вам полезное. Хотя за то, что вы для нас сделали, отплатить нельзя ничем, все будет слишком мало...

— Полно, полно, Прохор. Вы лучше пойдите да прилягте. До рассвета и до посадки на плот остается еще добрых пять часов. Вам не мешает отдохнуть.

Прохор поднялся.

— Скажите, господин Костромаров, в этом проливе есть акулы?

В его вопросе и в выражении лица был заметен страх и даже ужас.

Костромаров слегка улыбнулся.

— В этом месте, Прохор, много дельфинов, а эти ребята — самые страшные враги акул. Когда дельфин видит акулу, он бросается на нее в атаку, развивая бешеную скорость хода, до семидесяти пяти узлов, и таранит ее на ходу. Где есть дельфины, там нет акул. Не бойтесь. Дельфин — друг человека. Даже найденного в море утопленника он толкает мордой, направляя его к берегу. Наверное не желает, чтобы даже труп достался акулам. В некоторых странах дельфины у берега играют с ребятишками, всегда осторожно, никогда их не кусают. Вот какой народ, дельфины! Нет, голубчик, не бойтесь. Идите спать, да и мне самому тоже заснуть не мешает. Я вас разбужу вовремя.

Каторжанин вышел из каюты, а Костромаров еще долго сидел и о чем-то думал. Потом выпил полстака-

на виски «на сон грядущий», не раздеваясь упал на свою койку, и захрапел с богатырским посвистом.

Корабль медленно, размеренно качало крупной океанской волной.

* * *

Сквозь сон Костромаров услышал семь ударов корабельного колокола: три часа и тридцать минут утра. Постучал в дверь и вошел в каюту вахтенный матрос. Поставил на стол дымящуюся чашку ароматного кофе, доложил о состоянии погоды. Ему было приказано разбудить боцмана, плотника и подвахтенных для спуска плота на воду.

— Да они уже давно сами встали и ожидают вас, — улыбаясь проговорил матрос.

— Хорошо. Можете идти. Я сейчас выйду.

Костромаров привел себя в порядок, выпил кофе, вышел из каюты и поднялся на мостик.

— Курс норд-вест. Ход 12 узлов. Слева по носу открыт маяк Св. Ирены. Расстояние до него 22 мили.

— Хорошо. Я принимаю вахту. Ступайте вниз, — проговорил старший офицер.

— Разрешите остаться помочь вам, когда вы будете спускать плот на воду...

— Ладно, оставайтесь.

В пять часов утра уже ясно показался городок маленького острова. Костромаров уменьшил ход корабля до возможного предела, оставил второго офицера на мостике и спустился на палубу. Около спасательного плота стояла команда, готовая к спуску каторжан, робко жавшихся у борта корабля.

— Вам боцман уже наверное показал, где находятся провизия, вода, весла, аптека и сигнальная ракета? — по-русски обратился Иван к Прохору. Тот утвердительно кивнул головой.

Костромаров знаком подал боцману команду. Тот отдал стопора. Плот скользнул вниз, шлепнулся о воду.

По шторм-трапу каторжники, один за другим, начали спускаться на плот. Последним спустился Прохор. Конец был отдан. Плот, покачиваясь на волнах, тече-

нием направлялся к острову. И около него, как дети, уже резвились дельфины. Они, казалось сопровождали, как лоцмана, спасенных беглецов к берегу, к земле, к робко засветившейся свободе, каторжников, беглецов из ада Чертова острова, возможно-преступников, но в большой мере уже искупивших свои преступления людей.

— ⁂ —

Прошло много лет. Командир американского торгового корабля « Индейская Стрела » Иван Костромаров совершал своим кораблем постоянные рейсы из Нью-Йорка в один из портов Южной Америки. Там были открыты громадные запасы « черного золота » — нефти. Со сказочной быстротой возникали новые городки и поселки по всей стране. Все местное население земледельцев кинулось на « золотую лихорадку » нового Эльдорадо. Зарабатывались бешеные деньги, которые тут же на месте пропивались, проигрывались и тратились на « жриц любви » в наскоро сколоченных бараках с напитками, картами, женщинами и плохими оркестрами джаза.

Не хватало рабочих рук. Их выписывали из Европы. Новым эмигрантам правительство давало участки земли, которые они обрабатывали, заменяя таким образом землеробов страны, ушедших на большие заработки в городе.

И здесь тоже Костромаров нашел маленький поселок, созданный донскими казачьими семьями. Работали казачки́ на чужой им по характеру земле, в жарком климате, очень тяжело, как и их соседи, также переселенцы, итальянцы. Занимались они огородничеством, куроводством, рыболовством, разводили даже скот. Работали до одурения, до упаду, но и зарабатыва́ли неплохо.

Костромаров случайно познакомился и подружился со станичниками. Каждый рейс бывал у них в « станице », помогал им советами, он хорошо говорил по-испански и знал страну, возил им русские газеты и книги-редкость в этом уголке земного шара. Встречали

казаки Костромарова всегда радушно, хлебосольно, никогда не жаловались на судьбу и смотрели на будущее скорее с веселой надеждой.

После одного очередного своего возвращения из Нью-Йорка Костромаров, как обычно, поехал в гости в казачий поселок. В этот приезд он невольно отметил в выражениях лиц всех земляков тревогу, печаль, беспокойство и необычную сдержанность в разговорах.

На прямой вопрос Костромарова, в чем дело, станичники как-то странно переглянулись; наступило общее молчание. Костромарову пришлось прямо-таки потребовать объяснения их загадочного поведения.

Неуверенно, робко ему было объяснено, что атаман « станицы », после обычной поездки в город с продуктами, был привезен домой страшно избитый, почти искалеченный, шайкой выходцев из Южной Европы, которые, как вороны на добычу, слетаются в богатые страны, облагают « данью » не только своих земляков, но и других не забывают тоже. Эта преступная организация могущественна. Она существует во многих странах мира, — бороться с нею невозможно. Прекрасно организованная, обладающая огромными денежными средствами и политическим влиянием, она вызывает страх не только у населения страны, но и у ее правителей. Ее боятся, как огня. Потому что уничтожить врага — физически, морально, политически — этой шайке самое легкое дело, а поделать с ними ничего нельзя. Они всемогущи.

И вот поэтому, когда эти коршуны взяли под свою « опеку » часть страны, в которой находилась « станица », то все окрестное население было обложено « оброком ». Плати нам столько-то в год, и ты получаешь « покровительство ». Не будешь платить — будет нехорошо. Сначала сделают вежливое предупреждение: с вас, мол, причитается столько-то. Гоните монету. Если платеж все еще не поступает, то плательщика жестоко избивают. Если же он продолжает упрямиться, то тогда, просто-напросто, его убивают. Вот так было поступлено с атаманом. Ему было сделано « отеческое внушение », а когда он вторично отказался внести деньги, то и был жестоко избит и предупрежден, что в слу-

чае неплатежа указанной суммы, уже с процентами за медлительность расчета, дело будет совсем плохо. Смерть неизбежна. Вот поэтому вся « станица » и приуныла, не знают, что им и делать. Сопротивляться с голыми руками шайке, вооруженной до зубов, бесполезно, а работать до изнеможения и почти даром в таком случае, — кому это нужно? Прямо хоть бросай все и возвращайся в Европу... Спросили Костромарова, что можно сделать, чтобы выйти из такого трудного положения, так как сами они не знают, что им предпринять.

С тяжелым чувством на душе выслушал Костромаров горькую повесть земляков, пообещал что-нибудь сделать для них, распрощался и уехал в город, по пути обдумывая почти безвыходное положение станичников. Как моряк, исколесивший весь мир, Иван хорошо знал эту шайку, своими щупальцами охватывавшую весь мир. Бороться с нею было почти невозможно. Задачу, стоявшую перед его соотечественниками, решить было крайне трудно.

— *** —

Приехав поздно ночью из поселка в порт, где находился его корабль, Костромаров направился в один « уютный » бар с ласковым названием « Змеиное ущелье » (« The snake pit »). Там его хорошо знали, и он был радостно встречен и сразу же « взят на буксир » его приятельницей — небольшого роста хорошеньким чертенком, певичкой Кончитой, с нежным прозвищем « Дикая Кошка » (« The wild cat »).

Отличительным признаком красоты Кончиты являлись ее густые, предлинные ресницы. Ну прямо-таки невозможно было установить, где начиналась женщина, где кончались ее ресницы, украшавшие ее почти детскую мордочку необыкновенной матовой белизны. Обладательница крошечной фигурки со змеиной грацией, с невинным выражением личика, Кончита обладала к тому же страшно злым языком. Она могла остановить отборными морскими ругательствами — почти на всех языках — пристававших к ней моряков судов

различных наций, посещавших этот порт, а их было много...

Костромаров был покорен всеми талантами Кончиты, а главное, тем обстоятельством, что она оставалась ему верна, несмотря на головокружительный успех у посетителей « Змеиного ущелья », в продолжение целых Т-Р-Е-Х рейсов! А это, дорогие читатели, означало громадное количество времени, почти вечность — шесть месяцев!

Для пылкой южно-американки, живущей на шестом градусе от экватора, — срок весьма почтенный. Кончита бешено-страстно любила этого уже пожилого, и все еще холостяка, американца русского происхождения, уроженца степей голубого Дона, казака Ивана Костромарова. И не было ничего в мире, что бы она не сделала бы для него.

И вот даже теперь, приведя его в укромный уголок бара, « Дикая Кошка » не менее диким прыжком бросилась ему на шею и замерла в экстазе долгого поцелуя после разлуки, длившейся целых семь недель (подумать только!). Костромаров насилу освободился от ее нежных объятий. Он подвел ее к столику, они сели, заказали виски с содой, начались тысячи вопросов Кончиты. Иван, все еще обдумывая положение станичников, вяло и невпопад отвечал Кончите.

Это обстоятельство не укрылось от чуткого розового ушка маленькой южно-американки. Началась « пытка » ее допросов. Костромаров угрюмо молчал. Была пущена в ход ревность Кончиты. Если у Ивана появилась новая любовь, то ей не сдобровать: Кончита найдет ее даже на северном полюсе и сначала выцарапает ей глаза, а потом удушит ее. И так — без конца! Пришлось Костромарову рассказать Кончите причину его мрачного настроения.

Детским смехом рассмеялась его возлюбленная и сказала, что ей, с ее « связями », уладить эту неприятную историю — сущие пустяки.

Она выйдет на минутку и сейчас же вернется с ее старым знакомым, который поможет станичникам избавиться не только от этой банды, а даже от всех чертей в аду, если это нужно. И она ушла.

Вернулась через несколько минут с хорошо одетым, с усами и уже седеющей бородкой богатырем.

— Знакомьтесь, — сказала « Дикая Кошка », — Прох... Прох...

— Прохор, — спокойно проговорил незнакомец.

— Костромаров, — сказал Иван, вглядываясь в глаза пришельца, как будто что-то припоминая и не доверяя своим глазам.

— Вы меня не узнаете, капитан? Я — Прохор Орнарёв, каторжник с Чертова острова, которого вы когда-то подобрали в океане, — проговорил богатырь и заключил Ивана в свои могучие объятия.

Радостно хлопала детскими ручонками Кончита от сюрприза-встречи двух русских, заброшенных на экватор, вдали от родных лесов, полей и степей беспредельной и такой любимой России. Втроем присели к столику. Заказали виски. Попросили извинения у Кончиты за то, что они будут говорить по-русски. Та с серьезной мордашкой объявила, что она все поймет. Щегольнула знанием русского языка двумя фразами: « Я вас лублу » и « ти, мой милий ». Объявила тоже, что она читала в испанском переводе Аверченко и Чехова*). За такое солидное знание русского языка и литературы ей было милостиво разрешено сидеть, слушать и не вмешиваться в разговор.

— Вот уж, действительно, — начал Костромаров, — гора с горой не сходятся...

— ...А человек с настоящим человеком всегда сойдутся, — добавил Прохор.

— Рад видеть вас живым и здоровым, Прохор. По-видимому, на судьбу вам жаловаться не приходится? — сказал Иван, оглядывая дорогой тропический костюм бывшего каторжника. — Расскажите, как вы добрались до острова. Что с вами потом случилось? Надеюсь, все ваши товарищи живы и здоровы?

— Да, все живы и здоровы благодаря вам, капитан. Завтра они будут рады узнать о нашей встрече. — Прохор немного помолчал. — Прибойной волной наш

*) Эти два писателя крайне популярны в этой стране.

плот был выброшен на берег и сразу же был окружен детишками, вслед за которыми подошли и взрослые. Пришли полицейские. « Пестрый попугай » хорошо говорил по-испански и объяснил полицейским, в чем дело. Нас сначала отвели в полицию, записали имена, а затем водворили в маленький, свободный от больных госпиталь. Дали сухую одежду, напоили, накормили, и впервые за многие годы мы заснули мертвецким сном на кроватях с чистыми простынями.

Утром нас отвезли пароходом на материк, в столицу страны, опять в полицию. Пришли репортеры, фотографы, переводчики. Нас допросили, опять записали имена, выдали какие-то удостоверения с разрешением на право жительства и работы в этой стране. Отпустили. Репортеры собрали для нас небольшую сумму денег, направили нашу компашку в недорогой чистенький отель. Вечером хозяин отеля принес газеты, на первой странице которых мы увидели наши фотографии и описание побега с каторги. Репортеры отнеслись к нам милостиво и все описали правдиво, обрисовав нас с очень хорошей стороны. Переводил с испанского на французский опять тот же « Пестрый попугай ». Хозяин отеля, довольный бесплатной рекламой, на радостях дал нам выпить ,и в эту ночь мы заснули первым спокойным, счастливым сном свободных людей. Ужасы каторги уже казались нам каким-то зловещим, невероятным призраком.

Утром мы пили кофе в ресторане и рассуждали, что нам нужно делать, где искать работу и какую. Вдруг в ресторан вошла группа прилично одетых мужчин и направилась к нашему столу. Заговорили с нами по-французски, но на жаргоне каторжников с Чертова острова, и объяснили нам, что они тоже в прошлом-беглые каторжане, нашедшие приют в этой стране, что их здесь насчитывается около сотни человек и что они связаны между собою круговой порукой. Работают вместе, живут поблизости, помогают друг другу, никогда не теряя связи между собой. Если мы желаем, то и нас они примут в свою братию. Им такие люди нужны. Они доверяют только « своим ребятам » и никому другому. Да и им, бывшим каторжникам, со стороны местного на-

селения и властей особого доверия тоже нет. Жить в одиночку не годится и даже опасно: случится какое-нибудь преступление, на кого падает подозрение? Да на бывшего каторжника, если он живет неподалеку и один. Снова могут засудить и опять посадить за решетку. А жить вместе, объединенным, легче. У них и работать можно и денег сколько угодно имеется.

« Пестрый попугай » как наш представитель спросил о характере работы. Ему было сказано, что если мы примем их предложение и вступим в их компашку, тогда нам будет сказано, в чем заключается их деятельность. С нас возьмут слово о полном молчании. Нарушение же данного каторжником слова, мы должны сами знать, чем оно кончается. Мы попросили у них несколько часов для того, чтобы обдумать их предложение. Они согласились, сказав, что вечером к нам придет за ответом их « вождь », попрощались и ушли.

Уже вечерело, когда пришел сам глава этой братии. Пожилой мужчина с суровым ,но приятным лицом, он никак не походил на бывшего каторжника. Одет он был скромно. После знакомства с нами он начал свою речь с того, что, мол, разница между так называемым честным человеком и преступником — это тюремная стена. Тот, кто имел глупость попасть в тюрьму, он и есть преступник, а тот, кто остался на свободе, — честный человек. На деле же, на свободе больше жулья, чем в местах заключения. И бывшие каторжники знают это лучше, чем кто-либо. Поэтому, к так называемым порядочным людям они особого доверия не питают и по этой причине сплотились здесь в такую крепкую организацию.

Да, они все работают, торгуют, но главный доход поступает из других источников. Большинство их бежало с каторги через джунгли, где никогда не ступала нога белого человека. Приходилось иногда подолгу живать с индейцами. От них узнали местонахождения золота, рубинов и изумрудов.

Втайне от правительственных чиновников, каждую весну они уходят далеко на юг, почти к экватору, в джунгли к индейцам, где они добывают золото и драгоценные камни очень простым способом. К зиме воз-

вращаются домой, тайком продают добычу и ожидают нового похода с наступлением весны. В поход отправляется половина компашки, другая остается на месте, занимается рыболовством, — для этого у них есть маленькая флотилия рыболовных судов, не брезгуют и контрабандой, торгуют чем Бог послал. Никого не трогают. Но если кто-нибудь их тронет, то понятно, чем может закончиться такое дело. Полиция их уважает и даже побаивается.

Правительство дорого заплатило бы за секрет, где они добывают золото и камни, но узнать это ему не под силу. Вот поэтому их « артель » и процветает. С ними считаются. Одно плохо, что выехать во Францию или даже в другую страну, но имеющую договор с Францией о выдаче беглых, трудно, почти невозможно. Даже паспорт этой страны не защищает беглого, если он вернется в такие места. Он — опять преступник, и каторга опять начинает улыбаться ему улыбкой палача « сухой гильотины ». Закончил он свою речь, спросив нас, желаем ли мы присоединиться к этой братии или нет. Мы все согласились. Утром мы были отвезены в портовый город на берегу залива, где несколько недель отдыхали, набираясь сил. А потом занялись рыболовством под моим водительством.

Весной, в группе из двадцати человек под моим начальством, с верным индейцем мы отправились в непроходимые места за золотом и камнями. Тяжелой и опасной была эта работа. И зверье, и змеи, и болезни, и опасность заболеть «лихорадкой черной воды» (« Black-water fever »), и ядовитые стрелы враждебных индейцев, — все было против нас. Но нам везло. В целости, сохранности и с богатой добычей вернулись мы домой.

Сделал я с моими ребятами шесть походов в такие места. Временами приходилось очень трудно, но я никогда не потерял ни одного человека, ни больным, ни мертвым. Всегда возвращался с большими богатствами. На седьмой год умер наш вождь. Меня выбрали на его место. Теперь я здесь « царь и Бог ».

Выписал я сюда ко мне из Франции мою любовь, Мари-Анн, с ее уже большой, замужней дочкой Жаклиной. Мари-Анн привезла мне амнистию француз-

ского правительства. Оказалось, что настоящий убийца старухи, умирая от рака, мучился долго и страшно, а перед смертью сознался в своих преступлениях, да и в том, что сделал со мной. И я был оправдан. Лучше поздно, чем никогда, — горько добавил Прохор. — Жена каждый год ездит во Францию. Я сам люблю эту страну, ехать же туда боюсь: а вдруг опять случится такая же судебная ошибка? По стечению обстоятельств! Опять на каторгу? Вот поэтому и сижу здесь без выезда.

То, что вы сделали для нас, капитан, мы не забыли и никогда не забудем. Много говорит о вас «Пестрый попугай», которому вы вправили вывихнутую руку. Что вы хотите? Что вам нужно? Денег? Золота? Изумрудов? Рубинов? Скажите только слово и все будет у вас.

Костромаров помолчал немного, а потом проговорил:

— Спасибо на добром слове, Прохор, но мне ничего не нужно. Все у меня есть, а вот... — Иван умолк.

— Что — вот? Что вы хотите? Говорите, не стесняйтесь, капитан, — сказал Прохор.

— Вот если бы вы помогли землякам, — и Костромаров рассказал Прохору о беде станичников.

— Мы этих господ южно-европейцев знаем и глубоко их презираем. Храбрый народ, когда идут десять на одного безоружного, а сами вооружены до зубов. Это одно. Второе, — мы сделались преступниками не по нашей вине. Большей частью от нужды или несправедливости, а то и по ошибке, вот как случилось со мной, — сказал Прохор, — а эти типы в течение многих поколений грабят, насилуют и убивают и своих и чужих, если те не исполняют их требований. И шайка эта орудует по всему земному шару. Собою представляют они большую силу. Мы-то, конечно, знали об их приезде сюда, да и знали об их проделках тоже. Нас же они пока не трогали. Боятся. Но мы знаем, что рано или поздно, когда их будет больше, чем нас, будет плохо. Мы их пока тоже не трогаем, хотя мы их не боимся, смотрим, что будет дальше и держимся наготове.

А что это за народ, земляки наши? О них я ниче-

го не знал раньше. Тоже беглые каторжане, как и я? — с горько-шутливой иронией спросил Прохор.

— Если хочешь, Прохор, земляки эти наши тоже беглые каторжники, как и вы все. Большинство из них попало на сталинскую каторгу за то, что стояли за свое право быть русскими и любить Россию, а потом попали они в еще худшую неволю, — в плен или на принудительные работы к немцами. Что было хуже —свои или чужие — сказать трудно.

Война кончилась. На родину возвращаться было опасно. С « отцом народов » шутки были плохи ,сам знаешь. Вот и подались они куда глаза глядели, да и очутились здесь. Сели на землю, начали работать « по-казачьи », тяжело, и преуспели, а тут эти гиены появились. Никакой жизни от них не стало, ну прямо хоть плачь. Вот и прошу тебя, Христа ради, помочь им, Прохор. Жалко-то ведь их. Настрадались много и без этих негодяев!

Прохор долго молчал, потом сказал:

— Твердо обещать вам ничего не могу, капитан, но попробую что-нибудь сделать для земляков.

— Хорошо, спасибо и за это, Прохор.

И они разошлись.

Нетерпеливо слушавшая разговор Кончита встала и потащила грузноватого уже Костромарова к танцевальной площадке бара. Прижавшись к его фигуре, она пустилась в плавное, замысловатое южно-американское танго. А утром Костромаров своим кораблем ушел в море.



Американский пароход « Индейская Стрела » вернулся в этот порт через шесть недель. Ловко ошвартовался у пристани. Быстро были спущены сходни. По ним на корабль взошли местные чиновники, быстро проделали все нужные формальности. Был спущен карантинный флаг, и Костромаров первым спустился на берег. Только он ступил на твердую землю, как быстрым прыжком бросилась ему на шею певичка Кончита, или « Дикая Кошка », начала осыпать его загорелое

лицо неподдельно — страстными поцелуями, и быстро начались вопросы:

— Ти привез чульки? Губной помад? И пудри? Да? — скороговоркой выпалила его подруга.

— Откуда у тебя появилось столько русских слов? — спросил удивленный Костромаров.

— Это он меня научил, — и Кончита показала рукой в сторону смущенно улыбавшегося Прохора.

Только что успел Иван пожать ему руку, как вдруг подбежало несколько человек станичников, которые наперебой, по русскому обычаю, стали за что-то благодарить Костромарова.

— Стой, ребята! Толком расскажите, в чем тут дело. Почему такие излияния благодарности и за что? Не понимаю!

— Да за то, что помог ты нам избавиться от этих бандитов. Не только из округи нашей исчезли, а из всей страны улетучились. Как по мановению волшебного жезла вся страна избавилась от этих гнусов... И все благодаря тебе, Иван Иваныч.

— Да не меня нужно благодарить, а вот кого, — Иван указал на Прохора и на ничего не понимавшую Кончиту, которым казачьё пошло трясти руки.

— В таком разе, Иван Иваныч, вот что: завтра — первое октября, наш казачий праздник Покрова. Будет русский священник из столицы молебен служить, да крестить двух сорванцов надо, по семь лет им уже исполнилось, а до сих пор нехристями ходят. Случая — то ведь не было священника иметь.

Сделай честь, будь их крестным отцом! А кума? А, ба! Да вот эта твоя красавица не согласится ли? (— Ну и народ же эти « кóзи »! Уже пронюхали, в чем дело! — подумал Костромаров).

Пришлось перевести Кончите просьбу казаков на испанский язык. Она была только рада быть « кумадре » (кума, по-испански) и сразу задрала вверх от гордости свой изящный носик.

— Так бувайте здоровеньки! Завтра пришлем за вами машину в семь утра, и айда! К нам, в станицу « Экватор »!

Прохор обещал быть вовремя. Кончита нетерпели-

во теребила Ивана, — тащила его к себе, в ее квартиру. А затем?

Время действия:

Первое октября 196. года. Самый торжественный праздник Всевеликого Войска Донского — это Покров Пресвятыя Богородицы.

Место действия:

Донская казачья станица « Экватор ». Правда, она не расположена на самом экваторе, а только в пяти градусах к северу от него, всего навсего каких-нибудь триста морских миль, но это роли не играет.

Станица « Экватор » состоит из больших, плашмя поставленных прямо на землю полуцилиндров гофрированного железа-домиков. Вокруг жилищ — огороды, купы банановых и фрукт манго деревьев, кусты ананасов; тянутся кверху саженцы апельсиновых и лимонных деревьев. За ними идут службы: курятники, хлева, видно много домашних животных. На берегу залива — несколько опрокинутых вверх днищами рыбачьих лодок. Сушатся рыболовные сети.

В центре станицы, у домика, который побольше, стоит толпа поджидающего кого-то народа. На фронтоне домика красуется надпись: « Экваторское станичное правление ».

Действующие лица:

Из первого, плавно остановившегося автомобиля выходит старичок, русский священник, в белой рясе, с камилавкой лилового цвета « на главе его ». За ним выходит молодой русский, очевидно — псаломщик. Из второй, лихо подкатившей машины степенно и скромно одетая медленно выходит певичка Кончита, или « Дикая Кошка ». За нею выползает, в полной белой морской форме и при всех орденах, капитан Костромаров, — крестины же ведь! Поэтому он и — « при полном параде ». Последним выходит, разминаясь, согнутый в маленькой машине в три погибели богатырь — помор Прохор Орнарёв.

Все приехавшие вошли в дом. В красном углу висело несколько древних казачьих икон. Перед ними

стоял стол с зажженными на нем свечами и большой серебряной посудой с водой, приготовленной, очевидно, для крещения детей.

Само действие:

Медленно облачается старичок священник. Проникновенно служит молебен с акафистом и водосвятием. Молебен окончен. Все подходят к кресту. Наступает обряд св. крещения. Двое дюжих казачат стоят в длинных белых рубахах. За ними-кума, Кончита, и кум, Костромаров. Начинается торжественный обряд. На шеи детей повешены крестики, они помазаны св. миром, окроплены освященной водой. И под звуки могуче всеми подхваченного « Елицы во Христа креститестеся, во Христа облекостеся » они торжественно обходят три раза стол, служащий вместо аналоя, и обряд кончен. « Нехристи » сделались христианами.

Приглашенных усаживают за столы, которые ломятся от снеди, и какой: тут вам и холодец, и заливная рыба, и донские селедки в вине, которых казачки « сварганили » из летучих рыбок, и колбасы, и окорока, и донской же курник, ну прямо как когда-то бывало на Дону. А вот взамен южно-русских фруктов горами пламенели фрукты манго, ананасы, бананы и апельсины. Да и вместо нежных цветов зеленых степей Дона величаво покоились в вазах мертво-бледные, но роскошно-красивые орхидеи экваториальной полосы. Начались тосты, здравицы, просьбы хозяек отведать того да этого, да и подносить русскую водку домашнего приготовления тоже не забывали. И все это происходило при влажной жаре в 120 градусов Фаренгейта!

Вдруг встал станичный атаман и начал держать речь, в которой поблагодарил Прохора и Кончиту за оказанную услугу, а в заключение объявил приговор станичного круга, которым объявлялось, что Костромаров, Прохор и Кончита Мария Лопез избраны почетными казаками станицы Экваторской Всевеликого Войска Донского. Грянуло громовое « ура ». Все полезли чокаться и целоваться. Ничего не понимавшей Кончите казачка, мать окрещенных детей, надела на голову дорогую парадную каракулевую папаху со шнурами и

белым султаном. Шапка эта, бережно и с большими трудностями вывезенная за рубеж, принадлежала ее деду, в прошлом подъесаулу Лейб-гвардии Атаманского полка.

Кончита зарделась румянцем от неподдельного удовольствия и гордости, когда Костромаров перевел ей, что отныне — она донская казачка.

Начались песни. « Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон », « Конь боевой с походным вьюком... » сменились старинными песнями северных станиц Дона. И происходило все это где-то у дьявола на куличках, у самого экватора, куда ни один русский ворон даже никаких костей не заносил.

— Эх, — думал Костромаров, — куда не занесет судьба русского эмигранта! Рассеялись по всему белу свету. Отрадно то, что русскости своей да обычаев древних держатся крепко, не забывают их.

Закончился долго тянувшийся пир. Ивана, Прохора и Кончиту станичники привезли в порт. Распрощались. Костромарову с трудом удалось отвести подвыпившую Кончиту домой, невзирая на ее отчаянные протесты уложить нераздетую спать, даже с папахой на ее головке. С нею она ни за что не хотела расставаться.

Иван с Прохором пошли на корабль. Сели в прохладной капитанской каюте, отдышались. Стюард принес виски и соду, разлил их по бокалам. Они оба долго молчали.

Начал капитан:

— Скажи, Прохор, как вы избавились от этих бандитов? Знай она всю правду, вся страна была бы вам благодарна. Вы что, порешили их? Прирезали что ли?

Сурово улыбаясь, Прохор проговорил:

— Да нет, не так, капитан! Вашу просьбу я исполнил. Сказал ребятам, в чем дело. « Пестрый попугай » сразу же сказал, что ваша просьба — это приказ и ее надо исполнить во что бы то ни стало. И все равно этого будет мало за то, что вы когда-то для нас сделали. А к тому времени эти типы начали уже и к нам приставать с разными вопросами: что мы делаем, чем за-

нимаемся, откуда у нас и деньги, и дела, и дома собственные появились.

Нам сделалось ясным и понятным, что и нашей компашке сдобровать будет трудно, что в живых нас останется мало. Пока враги были малочисленны, мы решили избавиться от них. Начали следить за ними. Искали удобного случая. Он скоро и представился: их главарь влюбился в вашу Кончиту. Начал посещать «Змеиное ущелье», приставать к «Дикой Кошке». Ну, вы ее знаете. Она несколько раз обругала его так, как может сделать это только Кончита. Этот отпор его не остановил, а распалил еще больше. Вдобавок ко всему он и хозяина бара обложил крупным «оброком», что нам сразу сделалось известным. Он был славный человек, этот хозяин, «свой парень». Однажды глава шайки приказал владельцу бара устроить вечером банкет на двадцать человек. И об этом мы тоже были извещены вовремя. «Пестрый попугай» собрал у себя дома, неподалеку от бара, душ тридцать наших ребят, и один из них следил и доносил о том, что творилось на этой пирушке.

Полиция была на нашей стороне, знала, в чем дело, и благоразумно находилась вдалеке от бара.

Вот когда они все перепились, а их главарь схватил сопротивлявшуюся Кончиту и начал ее целовать, наши ребята и ворвались в бар. Схватить, обезоружить, связать и заткнуть им рты салфетками — для моих ребят было делом нескольких минут. Вы знаете, что бар находится на набережной, у самой воды, где стоят наши лодки, — и Прохор замолчал...

— Ну а дальше что? Значит, пошла резня?

— Нет, капитан, мы решили крови не проливать, а только выкупать их в холодной ночной воде океана, чтобы охладить их горячую, страстную кровь, да и спасти других людей от этих вампиров. Ну, бросили их в лодки. Моторы работали. Вышли в море. Неподалеку от берега мы их и сбросили в воду. Один, кажется, добрался до берега. И это было все, — невинно закончил Прохор.

— Ну а с другими что стало? Ведь здесь же мириады акул, — сказал Иван.

Лицо Прохора сделалось мрачно-суровым.

— Да, капитан. Акул здесь много. Это верно. Что сделалось с этими типами, — нам ничего неизвестно. Ведь вы знаете, что акулы умеют молчать.

— *** —

Американский корабль « Индейская Стрела » уходил опять в далекий рейс, в Нью-Йорк.

Он медленно разворачивался, отходя от пристани. На ней размахивали платками провожающие капитана станичники, бывший каторжник Чертова Острова Прохор Орнарёв и казачка станицы Экваторской Кончита Мария Лопез. Она что-то кричала Костромарову, но из-за шума машин нельзя было разобрать, что она хотела сказать Ивану. А его зорким морским глазам был ясно виден падающий по ее личику черный (от маскары) жемчуг ее искренних слез, слез разлуки с ним, ее любимым. Суровы наружно моряки, не любят они выдавать своих переживаний, ни радостных, ни печальных. Таков неписанный закон их жизни. Они всегда носят маску сурового, чуть грубоватого равнодушия ко всему окружающему.

Капитан долго смотрел на уходящий берег с оставшейся на нем Кончитой. Казалось, он чувствовал, что эта маленькая испанка была его последней любовью, что он вернется к ней опять и станет на « мертвые якоря » в станице Экваторской раз и навсегда, правда где-то далеко от голубого Дона, но все же среди своих донских станичников.

Он приказал лечь на курс, — дать полный ход вперед.

И, уходя вниз с мостика в свою каюту, с необычайной для него мягкой улыбкой, но все же грубовато спросил у ничего не понявшего молодого помощника:

— А как вы думаете, молодой, откуда легче уйти человеку целым: из объятий « Дикой Кошки » или же из стаи акул, которые умеют молчать?

МАЯК

Я шел очередным рейсом из Нью-Йорка в Вальпарайзо, Чили.

За исключением сезона ураганов, такие переходы настолько спокойны, что среди американских моряков они носят название Milk run — развозка молока.

Заходить в несколько определенных портов, сдавать груз — по дороге в Чили; возвращаясь домой в Америку, брать груз нитрата, вот и вся недолга... Много свободного от вахт времени, что дает возможность и офицерам и команде корабля поговорить по душам, узнать друг друга поближе, обмениваться мнениями и впечатлениями, вести самые разносторонние дискуссии.

На этот раз подобралась удивительно славная « компашка » офицеров, среди которых был земляк, русский, радиоофицер, долго служивший во французском Иностранном легионе в Африке.

Был он до странности застенчив и скромен. Очень мало говорил о себе и о своем прошлом.

Стояла жаркая, тропическая, штилевая погода. Каждый вечер после ужина, офицеры подолгу засиживались в кают-компании. Вели оживленные разговоры, слушали радиопередачи, изредка играли в шахматы или читали. Иногда мягко спорили о мировой политике. Все разговоры носили дружеский характер.

Как-то вечером я зашел в кают-компанию выпить чашку кофе. Офицеры с шутками вытаскивали из вазы какие-то жребии-номерки. Старший офицер объяснил мне, что в порядке вытащенных номеров каждый офицер должен рассказать один, самый потрясающий случай из своей жизни.

Быть первым рассказчиком выпало на долю штурмана, спокойного, приятного человека.

Лет двенадцать тому назад, в Колумбии, он познакомился с прелестной девушкой, красивой, из хорошей семьи. Скоропалительно, но по-настоящему, влюбился в нее и сделал предложение. Оно было принято, он женился. Купил домик в ее же городе и после медового месяца начал опять плавать на корабле нашей компании, делавшем постоянные рейсы в этот порт. Все шло хорошо. Он был счастлив, жена ожидала ребенка... Однажды он шел обратным рейсом в Колумбию. В море он получил радиограмму о том, что его жена отправлена в госпиталь и что со дня на день он будет отцом. Радостная тревога охватила его...

Вошли в порт. Ошвартовались, и он сломя голову помчался в госпиталь. Бросился к жене, которая через час разрешилась от бремени... черным мальчиком! Его отчаянию, ревности, мученьям не было конца, но отец жены очень спокойно объяснил ему, что почти во всех странах Южной Америки многие семьи имели среди своих предков мулатов и даже черных. На это в их странах особенного внимания не обращали, да и теперь относятся совершенно равнодушно к такого рода явлениям. Ведь у них всем известно, что смешанные браки могут в течение ряда поколений давать белых детей, а потом, вдруг — сюрприз: ребенок черный! Очевидно, кто-то из предков его жены, происходившей из старинного испанского рода первых колонизаторов Колумбии, был негр или мулат. Вот поэтому у него и черный наследник, ничего поделать нельзя!

Он чуть не сошел с ума от мучительных дум, едва не покончил с собой, но любовь к жене победила все, рассеяла все его сомнения, и он принял происшедшее как нормальное явление. Но о том, чтобы взять свою семью в Америку, да еще в Луизиану, не могло быть и речи! Он должен был остаться жить в Колумбии. Второй ребенок был тоже черный малыш. А вот третий, — очаровательная девочка, золотистая блондинка, появилась на свет неожиданным контрастом.

Да, он счастлив! Лучшей жены, которую он любит все больше и больше, и более талантливых детей най-

ти трудно; ему и теперь еще стыдно за те сумасшедшие подозрения, которые смогли у него зародиться при рождении его первенца. Но все же удар, полученный им тогда, был так неожидан и болезнен, что забыть его трудно и почти невозможно...

Так закончил свой рассказ штурман.

Вторым на очереди был старший инженер-механик. С суховатым юмором янки из северного штата Вермонт, он рассказал нам, почему остался вечным холостяком. Произошло это в дни его далекой молодости, в Рио-де-Жанейро. Приходил он туда довольно часто и сделался завсегдатаем одного бара-кабаре, где ему приглянулась стройная, хорошо сложенная молодая танцовщица — бразильянка. Он начал ухаживать за нею, влюбился, привозил ей дорогие подарки, но предмет его вожделений держался строго целомудренно и недоступно. После почти двухлетних ухаживаний и уймы денег, истраченных на приношения, она в конце концов согласилась поужинать с ним в отдельном кабинете того же кабаре, где она выступала. До этого все встречи, разговоры, ухаживания и признания происходили только у стойки бара... В истреблении напитков она могла конкурировать с боцманом любого военного флота. Ему это даже нравилось, он думал, что предмет его любви, очевидно, — женщина с изюминкой.

Ну вот, желанный час настал! Они — вдвоем, в отдельном кабинете. Кабинет — вроде беседки, — без крыши. Под пальмами, звездами, полной луной бразильской ночи... Доносится мягкая, волнующая музыка... Ужин кончен. Подано шампанское. Разгоряченный близостью любимой женщины, он обнял ее, пытался целовать... Танцовщица оказывала сопротивление, старалась вырваться из его объятий. Он ее удерживал и вдруг совершенно нечаянным движением сорвал верхнюю часть ее костюма и обалдел!!! Он увидел, что перед ним сидел молодой мужчина с волосатой грудью... Лиф с фальшивым бюстом валялся на полу... « Танцовщица » созналась, что « она » — мужчина, имперсонатор женщин, и вскользь упомянула о своих довольно странных наклонностях. Подарки возвратить он отказался. Произошел скандал, с мордобитием, арестом,

с большим штрафом... Этот « удар судьбы » инженер помнит всю свою жизнь. Не забывает... А вдруг опять нарвется на такую « танцовщицу »!

Рассказ был покрыт одобрительным смехом.

Третьим рассказчиком был старший офицер корабля. Раскурив свою вечную трубку, он рассказал нам следующее: молодым флотским офицером он участвовал в занятии острова Новая Гвинея. После его занятия командовал деревянным быстроходным маленьким истребителем и, крейсируя вдоль берегов, нес патрульную службу. Плавание было довольно трудным: не совсем точные морские карты, отсутствие маяков и вех, плохо отмеченные рифы, мели и морские глубины делали это назначение опасным и неприятным.

В этих походах команда и он сам работали, ели и спали, несмотря на жару, в спасательных жилетах.

Однажды был получен приказ: разыскать и спасти летчиков нашего аэроплана, сбитого японцами и упавшего в море. Истребитель шел штормовой ночью по указанному приблизительному курсу. Шторм все усиливался. Громадной волной катер был вдруг поднят, а затем стремительно брошен вниз, разбившись буквально в щепы. Он, командир катера, очутился в воде, волна захлестнула его, обо что-то ударила, и он потерял сознание.

Пришел он в себя утром, на берегу, окруженный толпой галдевших дикарей, вооруженных копьями и щитами. Некоторые из них щеголяли японскими штыками. Его повели в поселок, где бросили в какой-то шалаш. Держали его там целую неделю. Кормили отвратительным полусырым мясом и какими-то фруктами. На восьмой день явился миссионер-австралиец, долго живший на этом острове и говоривший на языке дикарей. Он выручил его из плена и доставил в другую часть острова, в расположение американских войск. Шли они туда через джунгли несколько дней. Миссионер по дороге развлекал его рассказами о быте дикарей: они, конечно, неграмотны, не имеют даже своего алфавита, считать могут только до десяти, по количеству пальцев на обеих руках, свирепы, кровожадны и людоеды по сей день. Никаких животных на их острове

почти не водится и лишь изредка посчастливится охотникам убить небольшую свинью, а вообще живут они впроголодь, питаясь рыбой, фруктами да какими-то кореньями. Сейчас им немного лучше: ловят разбежавшихся по джунглям японцев, не захотевших сдаться в плен американцам, убивают их и едят.

В памяти старшего офицера всплыли японские штыки дикарей... Он спросил миссионера, уж не человечиной ли кормили его дикари во время плена у них. Миссионер ответил, что он совершенно уверен в том, что старший офицер ел мясо своих врагов-японцев, свиней здесь нет, но советовал не обращать внимания на эту « подробность ». В первые годы своего миссионерства он тоже несколько раз ел человечину, после чего стал вегетарианцем. Старший офицер чуть не лишился сознания. Несмотря на радость спасения, он ужаснулся от мысли, что ему невольно пришлось стать каннибалом. Целый день его мучила ужасная нервная рвота... Выйдя после этого из госпиталя, он сделался вегетарианцем, а мысль о том, что он целую неделю был каннибалом делает его больным еще и сейчас, и он старается смотреть в сторону, когда другие едят кровавые ростбифы и бифштексы...

Для старшего офицера это был самый большой удар, врезавшийся в его память на всю жизнь, и забыть его он не может. Окончив свой рассказ, он начал набивать свою трубку.

Оживленные прения по поводу случая со старшим офицером наконец прекратились, и слово было дано четвертому рассказчику, радиоофицеру, но он смущенно заявил, что жизнь его была настолько бедна впечатлениями, что ему абсолютно нечего рассказать... В это самое время вошел вахтенный матрос.

Он доложил мне, что вахтенный офицер просит меня подняться на мостик. Слева по носу корабля показался маяк мыса Св. Антония (на острове Куба), направление 20°. Я и штурман пошли на левое крыло верхнего мостика, где он занял место у пеленгатора.1)

---

1) Инструмент, измеряющий угол между направлением какого-либо предмета на берегу, маяка или вехи, и компасного курса корабля.

Была чудная, тихая тропическая ночь.

Безоблачное, даже в темноте ночи поражающее глаз своею глубокою синевой небо было усеяно особенно ярко, по-тропически, мерцающими звездами.

Океан был тих. Он, казалось, уснул и дышал мирной, безмятежной глубокой волной. Во сне он как будто улыбался ласковыми морщинами фосфорически светившейся волны. Мне казалось, что так могут спать крепкие, здоровые старики после спокойного трудового дня. Те, у которых совесть чиста от сознания не впустую прожитой жизни.

Корабль мягко вибрировал работой своих могучих машин, слегка и ритмично качаясь килевой качкой. Он как бы раскланивался, встречая маяк мыса Св. Антония, своего старого знакомого, которого он знал уже много-много лет. Вот маяк и на пеленге 2), доложил мне штурман.

Я приказал изменить курс корабля на 20° вправо. Вахтенный офицер и штурман пошли в рубку занести в журнал и изменить на карте курс корабля. Я остался один на мостике. И вдруг я увидел фигуру радиоофицера. Он подошел ко мне. Я спросил его, почему он не рассказал какого-нибудь случая из своей жизни офицерам в кают-компании. Мне почему-то не верилось, что у него действительно была такая бесцветная жизнь до его приезда в Америку.

Мягко улыбаясь, он сказал, что после услышанных рассказов о черных ребятах, о танцовщице, оказавшейся мужчиной, о каннибалах, пожиравших японцев на Новой Гвинее, его рассказ произвел бы слабое впечатление. Поэтому он и отказался говорить о нем. А случай был таким, что даже и теперь он находится под его впечатлением, не может забыть.

Если я хочу, он мне его расскажет. Мне, русскому человеку, его рассказ будет понятен. Другим, не русским слушателям, рассказ о том, что произошло уже много лет тому назад, интересен не будет... Я согласил-

---

2) Пеленг — направление маяка или другого предмета на берегу, образующее угол 90° с курсом корабля. Дает навигатору возможность определить точное расстояние корабля от маяка-изменить или оставить старый курс корабля.

ся... И вот, стоя на штормовом мостике под лунным светом и сиянием звезд тропиков, ласкаемый мягким ночным ветерком океана, я услышал нечто, действительно поразившее меня тонкостью переживаний и последствиями внезапного и горького разочарования.

Он прибыл десятилетним мальчиком во Францию со своим родителями, эмигрантами с юга России. Отцу и матери удалось найти трудную, но хорошо оплачиваемую работу, что дало им возможность дать своему единственному сыну приличное образование в двух школах сразу, французской и русской. Они не хотели, чтобы их сын забыл свою родину и родной язык.

Он никогда не увлекался спортом и все свободное время отдавал чтению, сделавшись под влиянием матери романтиком-идеалистом. Искал каких-то идеалов и, невзирая на знание двух великих литератур мира, русской и французской, их не находил.

Отбыв воинскую повинность во французской армии, он вернулся в Париж. Вскоре после его возвращения родители его умерли, один за другим. Продолжать дальнейшее образование без их денежной помощи было трудно. Он сделался электротехником, хорошо зарабатывал. Одинокий, он тосковал, по-прежнему продолжая много читать, все искал идеала.

Идеал вскоре нашелся в лице молодой девушки из такой же русской эмигрантской семьи.

Вспыхнувшая любовь закончилась свадьбой. Но счастье было не долгим. « Идеал » оказался существом, желавшим жить по моде века: ночные клубы, танцульки, спорт, легкие интрижки, словом, все то, на что у него не было ни желания, ни денег.

Короче говоря, через два года от « идеала » осталось одно горькое разочарование, закончившееся разводом.

Обескураженный, с разбитой душой, он избрал линию наименьшего сопротивления всех неудачников и романтиков: поступил в Иностранный легион в Африке и там сделался радиотелеграфистом. По-прежнему много читал по-русски и по-французски. Изучил английский язык, добавив к своей библиотеке и писателей туманного Альбиона.

По-прежнему продолжал искать смысл и идеал в жизни и не находил. Как вдруг...

Тут я приведу его подлинные слова:

— Совершенно случайно я приобрел небольшой томик сочинений известного русского писателя зарубежья. Известен он и вам, но имени его я не назову. Прочел я этот томик и, уже начиная с четвертой страницы, был вне себя от радости.

Сжатыми, короткими фразами автор открыл мне дверь в тот волшебный, загадочный мир, куда я стремился всю мою жизнь и куда не мог попасть.

Вы понимаете, капитан! Я всю жизнь бродил в потемках, натыкаясь на различные предметы, а теперь я не только видел, но, казалось, мог осязать конец радуги моих грез и помыслов, нашел точный ответ на ряд мучивших меня вопросов. И все это было найдено в маленькой книге знаменитого писателя, написанной самым красивым в мире, русским языком.

Я перечитывал страницы этого откровения каждый день. Книга эта сделалась для меня не « настольной », а « нательной ». Я с нею не расставался нигде и никогда. Днем она находилась у меня в кармане. Ночью же, когда успокоенный и умиротворенный несколькими вновь перечитанными страницами этой книги, я засыпал на своей одинокой солдатской койке в далекой Африке, в Богом и людьми забытом, заброшенном форту аванпоста в пустыне, книга была у меня под подушкой.

С нею же в кармане я пошел на войну. Была она уже достаточно потрепанной. Не выигрывал ее вид и от пятен моей крови, слегка оросившей ее во время моего последнего ранения... И все же я ее бережно хранил. Она была моим сокровищем, горным ключом, от куда била бодрящая влага, живая вода жизни. Она была древней русской иконой, благословением моего духовного отца, с которым мне не страшно было идти в бой с самой смертью. Я верил, что благодаря ей, и только ей, я был спасен физически и духовно и познал новый, волнующий смысл бытия.

Я много думал об авторе этой книги. Я воображал его мягким, вдумчивым человеком, русским интелли-

гентом, который знает ответ на все вопросы и может дать любой совет... И, конечно, он не способен кого-либо обидеть. Я жалел, что у меня не было его портрета. Хотел ему об этом написать, но не решился... Я жил мечтой о встрече с ним. Но он был далеко, в Париже, а я в Африке, в команде слабосильных, на поправке после ранения.

Однажды зашел я в русский клуб, имевшийся в нашем городе. И прочитал на афише, что автор «моей» книги, проездом, прочтет здесь одну только лекцию. Счастью и ликованию моему не было конца: мечта моя сбылась, я увижу автора!

Три дня, остававшихся до лекции, прошли в каком-то угаре. Я мало ел и пил, плохо спал. Так, наверное, чувствует себя молодая девушка перед первым своим любовным свиданием... И вот желанный день настал. Я тщательно почистил свою военную форму, навел глянец на сапоги, подстригся, гладко выбрился и отправился в клуб. Книга лежала у меня в кармане. Моею тайной мечтою было лично поблагодарить автора и попросить его сделать надпись на моей книге.

В 8 часов 15 минут автор появился на эстраде. Он был высокого роста, с пышной, полуседой шапкой волос. Лицо его было красиво и породисто, глаза сверкали, ноздри прямого, тонкого носа нервно вздрагивали. Слабый, почти по-детски очерченный рот улыбался капризной улыбкой. Подбородок был упрямым, своенравным, но не волевым. Он был подчеркнуто небрежно одет в хорошо сшитый, дорогой костюм. Он спокойно раскланивался в ответ на аплодисменты, затем знаком попросил тишины и начал свою речь...

Мягкий, но уверенный, бархатный баритон, отточенный русский язык и плавная манера говорить произвели на публику глубокое впечатление. Мы все сидели завороженные его прекрасной речью. Когда же он кончил говорить, раздался гром долго не смолкавших аплодисментов. Все слушатели бросились к автору и окружили его. Жали ему руки, задавали вопросы, благодарили... Подошел и я к нему, окруженному толпой. Внутренне я весь дрожал. Мое желание наконец осуществилось, я был вблизи властителя моих

дум... Сейчас я буду благодарить его за все, что он для меня сделал.

Я приблизился к нему вплотную. От волнения я забыл все так тщательно приготовленные фразы моей благодарности и начал что-то мямлить... Он рассеянно меня слушал, одобряюще кивая головой. И тут я вытащил из кармана уже довольно потрепанную и грязную книжку, написанную им, этим великим человеком, и сказал, что буду безмерно рад, если он ее мне надпишет. С этими словами я протянул ему томик. Он взглянул на книжку, и на лице его отразилась брезгливость... Такой измызганной и грязной книги, сказал он, он не надпишет никогда! Неужели я не мог достать более приличного экземпляра, спросил он меня... Круто отвернувшись ,он стал отвечать кому-то на заданный ему вопрос. Не веря своим ушам, я окаменел, ничего не понимая и не соображая... Я чувствовал себя оплеванным. Бросив книгу на пол, я выбежал на улицу.

Вот, капитан, мой рассказ о самом тяжелом переживании во всей моей жизни... Вы сами понимаете, почему я не захотел рассказать его в кают-компании. Мои друзья не поняли бы моего несчастья. Но вас, русского, я посвятил в то, что произошло со мной, и я уверен, что вы поняли мои переживания...

— Да, — сказал я, — мне все понятно, у меня у самого был в жизни почти такой же случай... Я не буду о нем говорить. Но, скажите мне, вы бросили читать труды когда-то героя ваших дум?

Мой собеседник молчал, раскуривая свою трубку. Затем он медленно ответил:

— Нет, я все же продолжаю покупать и читать его книги.

— Это ж почему? — удивленно спосил я.

— Как капитан и навигатор вы поймете причину моей верности его трудам, конечно, не ему самому. Вообразите, что вы идете кораблем куда-то далеко, впервые. Туда, где раньше не бывали никогда. Вы попали в шторм, у вас авария, вам нужно стать на якорь в укромной бухте, за маяком, исправить повреждения. А маяка все нет! И вдруг он открывается во всей своей

красе, он светит вам приветливым огнем... К нему вы устремились, у вас надежда появилась, и вы идете курсом верным и прямым... К маяку! Вы подошли к нему почти вплотную и... увидели буруны на рифах. Камни, покрытые громадными, надменными и беспощадными волнами. Вехи, указывающие мореходу путь, все уже были сорваны жестокой непогодой. Войти туда — ведь это явная погибель для корабля и для экипажа... Вам это ясно, и вы меняете ваш курс. Уйти подальше от беды, найти другую гавань, спокойную и безопасную, где вы сможете найти пристанище...

Но, уходя опять в штормовое море, вы все же смотрите на оставленный вами маяк. Теперь он уже не светит вам приветливым огнем надежды. Его лучи холодны и жестоки. Но он стоит на точно определенном месте, и это дает вам возможность проверить новый курс и быть уверенным, что вы не сделаете гибельной ошибки. Вы идете прочь от маяка, от обманувшей вас надежды к другим огням, к далеким горизонтам, в надежде отыскать другой маяк... Но вы помните грусть утраченной надежды и разочарования от встречи с первым маяком...

— Спокойной ночи, капитан! — неожиданно закончил он и направился к себе в каюту.

От недалекой Кубы шел мягкий ночной бриз. А там вдали, позади за кормой, еще бросал свои лучи маяк, окруженный страшными для корабля течениями у cabo San Antonio, на юго-западном кубинском берегу.

Пробило 8 склянок. Полночь. Я спустился к себе в каюту. Спать! До самой Венецуэлы больше маяка не будет.

СЕДЬМОЙ ПРЕЛЮД ШОПЕНА

Случилось это много лет тому назад, когда я плавал третьим помощником на американских судах, а жил в очаровательном Сан-Франциско.

Времена были трудные, как в смысле приискания работы, так и в смысле ее сохранения. Малейшее упущение по службе, оплошность на работе, недочет в поведении, и на берегу и на корабле, грозили увольнением.

Союзы моряков существовали, но большой роли не играли. Охрана прав и условий труда была еще в зачаточном состоянии.

Поэтому когда я, натурализованный американец, нашел место третьего офицера на товарном корабле Tramp'e (пароход не имеющий определенных рейсов), то был безмерно счастлив.

Этот корабль был тем, что на языке моряков называется happy ship — (счастливый корабль), — так как и командир и экипаж « Lucky Star » (название корабля) жили дисциплинированной, но очень дружной семьей. Команда была довольно разношерстной: в ней можно было найти и разорившегося банкира и дезертира английского военного флота, — но это обстоятельство не мешало быть искренне спаянными всем членам семьи « Lucky Star ».

Рейсы же были разнообразными: Вальпарайзо, Бомбей, туманный Лондон, льды Архангельска, откуда с грузом леса шли в пылающее Рио-де Жанейро или в Японию, а не то в Сидней, в Австралии. Расстояние, порты назначения никакой роли не играли.

Плавать приходилось в самых различных услови-

ях, что содействовало приобретению солидного морского опыта. Плавание на такого рода кораблях резко отличается от плавания на пассажирских пароходах, всегда почти прикрепленных к одному и тому же маршруту.

Моряки, плавающие на грузовых судах — « бродягах », добродушно-снисходительно относятся к морякам — « туристам », работающим на громадных плавучих отелях, и плавающим всегда по одной и той же линии; их главной задачей является ублажать всякого рода, зачастую оголтелых, пассажиров. Не то происходит и происходило на грузовом корабле. Там — всегда работы было достаточно. Ее хватало на шесть дней в неделю с избытком. О сорокачасовой неделе тогда еще не помышляли даже. О развлечениях в море в те времена и не думали. Радиоприемники с трудом получали свои « гражданские права », стоили дорого, капризничали, и команда развлекалась либо пением, либо игрой на незамысловатых музыкальных инструментах: мандолинах, гитарах, итальянских гармошках. На нашем корабле « музыкальная часть » находилась в руках боцмана, родом финна. Богатырь, руки которого напоминали свиной окорок средней величины, добродушный, как ребенок, он и купил себе игрушку: 3 ½ — октавную фисгармонию. Водрузил ее у себя в каюте и извлекал с помощью своих огромных пальцев и обширных ступней такие рулады, что, заслышав их, наш корабельный пес Слим стремительно убегал в машинное отделение. Музыкальным слухом наш боцман похвастаться никак не мог... Мы же безропотно слушали « игру » боцмана в море. Нас, оторванных от земли, даже его музыка как то развлекала.

Однажды в Сан-Франциско явился на борт новый матрос, на освободившуюся должность. Своим слегка необычным видом он не был похож на настоящего моряка и на завсегдатая унылых помещений маклеров, дающих работу морякам на судах разных наций.

Он был высокого роста темный шатен, с породистым лицом, с серыми глазами, смотревшими задумчиво и внимательно.

В нем было что-то от настоящей северной мужской красоты.

Он был почти элегантно одет, производил впечатление человека, случайно попавшего в морскую рабочую братию. И даже заметно огрубевшие от работы руки обличали в нем человека высшей породы. Я записал его в судовую роль (список экипажа) и послал к боцману дать ему место в каюте, поставить на работу, зачислить его в какую нужно вахту.

Новый член нашей команды говорил безупречно по-английски с едва уловимым неопределенным акцентом. Фамилия его звучала странно. Ее приводить не хочу; ограничусь его именем. Звали его Вальтером.

В море Вальтер попал в мою вахту. В те времена на маленьких торговых судах вахту правили не три, а два человека.

Каждый из вахтенных стоял на руле два часа. Другие два часа он проводил на баке « вперед смотрящим » (« Look out »).

Если погода свежела и грозила перейти в шторм, то « вперед смотрящий » переводился на мостик. « Смотрел вперед », находясь на противоположном от вахтенного офицера крыле.

Иной раз, смотря по силе ветра, и офицер и матрос находились на одной стороне штормового мостика.

Вальтер сразу произвел хорошее впечатление на весь экипаж и быстро сошелся со своими новыми соплавателями.

Груз был взят, и мы пошли на Гавайские острова.

На второй день плаванья я лежал у себя в каюте, читал какую то книжонку. И вдруг до моих ушей донеслась ну прямо-таки мастерская игра на фисгармонии; так играть наш гигант-боцман, конечно, не мог.

Подбор вещей и техника исполнения не давали места сомнениям. Заинтересованный, я вышел в коридор и увидал двери других кают приоткрытыми и в них — удивленные лица других офицеров: откуда, мол, такая музыка? Кто играет?

Я спустился вниз (на американских кораблях офицеры живут палубой выше, а команда внизу, по два — три человека в каюте, но каждая матросская каюта по-

прежнему носит название кубрика), подошел к каюте боцмана и увидал Вальтера, игравшего на фисгармонии.

Вокруг него стояла свободная от работы и вахт команда.

При моем появлении Вальтер прекратил игру. Сделав ему знак продолжать, я поднялся на офицерскую палубу и сказал, кто играет.

Все, включая и капитана, были приятно поражены.

Спустя полчаса музыка прекратилась.

В силу дисциплинарных отношений тех времен особой близости между офицерами и матросами не было. Все разговоры носили почти всегда служебный характер; поэтому я не имел возможности спросить Вальтера об его музыкальном образовании. В течение нескольких месяцев я только наслаждался его музыкой, следил за ним, и этим все ограничивалось.

Но как-то, в одну штормовую ночь, я приказал Вальтеру перейти с бака корабля ко мне на мостик; нос судна временами покрывался довольно значительной волной.

Я воспользовался случаем, чтобы получить ответ на занимавшие меня вопросы: кем Вальтер был раньше? Почему он, хороший музыкант, плавает матросом?

Ведь он прямо концерты дает у нас на корабле. Капитан к нему благоволит, и он — любимец команды!

На берег он всегда сходил один, в одиночку и возвращался на корабль. Никто и никогда не видел его пьяным, что было удивительно для всей команды « Lucky Star », где никто не отличался примерной трезвостью.

Но что меня особенно интересовало, так это то, что он каждый раз неизменно начинал и кончал свою игру коротенькой, волнующей, когда-то мне знакомой мелодией.

Я попросил его принести мне чашку кофе и деланно-равнодушным тоном задал ему вопрос:

— Где вы учились музыке?

— Дома, — последовал лаконический ответ.

— Дома — это где? — настаивал я.

— В Петербурге.

— Так вы, стало быть, русский? — спросил я тогда по-русски.

— Если хотите. Родился я в Прибалтийском крае, но рос и учился в Петербурге.

— У вас странная, не русская и никак не немецкая фамилия, — не унимался я.

— Мне пришлось ее изменить, — отозвался он добродушно. — Если вы прочтете ее справа налево, то, возможно, она вам что-нибудь и скажет.

Мысленно изменив порядок букв, я, простой русский человек из бедной семьи, сразу определил, что передо мною, в качестве моего вахтенного матроса, стоит один из представителей старинной русско-балтийской аристократии, да еще с титулом светлейшего...

Как раз в это мгновение я услышал кашель поднимавшегося на мостик капитана и отошел от Вальтера. Любопытство мое было возбуждено донельзя.

Ровная штормовая погода не менялась.

Когда на вторую ночь Вальтер снова был со мною на штормовом мостике в часы вахты, я не преминул его спросить:

— Как называется та вещь, которой вы начинаете вашу игру каждый день и которой ее заканчиваете? Почему такой ритуал? Мелодия эта мне знакома, но название ее я забыл.

— Это седьмой прелюд Шопена, — пояснил он. — А играю я его в силу разных, связанных с ним воспоминаний. Он вам нравится?

— Да, он мне всегда нравился, а в вашем исполнении я полюбил эту вещь еще больше. Спасибо, что напомнили забытое название.

На этом я оборвал мой разговор с Вальтером.

Мы пришли на Гавайские острова, взяли груз для Антофагаста, в Чили. Прелестный этот городок, Антофагаста! По узкому входу пароходы проникают в небольшую бухту, опоясанную бело-зеленым амфитеатром домиков, находящихся на отрогах гор, сбегающих к океану.

На одной из скал красуется большая надпись, гласящая:

« Помните об О'Хиггинсе! »

Почему в Чили, населенном испанцами, индейцами и немцами, нужно помнить о каком-то ирландце?

Любой абориген с охотой пояснит, что О'Хиггинс был одним из сподвижников Симона Боливара, освободившего почти всю Южную Америку от испанского владычества.

Естественно, стало быть, напоминание о представителе свободолюбивой маленькой Ирландии, вставшем на защиту не менее свободолюбивого и волевого народа, населяющего страну древних Инков.

Сам город веселый, чистенький. Много небольших гостиниц, уютных ресторанов; девушки и женщины, в жилах которых течет смешанная кровь трех народов и двух рас, приветливы и ласковы.

Неожиданные скрещения пошли на пользу красоте: редко где можно встретить столько грации, столько смеющихся пламенных глаз, столько зачаровывающих улыбок. Национальный танец — фанданго — отражает особенный темперамент чилийцев. По непонятным мне причинам в стране много сербов.

Для нас, моряков, Чили всегда было желанно. Все хорошо, все красиво, все дешево, радушная встреча всем иностранным морякам.

Не страна, а рай земной...

На этот раз стоянка была долгой, и, само собой разумеется, мы на берег сходили ежедневно, ухаживали, выпивали, веселились безудержно, точно радуясь тому, что мы находились вне « сухого закона » Америки.

Как-то раз в одно из воскресений, прогуливаясь по широкой, тянувшейся вдоль океана улице и прислушиваясь к ленивому рокоту волны, я набрел на прелестный ресторанчик, спрятанный в глубине небольшого сада. Когда я вошел туда, навстречу мне поднялся одиноко там сидевший Вальтер. Обратившись ко мне по-русски, он предложил совместно выпить бутылку вина. Я охотно принял его приглашение.

Пьют в Чили по-нашему, по-русски, т. е. с закуской. К каждой рюмке любого напитка вам обязательно подадут несколько кружков колбасы, сыра, масла, оливок или соленую и копченую рыбку. Можно сидеть, ку-

рить, разговаривать, пить и очень медленно пьянеть.

Так вышло и теперь.

Для начала мы обменялись несколькими несущественными вопросами. Вальтер спросил, куда мы идем после Антофагаста?

— Сдадим груз здесь, порожняком пойдем в Такомилу за нитратом, а оттуда в Сан-Франциско, — пояснил я и прибавил, что рад, так как вот уже четыре месяца болтаемся по разным экзотическим морям.

На Вальтера упоминание о Сан-Франциско произвело, как мне показалось, неприятное впечатление. Он точно бы омрачился.

Помолчав, он заказал вторую бутылку вина и, спокойно глядя мне в глаза, произнес:

— А нельзя ли мне остаться здесь, в Чили? Сбежать с парохода перед отплытием в последний день? Спрашиваю вас не как начальника, а как земляка.

—Что так? Влюбились в чилийку? В самое Чили влюбились? Или опасаетесь неприятностей в Сан-Франциско? Моими вопросами не руководит простое любопытство, а чтобы вам ответить по существу, мне надо знать вескость ваших причин. Вы что, набедокурили в Америке и опасаетесь туда вернуться, или еще что? В чем дело?

Крепко стиснув пальцами стакан, Вальтер видимо что-то обдумывал. Потом, усмехнувшись, проговорил:

— Нет! Я не преступник. Дело куда хуже: любовь! Моя к женщине, и женщины ко мне. Именно из-за этого я и не хочу оказаться в Сан-Франциско.

— Вы женаты?

— Нет.

— Так чего же вам бояться? Конечно, остаться в Чили, стране почти волшебной, соблазнительно. Будете здесь жить, как в раю, до последнего длинного американского доллара. А когда его разменяете и истратите, то станет совсем плохо. Найти работу даже для того, чтобы как-нибудь просуществовать, совсем по-бедному, невозможно. Коротки чилийские пезо, а раздобыть их трудно. Работы мало, рабочих и безработных — много. Состязаться с индейцами в черном труде — немыслимо. Индейцы, метисы довольствуются чуть ли

не крохами. Нет, батенька! Советую, как отец родной: возвращайтесь в Америку.

— Вам легко сказать: возвращайтесь. Для вас ведь это только слово. А для меня это слово имеет такое значение, что хоть думай не думай, а к никакому решению не прийти.

Он налил себе вина и выпил бокал большими глотками.

— Я поступил на ваш корабль, — продолжал он, — в надежде, что мы попадем в Европу. Там я сбежал бы. Вы, видимо, человек бывалый. Я вам расскажу свою историю. У меня есть к вам доверие. Я чувствую, что вы ее не разболтаете. И что совет хороший дадите, тоже чувствую. Дайте слово, что все останется между нами!

— Даю.

— У вас, мэйт 1), уже, наверно, составилось некоторое общее представление о моем происхождении, о моей семье, о моей жизни в России. Если оно смутно, то я поясню. Мы потомки ливонских рыцарей; один из моих предков погиб в Ледовом Побоище. Но на протяжении многих веков верой и правдой мы служили русской короне и русскому народу. Главным образом — в гвардейской кавалерии. Почти с пеленок я был предназначен в один из таких полков, где служили и отличались мои предки.

Мой отец был суровым, педантичным генералом Свиты Его Величества.

Мать, тоже по-патрициански надменная, гордившаяся своим титулом, была мягче. Она в молодости своей училась музыке где-то в Германии или в Австрии и была прекрасной пианисткой. Старший брат был в Пажеском корпусе, его карьера, как и моя, были уже предрешены. Но меня, — как это ни странно, — с детства тянуло к машинам. Я мечтал быть инженером. В то же время, под влиянием артистической натуры ма-

---

1) Мэйт — помощник капитана на американском корабле. Мэйтом называют первого помощника; 2-го и 3-го «второй и третий». Когда первого помощника поблизости нет — то мэйтом величают и второго и третьего помощника тоже. Из уважения...

тери, я стал учиться музыке, к которой также пристрастился. Все это расходилось с заветами моей семьи!

И брату и мне надо было готовиться стать гвардейскими офицерами. Ни интерес к механике, ни музыка не имели права голоса.

Это не было для людей нашего служилого сословия.

Воспитание было спартански строгое. И метод этот оставался тем же, даже когда менялись гувернеры, в зависимости от языка, который мы в тот или иной период изучали. Что до военного строя и анатомии лошади, то все это я познал с самого нежного возраста.

Но передалась мне и артистическая натура матери: меня привлекала и музыка! Отец пошел на уступку: мне было разрешено учиться играть на рояле. Лето мы проводили в Эстонии, где у матери было много родных. Ее отец, — тоже генерал, кавалерист в отставке, учил нас верховой езде. При этом он был прекрасным органистом. Узнав, что я, двенадцатилетний мальчик, не слишком плохо играю на рояле и люблю Шопена, он не замедлил объявить, что эта музыка будущему коннику не подходит, так как слишком она изнежена, почти развратна. Для солдата существует только одна музыка, полагал он: это музыка Иогана Себастьяна Баха, — ей он меня и обучил. И, кажется мне, именно в этом причина того, что я не докучаю теперь экипажу « Lucky Star »' а своей игрой на боцманской фисгармонии. Дело знакомое. Хотя и были мы богаты, но жили скромно, даже замкнуто. В 1910 году я был принят в Пажеский корпус. В 1914 году мой брат кончил этот корпус и был произведен в офицеры. Он был тотчас отправлен на фронт. Отец в это время уже был в боях, и оба они пали на поле брани.

В начале революции я был юнкером славной « Северной Школы ».

Потом все пошло по правилам, установленным для аристократов, попавшихся в руки всякого рода революционеров.

Скажу кратко: имущество было утеряно, мы с матерью оказались на Гороховой, где и оставались до тех пор, пока Эстония не была объявлена самостоятельной

республикой. Так как Эстония была нашей родиной, нас выпустили и отправили в Ревель, неподалеку от которого сохранилось небольшое поместье матери.

Там мы передохнули.

Мать возобновила свои старые связи и — любви все возрасты покорны! — у нее возник роман с одним ее давним знакомым, которого она знала еще барышней. Состоялась свадьба. Своего отчима я не взлюбил тотчас же, и он платил мне тем же. Пришлось уйти из дома.

Научившись к этому времени болтать по-эстонски и по-фински, я сошелся с группой предприимчивых контрабандистов. Мы занялись секретным ввозом спирта в « сухую » Финляндию, что было очень выгодно. Только продолжалось это недолго. Нас однажды накрыли и вернули в Ревель. Получился крайне неприятный скандал, и я решил покинуть Эстонию. Я стал матросом, начал плавать.

Я дезертировал в Нью-Йорке, а оттуда, взвесив и обдумав все, я проехал в Сан-Франциско.

Положительными данными были: молодость, отличное здоровье, знание шести языков (не считая уменья хорошо болтать по-эстонски и по-фински), твердое желание пробить себе дорогу, в конце которой приветливо маячил диплом инженера — автомобилиста.

Этому решению помогло и то, что править машиной я научился еще в России. У нас было торпедо Русско-Балтийского завода. Помните?

Я утвердительно мотнул головой.

— Но, кроме положительных данных, были и отрицательные: отсутствие друзей, даже знакомых, жалкие денежные сбережения... Но стоило ли на это обращать внимание?

К этому времени мать моя развелась со своим вторым мужем, который промотал ее маленькое имение, переехала к дальним родственникам в Германию, где и пробавлялась уроками музыки и языков.

Ко мне она за помощью не обращалась, но о ней я все же думал. Хотелось как-то скрасить ее существование; это было только лишь желанием в те времена.

В общем, при подсчете моего инвентаря выясни-

лось, что у меня плюсов было больше, чем минусов, что можно, стало быть, попытать счастья, постараться выйти в люди в Америке, которую я сразу полюбил.

Снял я комнату с отдельным ходом в доме старого холостяка-полковника. Он разрешил мне играть на его большом концертном рояле.

Работу нашел без труда, ночную, в гараже, которая была совместима с подготовкой ко вступительному экзамену в технологический институт.

Начинал работу в 10 часов вечера. Кончал ее в 11 ч. утра, после чего сразу шел на курсы.

Я принимал машины, ставил их на место, выводил их из гаража по требованию клиентов, продавал бензин, делал мелкие починки.

Мойкой машин занимались два негра: это обстоятельство давало мне возможность поспать два — три часа каждую ночь.

Заработок был хороший, и отношения со сослуживцами установились прекрасные.

Калифорнийцы — хороший, отзывчивый народ. Они оценили и мои усилия и мою настойчивость. Все это позволило мне уйти с головой в науку. Ни о чем другом, кроме будущего университета, я не думал. Это было тем более просто, что женщины до той поры в жизни моей особенной роли не играли.

Было у меня, разумеется, несколько юношеских увлечений, и дома и в изгнании, и было несколько стремительных, пылких « морских романов ». Но настоящего чувства я не знал. О нем я мог только догадываться по книгам, по кинематографу, по театру.

Мои мозолистые руки рабочего, мой скромный костюм, мои наполненные трудом дни, не давали мне возможности обращать внимание на женщин, ни думать о развлечениях.

Единственное, что мне напоминало о другой жизни, — была музыка, возможность время от времени играть на рояле.

Спокойно лившаяся до сих пор речь стала делаться прерывистой. Вальтер нервничал. Храня вежливое молчание, я подливал в стаканы пахучего чилийского

вина. Был слышен прибой недалекого океана. О чем-то шептались покачиваемые теплым ночным ветром пальмы.

Ярким голубым светом мерцали звезды далекаго Южного Креста.

Откуда-то доносились приглушенные мягкие и страстные звуки чилийского фанданго.

— И вот, как-то ночью, — продолжал Вальтер, сделав несколько крупных глотков, — въехала в гараж большая, дорогая машина. У руля сидел, как мне показалось, глубокий старик.

Рядом с ним сидела прелестная, по-американски красивая, молодая девушка.

« Отец и дочь, или даже дед и внучка », — подумал я. Они вышли из машины.

Старик сказал, что автомобиль он оставляет для смазки, мойки, что утром за ним зайдет шофер и дал свой адрес: Отель « Сан-Францис ». Затем он попросил провести его к телефону, — ему нужно было срочно соединиться с Лос-Анжелос.

Молодая девушка, сидевшая рядом со стариком, вышла тоже из машины, начала наблюдать за моей работой.

Ее красота, которую я заметил, когда она еще сидела в автомобиле, теперь совершенно поразила меня. Ее небольшую породистую головку окружал ореол темновато-золотистых волос. Нежными оттенками редкого изумруда светились и переливались ласковой игрой ее зеленые глаза. Слегка нервно вздрагивали ноздри ее капризно, по-детски чуть вздернутого носика. А за ее, как казалось, все понимающую ,добрую улыбку красивого, но волевого рта можно было отдать все.

Отлично сложенная, она была обладательницей таких, по красоте, ног, каких, кроме как у американок, да и то не всегда, найти, казалось, было нельзя.

Сознаюсь, что я был взволнован до последней степени.

О чем-то она меня спросила, я что-то ей ответил.

— Вы говорите свободно по-английски, — заметила она, — но у вас все же есть какой-то акцент. Вы — иностранец?

— Да. Русский.

— О! Давно в Америке? Вам нравится наша страна?

— Страна восхитительная и народ на редкость симпатичный! И свобода, какой во всем мире мало. Хорошее отношение к иностранцам. Приличная оплата труда. Никаких разрешений для работы; делай, что хочешь. Ни у кого ничего клянчить не нужно. И всякие возможности. Я вот по ночам работаю, а днем учусь...

— Учитесь? Где? Чему?

— Готовлюсь ко вступительному экзамену в инженерное отделение.

— О! Это очень хорошо, — сказала она.

Наступило молчание. Она рассматривала и меня и мою работу с каким-то детским любопытством. И хотя мы еще обменялись немногими короткими фразами, меня почему-то бросало и в жар и в холод, когда она смотрела на меня, и, казалось, хотела задать еще вопрос, — но в это время из конторы вышел ее отец; бросив мне краткое « до свидания », они ушли из гаража.

Я остался один.

Мою душу заливала неизвестная мне до сих пор радость. До самого утра я не понимал, в каком состоянии я находился в эту ночь. Мне всюду чудились зеленые глаза, мне слышались знакомые вопросы, и я, вообще, не понимал, что делал, о чем говорил с рабочими, клиентами... И только лишь к утру мне стало ясно и понятно, что я влюблен впервые, по-настоящему, в русалку с зелеными глазами, которая пришла ко мне в гараж в тумане ночи Сан-Франциско.

Несколько дней я ходил, как в каком-то мареве.

Но скоро рассудок взял свое.

Все твердо и холодно взвесив и рассудив, я пришел к выводу, что надеяться мне решительно не на что. Эмигрант, простой рабочий в гараже, лишь только с возможным, но еще пока далеким будущим где-то впереди, я не имел даже и права мечтать о том, чтобы у этой очаровательной и, видимо, утонченной дочери богатого человека мог пробудиться ко мне хоть бы какой-нибудь интерес. Утешением, — если это можно назвать утешением, — мне могло служить только соз-

нание того, что я полюбил. Понимаете? Полюбил, впервые в жизни полюбил.

Этому до той поры неведомому чувству я радовался, оно наполняло мою жизнь, придавало ей особый смысл.

Было, правда, слегка грустно, а может быть и обидно, что она никогда не узнает о моих переживаниях. С горечью этого сознания я как-то примирился. Ведь надо было работать, учиться, жить...

Прошла неделя; я пришел в себя, утвердившись в мысли, что бедным людям даже любовные мечты не приносят радостей.

Но вот на восьмой день, выйдя из школы, я увидал знакомую машину и тонкую, затянутую в перчатку руку, манившую меня.

У меня помутнело в глазах. Пересохло в горле.

Как автомат, я подошел к автомобилю и заглянул в самую глубину зеленых глаз. Язык мой присох к гортани. Я не мог выговорить ни одного слова.

На мгновение, весь во власти своего воспоминания, Вальтер замолк; потом налил стакан вина и залпом его осушил.

— Наверное, — продолжал он, — у меня был глупейший, даже идиотский вид! Я точно бы очнулся, когда услышал тихий и ласковый смех, и только тогда осознал, что в руке держу самую дорогую для меня руку в мире.

А потом музыкально прозвучавшие слова: « Хотите покататься со мной? Да влезайте же в машину! Боже! какой неуклюжий... По дороге я вам расскажу, почему мне нужно было вас повидать »...

И опять тихий, грудной смех.

Неловко, мешком, взобрался я на сиденье.

— Хотите поехать в Golden Gate Park ?

— Хоть на край света!, — насилу смог я пробормотать, точно бы все еще продолжая сомневаться в реальности происходившего.

Был ясный день начала октября, самой лучшей поры в Сан-Франциско; туманов, дождей в это время года мало, воздух прозрачен, и солнце не слишком жарко.

Повсюду сочная, свежая зелень, бодрящий ветерок с гор или с океана.

С подкупающей прямолинейностью американок, отличающей их от всех женщин мира, она меня спросила:

— Вы, по крайней мере, знаете, как меня зовут?

— Но откуда же мне это знать? — прошептал я.

— Мое имя Ирэн Ронмэй. А ваше?

Едва внятно я назвал себя.

Машина уверенно шла вперед.

— Я когда-то увлекалась историей России дореволюционного периода, — сказала Ирэн, — но ни одной путевой книжки о том, как и почему у вас произошла такая странная и жестокая драма, мне не попалось. В этом и объяснение нашей встречи сегодня; как видите, в ней ничего странного нет. Вы живой свидетель революции. И, может быть, поможете мне разобраться, расскажете, как все началось, как идет, чего можно ожидать, как результата вашей смуты. Не думайте, что мы, американцы, застыли в созерцании собственного благополучия; нас интересует множество других вещей тоже. И в Сан-Франциско русские дела занимают мысли очень многих. Ведь почти вся местность вокруг города когда-то принадлежала русским, как и Аляска. И даже на одном из Гавайских островов долго развевался русский флаг. Аляску вы продали нам. Ваши Калифорнийские владения, как и интерес на Гавайских островах, ваш Император Александр I-ый уступил нам безвозмездно. Знаете ли вы, что близ Сан-Франциско протекает река с русским названием, что до сих пор существует старый русский форт с кладбищем, где похоронены умершие чины его гарнизона?

Да и в самом городе есть гора, населенная какими-то русскими сектантами, до сих пор придерживающимися своих русских обычаев? Что иной раз они появляются на главной улице в своих национальных костюмах? 1)

---

1) 30-40 лет тому назад я видел это собственными глазами: идет, бывало, « Сам », — парень в фуражке с козырьком, в русской вышитой рубашке под пиджаком, в плисовых штанах, заправленных в сапоги бутылками. « Сама », очевидно-жена, пле-

У моего интереса ко всему русскому есть, так сказать, естественная подоплека. Узнав в гараже, что вы русский, я сразу подумала, что вы сможете дать мне много указаний насчет того, что и как произошло в России, нарисовать яркую картину всего происшедшего. Не зная ни вашего имени, ни адреса, я решила попытать счастья. После двух неудачных попыток, сегодня я вас наконец встретила.

— Вы уже были тут два раза? — простонал я.

— Да, но что ж в этом странного?

Зажегся красный сигнал и, остановив автомобиль, она посмотрела на меня и улыбнулась.

— Ваш отец знает, что вы хотели видеть меня? — прошептал я.

Почему я задал ей этот глупый вопрос, я до сих пор не понимаю. Она вдруг радостно повернулась ко мне.

— Отец? Да, нет, он не обращает внимания на мои поездки. Я ведь уже большая девочка и за себя постоять сумею. Да и выезжаю я только днем и не часто. Ну, я жду. Начинайте мне говорить о причинах русской революции.

Красный огонь сменил зеленый. Мы тронулись.

Я был совершенно растерян, злился на свою судьбу: вот ведь сижу рядом с самым дорогим для меня в мире существом, рядом с девушкой, которую люблю до самозабвения, хочу впитать в себя каждое ее слово, любоваться ею, сознавать, что она пришла ко мне сама, первая, что свершилось что-то, на что, в сущности, не было ни малейшей надежды, и пожалуйте: надо рассказывать сказку про красного бычка русской революции! Говорить о драме, которую я старался забыть раз и навсегда. Но делать было нечего и я героически приступил к повествованию.

О чем я тогда говорил, я теперь хорошенько припомнить не могу. Говорил о всем и не умолкая.

Мы долго крутили по Голден Гэйт Парку; я забыл,

тется сзади, в сарафане или в кофте с несколькими юбками (оборки каждой юбки были видны), с платком на голове. У «Самого» в руках почти всегда была кошёлка русского образца. Это были молокане, жители «Русской Горы».

что ничего еще не ел, что не спал, что скоро нужно будет идти на ночную работу. Я был в трансе, в мареве. Все вокруг меня точно плыло на каких-то облаках.

— Слушайте, Вальтер, — произнесла она, — я голодна. Да и вы, кажется мне, не прочь были бы закусить. Заедем в ресторан. А?

Я предложил скромный ресторанчик, где иногда бывал, но она, подумав, отклонила мое предложение.

— Нет, — сказала она, — поедем лучше в одно место, где я часто бываю с отцом.

Разумеется, я согласился. Но когда мы подъехали к самому фешенебельному ресторану пригорода Сан-Франциско, у меня похолодела спина. Я знал, что тут собиралась самая высшая аристократия Сан-Франциско и что для этого учреждения, где доллары не считались, никакого закона о запрете продажи спиртных напитков не существовало: тут пили как и что хотели.

Сам я, разумеется, там никогда не бывал. Теперь, одетый в скромный и потрепанный костюм рабочего из гаража, с тремя долларами в кармане, я не знал, что делать. Если, в смысле денег, я мог все же рассчитывать на двести долларов сбережений, находившихся в банке, что в теории позволяло попросить кредита, чтобы рассчитаться на другой день, то вопрос костюма был неразрешим. И я решился сказать об этом Ирэн.

— Пустяки, — отозвалась она, — вы вполне прилично одеты. И потом вы со мною, так что можете не обращать внимания.

Она сдала машину швейцару, и мы вошли ну, просто в какой то дворец!

Народу было мало; мы сели в укромном уголке; я взглянул на свои руки! Я старался их прятать, но они с головой выдавали скромного труженика, попавшего в неподобающую его рангу роскошную обстановку.

Да что про это вспоминать? В голове вертелась мысль: « Как же я буду расплачиваться даже при наличии двухсот долларов в банке? К какой прибегну хитрости? » Подошли принимать заказ: сразу три человека. Дали колоссальное, по разнообразию, меню, в котором я разобраться не мог, вследствие чего решил заказать то же, что закажет Ирэн.

Что нам принесли и что я ел, не помню. В памяти осталась только бутылка красного вина, рубиновый отлив которой, так гармонировал с зелеными глазами моей колдуньи всякий раз, как она подымала стакан к розовым губам.

Когда мы кончили, я, жестом гладиатора, идущего на смертный бой, потребовал счет.

Ирэн мягко улыбнулась и пояснила, что это не ресторан, а клуб, что она и отец состоят тут членами, что платить по счету и давать на чай не полагается. Рассчет прозводится ежемесячно, а сегодня я у нее в гостях, — вот и все! В следующий раз она будет моей гостьей.

Я отметил, что в сердце моем произошло какое-то движение, точно определить которое я не берусь. Не то недоумение, не то грустное облегчение. Не знаю. До сих пор не знаю!

Когда мы вышли, уже начинало темнеть. Было прохладно, и это только усиливало ток неимоверного внутреннего блаженства, пронзавшего все мое существо каждый раз, когда на поворотах мы соприкасались.

В душе моей все пело! А говорить приходилось о несправедливостях и мрачных ужасах нашей революции... И еще немного тревожил вопрос о следующей встрече. Состоится она или нет?

Ирэн осведомилась о моем адресе и предложила отвезти меня до дому.

— А потом вы поедете одна? — спросил я с неподдельным беспокойством.

— Я уже вам раз сказала, что я большая девочка, — откликнулась она, — а теперь прибавлю, что я — спортсмэнка и хорошо знаю джиу-джитси. В сумке — заряженный револьвер. К тому же Сан-Франциско город сравнительно тихий, и мне ни разу не пришлось прибегать ни к одному из этих средств обороны. Уверена, что не придется и сегодня.

Она помолчала. « Увижу ли я ее опять? » спрашивал я себя.

— Ваши рассказы о русской революции были очень интересны и поучительны, — проговорила она. —

Можно ли нам будет снова встретиться в следующий понедельник, в тот же час?

Машина остановилась. При мягком свете уличного фонаря Ирэн казалась мне каким-то грезовым видением.

— Конечно можно, — пролепетал я.

Мы пожали друг другу руки. Машина тронулась. Предстоящая разлука мне показалась вечностью. Зато, в тот момент был я, думается, единственным русским эмигрантом, искренне благодарным революции. Она дала возможность увидать мою любовь, Ирэн...

Три дня я прожил, как автомат. Я продолжал, конечно,и учиться, и работать, но все это было машинально.

Внутри жило ожидание, которому все подчинялось. И только одна мысль: о встрече.

Но вот наступил понедельник. Медленней, чем когда бы то ни было, ползло время, стрелки часов казались злонамеренно ленивыми. Я начинал сомневаться, — а вдруг не придет? А вдруг все было для нее только забавой? Но нет; вот два часа; конец класса, звонок. Я так и вылетел на улицу! Да! Та же машина, тот же ласковый, приглашающий жест руки в перчатке, та же улыбка, тот же изумрудный свет тех же глаз...

И такое же непринужденное, такое простое приветствие:

« Hello! How are you? I was missing you! »

Она соскучилась по мне! О боги! Не было ли от чего сойти с ума?

Я занял место в машине. Обязательная тема разговора — русская революция — начала мне казаться крайне скучной и унылой. Все же опасаясь, что конец моего рассказа сможет послужить концом встреч, я старался растянуть его на как можно большее количество часов. Мы снова поехали в ресторан, но на этот раз она была моей гостьей, и мы ограничились скромным обедом в студенческой столовке.

На этот раз она сама стала задавать вопросы, иной раз тактично и осторожно стараясь навести меня на мое прошлое.

Я отвечал общими местами. Она довезла меня, как

и в первый раз, до самого дома и сказала, что хотела бы встречаться дважды в неделю. Я не верил своему счастью...

И время слилось для меня в ряд ярких, сверкающих переживаний, — прелесть которых мне трудно вам передать.

Потом, застенчиво и скромно, она выразила желание посмотреть, как я живу. Счастливо-смущенный, я пригласил ее в свою комнату, познакомил с хозяином, отставным полковником. Мы перешли в гостиную. Я вышел на кухню, чтобы приготовить чай, рассеянно предложив ей, пока что посмотреть семейный альбом, вывезенный мною из Эстонии и который я бережно хранил. Когда я вернулся с подносом, то заметил, что Ирэн смотрит на меня с необычной пристальностью. Я догадался, но было поздно.

Она уже рассмотрела снимки, видела моего отца в форме свитского генерала, царскую охоту в Беловежской пуще, в которой отец принимал участие, и где был Государь и Император Вильгельм Второй. Видела фотографию матери — фрейлины Ее Величества, группы военных и придворных, со сделанными под ними надписями по-русски, французски, немецки и английски, с перечислением всех участников. И моя карточка в форме кадета Пажеского корпуса, с отцом ,с товарищами... Отпираться, прятаться было не к чему.

Пришлось все рассказать, поведать всю правду о том « кем я был, кем я стал и что есть у меня ».

« I admire your fortitude, Walter », 1) тихо проговорила Ирэн.

И, показалось мне, зеленые глаза стали влажными.

С тех пор она стала бывать у меня запросто, и вы с трудом поверите, что между нами ничего не было.

Но это правда: красавица, которую я любил, и, конечно, желал, была еще и просто другом. Качеством этим — уменьем быть хорошим другом — американки обладают в высшей степени. Возможно, что они одни такие во всем свете. Во всяком случае эта дружба что-

---

1) В этом случае: « Я поражена стойкостью, силой вашего духа, Вальтер! »

то уравновешивала, и пылкого романа, в обычном смысле, между нами тогда не возникло.

Из-за страха потерять возможность встречаться с нею, я ничего о своей любви к ней не говорил. А вдруг она неуместна? Вдруг в сердце Ирэн ничего, кроме дружественной привязанности, нет?

О себе она мало что рассказывала. Была замужем, неудачно; все кончилось разводом после года совместной жизни. Теперь она живет с отцом. Все всегда говорилось кратко, почти отрывисто.

А я переносил пытки первой любви, в которой боялся признаться.

« В конце концов », говорил я себе, « надо быть сдержанным, и в этом моя северная натура мне поможет. Не бывает ли она у меня? Не вижу ли я ее теперь очень часто? Этого, пока, должно быть достаточно! »

Как то, воспользовавшись тем, что я был свободен, она предложила прокатиться к знаменитому Cypress Tree Point (мыс кипарисового дерева) — одному из красивейших мест побережья Тихого океана, расположенному неподалеку от Кармаля, городка уютного и очаровательного.

Промолчав несколько минут, Вальтер проговорил:

— Изумительной красоты это место, Cypress Tree Point. Вы там бывали, мэйт?

— Да, — протянул я.

— Помните большой кипарис у самого обрыва, как раз над волнами? Величественный открывается оттуда вид. Кругом все дико. А там, за океаном, словно мерещится Россия. Ну, так вот; оставив на горе машину, мы спустились вниз, на пологий океанский берег.

Я нес корзину с едой. Разостлали скатерть, расположились, закусили, выпили... Конечно, вся обстановка: величие океанского простора, почти первобытные скалы, шум набегавшей волны, не могли не действовать на меня.

Забыл уж я, как это случилось, но я взял ее голову обеими руками и сказал: « I love you, Irene » 1). Тихо высвободившись, она обняла меня в свою очередь...

---

1) Я вас люблю, Ирэн.

Как забыть хоть на секунду все то, что мы оба вложили в наш первый поцелуй? Ее слова: « I love you, Walter, too », по сей день звенят в моих ушах. В тот день в морской пещере, пропитанной запахами океана, на ложе из сухих водорослей моря, под музыку прилива, я узнал, что такое настоящая любовь, мэйт.

К вечеру, в какой то дреме неизъяснимого блаженства, мы вернулись в Сан-Франциско. Потекли дни, недели, и все собой заслоняла любовь... Все было оттеснено на второй план.

А все таки...

Вальтер почему то умолк.

— Недаром иностранцы в шутку говорят про русских, что они не могут быть вполне счастливыми, пока не почувствуют себя несчастными. Так что моя необъяснимая почему-то грусть казалась мне вполне уместной, объяснимой... Судите сами, мэйт. Вы бывали в Индии?

— Да. Почему вы про это спрашиваете?

— Вот почему: вы, наверно, видели в Мадрасе и Калькутте один разряд нищих из касты париев, которым разрешено жить только подаяниями других. Ничего другого они делать не должны. При этом они не калеки, не уроды. Среди них можно найти благообразных, даже мужественно — красивых людей. Они стоят, протянув руку, с молчаливо — гордым видом. Они никогда не просят. И даже редко произносят слова благодарности за подаяние. Таковы обычаи их касты. Прибавлю, — их взор всегда устремлен куда-то вдаль.

— Я видел этих нищих; но причем они в вашем случае?

— Погодите, погодите... Меня, эмигранта, бедного рабочего, с довольно пока еще неопределенным будущим, полюбила красавица, умница, дочь богатого человека. Это было так же неожиданно, необычайно, как если бы вот такому гордому индусу — нищему, изнывающему от жажды, кто нибудь дал драгоценный сосуд работы чуть ли не самого Бенвенуто Челини, к тому же до краев наполненный великолепным ароматным вином. И нищий не знает, подарили ли ему сосу́д или только дали, чтобы утолить из него жажду? Он

поражен и красотой сосуда и вкусом влаги. Он медленно пьет, он не знает, подарен ли ему, нищему, — такой сосуд или, из милости, ему дают возможность только утолить его жажду?

И снова и снова он пьет как можно медленней, чтобы хоть по крайней мере отсрочить момент, когда у него отберут этот дивный бокал. Я был совершенно счастлив с Ирэн. Но я не мог пойти к ее отцу, просить ее руки. Что я мог принести с собой? обещание какой жизни? Я опасался, что ее отец будет даже оскорблен моим предложением, сочтет меня за наглеца, запретит видеться с его дочерью, прикажет ей порвать все отношения... В этом вопросе и было необходимое для русских, по мнению иностранцев, дополняющее счастье несчастье. Я просто был безмерно и печально счастлив. Как-то в воскресенье, когда она за мной заехала, я играл на рояле полковника. Она казалась озабоченной, слегка нервничала, — это отразилось на ее манере править. И потом вдруг, точно решившись, сказала:

— Я забыла с собой сумочку и мне надо позвонить по телефону тоже. Ты ничего не имеешь против того, чтобы я вернулась в отель с тобою? Кстати, посмотришь, как мы живем.

Я, конечно, согласился. И мы подъехали к на весь мир известному своей роскошью отелю. Нервность Ирэн все возрастала. Она насилу вставила ключ в замок, открыла дверь, вбежала в переднюю и сказала:

— Пройди сюда, я сейчас вернусь.

Передо мною была анфилада роскошно обставленных комнат. Редкая мебель, картины, гобелены, статуи, вазы... Даже мне, профану, было очевидно, что все это принадлежало не отелю, а отцу Ирэн. Я шел медленно, останавливаясь, рассматривая различные вещи. Когда я вошел в четвертую комнату, из-за письменного стола мне навстречу поднялся знакомый, ласково улыбавшийся старик — отец Ирэн.

— А! Очень приятно. Вы ведь Вальтер? — сказал он.

— Да, — промолвил я, смущенно пожимая протянутую руку. И меня тронула светившаяся в его глазах доброта.

— Садитесь, прошу вас, — продолжал он и нажал кнопку. В комнату бесшумно вошел лакей с подносом, уставленным всевозможными бутылками. Старик, узнав, какое виски я предпочитаю, налил и мне и себе. Продолжая меня добродушно и благожелательно рассматривать, он произнес, по-американски, коротенький тост. После первых нескольких глотков мне стало легче. Было слышно, как в соседней комнате Ирэн разговаривала с кем-то по телефону.

— Я вас слегка помню по первой нашей встрече, — продолжал старик, — уже тогда у меня создалось, пусть мимолетное, но все таки хорошее впечатление. Рад тому, что я не ошибся.

Я что то смущенно пробормотал и отпил еще виски.

— Ирэн много мне рассказывала о вас, — проговорил Ронмэй.

— Ваша дочь слишком любезна. Я этого не заслужил, — сказал я.

— Ирэн — моя жена, а не дочь, — последовал ответ.

— Простите, я кажется ослышался, — услыхал я свой голос. — Мне показалось, что вы сказали, что Ирэн ваша жена?

— Да, — ласково произнес Ронмэй. — Жена.

Точно какие-то круги пошли у меня в глазах. Я тяжело дышал. Стакан с виски выскользнул из моих рук и упал на ковер. Я ничего не соображал и только мысленно повторял: « Ирэн его жена, его жена, его жена... » Старик подошел ко мне, налил виски с водой в другой стакан и ласково, почти участливо, произнес:

— Да, Вальтер, Ирэн — моя жена. Но это не должно вас смущать. Вы все поймете, и у вас не будет никаких сомнений, когда я вам расскажу нашу историю. Заранее вас успокаиваю: Ирэн — моя жена только формально, по бумагам. Так было надо.

И еще должен прибавить: извините мне это неожиданное наше свидание; признаюсь, что оно было подготовлено заранее. Я знаю, что Ирэн волнуется. Давайте отправим ее на час-другой, пусть проедется. А мы поговорим, как мужчины, с глазу на глаз. Я вам расскажу всю правду и уверен, что вы мне поверите. А раз

поверите, — вам станет легче. Может быть, даже над своими теперешними переживаниями посмеетесь. Идет?

— Хорошо, — прошептал я.

Ронмэй вышел и вернулся с Ирэн, на лице которой я прочел и смущение и муку. Она быстро поцеловала меня в лоб и тотчас же покинула нас.

Старик похлопал меня по плечу, снова наполнил стакан, закурил сигару, удобно устроился в кресле и начал свое повествование. Я сидел подавленный и смущенный, но скрывал свои внутренние переживания. Внешне я был спокоен, а то, что было внутри, касалось только меня.

РАССКАЗ МУЖА ИРЭН РОНМЕЙ

« Отец Ирэн и я выросли вместе, учились вместе и почти всю жизнь были неразлучными друзьями.

Он был единственным сыном, у меня была сестра. Ни его семья, ни моя богатыми не были. После окончания « High School » надо было тотчас же начинать работать. Мы оба нашли должности в одном и том же предприятии по разработке разных минералов на западном побережье Северной Америки. Жалование было совсем маленьким, и мы постоянно возвращались к мысли, как бы выбиться на более широкую дорогу.

Характеры наши были довольно разными. Он подвижной, слегка азартный, склонный преувеличивать открывавшиеся то тут, то там перспективы, готовый все перепробовать. Я — более консервативный и уравновешенный.

Как всегда бывает в таких случаях, я легко подпадал под его влияние. При этом, дружба наша была настоящей, прочной.

Джим— так звали отца Ирэн — несколько раз пускался в разные деловые комбинации, в которых, естественно, принимал участие и я. Но каждый раз мы только теряли с трудом накопленные деньги. Предприятия наши были весьма разнообразны: от торговли льном до золотоискательства. Когда родители мои умерли, осталось некоторое наследство, нечестно присвоенное моей сестрой. Подлог был совершенно явный, но чтобы отстоять свои права, надо было обратиться в суд, на что я не решился: судиться с сестрой мне казалось недопустимым. Пришлось снова экономить, копить.

Мы сколотили небольшую сумму, и Джим познакомил меня с одним стариком, долго прожившим на Аляс-

ке, откуда он вернулся в Сан-Франциско богатым человеком. Этот старик расписал нам Аляску, как некоего рода Землю Обетованную, и, поразмыслив, мы туда отправились сами.

Через полгода после прибытия в один из северных углов Аляски, мы убедились, что искать золото и трудно и опасно.

Климат, болезни, — все приходилось преодолевать; Джим несколько раз спасал мне жизнь, и я его не раз выручал...

Все-таки золото, — хоть и не много, — мы нашли.

Вернувшись в Ном, я заявил, что моя карьера золотоискателя кончена, и открыл колониальный магазин, уступив Джиму половину чистой выручки и предоставив ему выбрать путь, который он найдет для себя подходящим.

Он, благородно, соблюдая все пункты статута настоящей дружбы, заявил, что будет продолжать золотоискательство и, в свою очередь, считать меня компаньоном в своих предприятиях.

Так, я — торговлей, а Джим — удачными поисками на россыпях, мы составили довольно крупное состояние. В особенности хорошо шла торговля.

Мы оба остались холостяками, хотя каждому из нас тогда перевалило уже за сорок.

Жизнь на Аляске была суровой. Работать приходилось много, силы мы расходовали без счета, отдыха же, развлечений — сами знаете: какие в таких местах бывают развлечения? Больше выпивка, хочешь не хочешь, по всякому поводу, деловому и не деловому.

Наконец Джим заявил, что Аляска ему надоела, и что он возвращается в Сан-Франциско. Я же решил остаться еще на несколько лет.

Мы по-братски разделили наш капитал. Зная его горячую натуру, я просил его не слишком увлекаться, не рисковать зря. Но в случае беды — написать. Чем могу — помогу.

Мы расстались, не подозревая, что это навсегда.

После его отъезда, дела мои пошли фантастически в гору! Конечно, мне пришлось уделять им много внимания.

От Джима приходили редкие письма. Он сообщил, что вошел в биржевое дело, что женился, что у него родилась дочь... Ирэн. Потом наступило молчание, длившееся почти пять лет.

Совершенно поглощенный делами, делая миллионные обороты, я как-то не придавал должного значения отсутствию писем от друга. Думал: молчит, значит все хорошо. И вдруг пришло от него письмо!

Он сообщал, что дела его неважны, что он болен, и просил, если бы с ним что случилось, позаботиться, во имя старой дружбы, об его семье. А через два месяца, в одной из Сан-Францисских газет я прочел об его самоубийстве.

Причина — полное банкротство.

Я был поражен, расстроен и впал в недоумение. Провел бессонную ночь, перебирая все связывавшие меня с ним воспоминания, — детство, школа, работа, дружба, — восстановил в памяти подробности тех эпизодов, когда он мне спас на Крайнем Севере жизнь, выпил две бутылки рома и выкурил ящик крепких сигар.

К утру решение было принято.

Я решил ликвидировать дела и ехать помочь вдове и дочери старого друга. Самому мне в это время шел уже 67-ой год. Я был миллионером. Зачем мне было продолжать работать? Один во всем мире, кому мог бы я оставить свои средства?

Вернувшись в Сан-Франциско, я не узнал города, до того за годы моего отсутствия все в нем изменилось. Но зато и старых сыновей Калифорнии оставалось мало...

Хотя и был я привычно-одиноким, все же вспомнил о сестре.

От природы я совсем не злопамятный. Я подумал, что по молодости своей и по опрометчивости она могла мне причинить зло, не сознавая, что, собственно, делала. С тех пор она могла измениться к лучшему, могла раскаяться...

Так как я с ней ни в какой переписке не состоял, то о моих деловых удачах в Аляске она ничего знать не могла. Наведя справки, отыскав ее адрес, я решил проверить свои догадки.

Я три дня не брился, надел старый, мятый костюм, обулся в нечищенные, стоптанные башмаки и отправился к ней на дом. Я знал, что она замужем за богатым доктором, что у нее дети и внуки, и что живет она в собственном доме в дорогом и аристократическом квартале.

Открывшая мне дверь горничная удивленно меня оглянула. Я попросил доложить, кто я. Горничная исчезла, и через некоторое время, в прихожую вошла толстая, размалеванная старуха и с раздражением и злобой спросила, что мне надо? Я ответил, что бродяжничал, мыкался по всему свету, работал где и как мог, что теперь стар, болен, без денег, и что, вот, приехал к ней и прошу помочь стать на ноги. Ведь все же она мне сестра, не так ли? Помолчав, она вытащила из кармана пятидолларовую кредитку и прошипела: « На! И —это в первый и последний раз. Больше чтоб ноги твоей у меня не было. Нет у меня брата, бродяги и, наверное, пропойцы, как ты. Вон отсюда! »

Я поблагодарил и вышел на улицу. Признаюсь вам, Вальтер, тяжко было у меня на душе; расплакался я тогда детскими, горючими слезами. А на сестру поставил крест.

В том же костюме, таким же небритым, пошел я на квартиру семьи Джима. Бедный квартал, недалеко от китайской зоны города, третий этаж мрачного, старого деревянного дома. Грязноватый, темный коридор.

Дверь мне открыла Ирэн.

Ей шел тогда двадцатый год. Она удивленно на меня посмотрела. Я назвался. « О! Дядя Ронмей! » услыхал я тогда звонкий, молодой голос. « Входите, входите, скорей входите! Папа всегда нам так много о вас рассказывал... Мама сейчас больна, но это ничего, она будет так рада вас видеть. Вот сюда, прямо и направо ».

Я проник в спальню, и мне навстречу приподнялась с кровати пожилая, усталая, больная женщина, черты которой все же говорили о былой красоте. Протянув мне руки, она слабо проговорила:

« Я так рада видеть вас, Ронмей! Джим мне много рассказывал о вашей с ним дружбе. Вы ему были как брат родной ».

Она рассказала мне тогда о всех несчастиях Джима, об его смерти, о том что после постигших их бедствий, она еще заболела раком. « Но есть надежда выздороветь », прибавила она со слабой улыбкой. Узнал я, что за год до смерти отца, еще будучи студенткой, Ирэн вышла замуж, но что зять оказался не совсем порядочным: когда было объявлено банкротство, он потребовал развод.

« Так что это было как бы к лучшему », заключила больная. « И вообще все будет хорошо! Ирэн теперь кормилица семьи. Как только я сама поправлюсь, так начну работать и все придет в полный порядок. Унывать нет никаких причин ».

« Хотите кофе? » прибавила она. Потом, пристально на меня посмотрев, сказала: « Вы меня извините, Ронмей, но на правах жены вашего друга скажу вам, что дела ваши нынче, кажется, неважны. Где вы живете? Что делаете? »

Я смутился и пробормотал, что дела, действительно, оставляют желать лучшего, что квартиры я еще не нашел, но что есть разные надежды. Она меня перебила:

« Слушайте, не рассердитесь. У нас три комнаты. Ирэн работает по ночам телефонисткой. Иной раз мне просто таки страшно бывает оставаться одной. Поселяйтесь у нас. Места хватит. А когда станете на ноги, а я выздоровлю, — будем держаться друг друга. Останетесь у нас, и мне по ночам будет не так тоскливо. Все-таки мужчина в доме, опора... »

« Да, да, дядя Ронмей, » воскликнула как раз вошедшая в комнату Ирэн. « Поселяйтесь у нас. Мы будем очень рады! »

Дрожащими руками взял я протянутую мне чашку кофе. Мне пришлось много видеть примеров любви и самопожертвования, но такого отношения к себе, небритому, грязному, напоминающему оборванца, я никак не ожидал.

К глазам подступили слезы.

Наскоро проглотив кофе, едва, в сущности, собой владея, я поблагодарил за приглашение, согласился и сказал, что пойду за чемоданом. Мне радостно приказа-

ли не задерживаться, заверили, что будут ждать с нетерпением.

Проведя меня на кухню, Ирэн сказала: « Тут я вам устрою кровать... »

Я буквально вылетел на улицу. Взяв такси, примчался в гостиницу и немедленно снял весь верхний этаж на целый год. Затем, побрившись, переодевшись, вызвал по телефону частную карету скорой помощи с двумя сестрами милосердия и покатил на квартиру Ирэн.

Попросив прощения за маскарад, я в нескольких словах рассказал, в чем дело...

Обе женщины смотрели на меня испуганно, почти недоумевающе.

Высунувшись в окно ,я знаком пригласил санитаров и сестер милосердия подняться в квартиру с носилками. Приказал им все оставить как есть, — дамы, мол, будут жить со мной, в другом месте; за теми же из вещей, которые они пожелают сохранить, вернемся позже, пока же пусть все остается нетронутым, — и мы помчались в гостиницу, где нас ожидал штат прислуги, специалист доктор, модистки и портнихи. Распределили комнаты.

И мать и Ирэн... ну что там говорить? Казалось, они ничего не понимали, были как во сне, с радостным изумлением смотрели на то, что происходит.

Все-таки Ирэн в ту ночь пошла на работу. Она ни за что не хотела подводить свою коллегу по должности. На другой день я созвал консилиум, пригласив самых лучших специалистов. Представьте себе, что среди них оказался и муж моей сестры. Результат консилиума был неутешительным: положение матери Ирэн было признано безнадежным, жить ей оставалось, в лучшем случае, около года. Разумеется, ни самой больной, ни Ирэн об этом заключении я не сказал ни слова, и самоё Ирэн — без труда — уговорил продлить начатое в Берклейском университете образование, где одним из предметов была история России ».

Сказав это, Ронмей чуть-чуть улыбнулся.

« Через шесть месяцев, несмотря на вмешательство приглашенных мной германских специалистов по раку,

профессоров с мировыми именами, мать Ирэн умерла. Внутренне Ирэн горевала очень, но виду не показывала. Я же сам начинал себя чувствовать неважно. Прирожденный порок сердца, суровая жизнь на Аляске, непрерывная деловая суета в Калифорнии, которая возрастала, годы, утомление, — все вместе наводило меня на довольно нерадостные мысли.

Я начал думать о судьбе Ирэн.

Что будет с ней после моей, возможно, не такой далекой кончины? А тут сестрица моя стала писать мне письма, каяться, признавать свои ошибки... Если это и было поводом для лишнего раздражения, то им все и ограничилось.

С сестрой все было покончено и навсегда.

Все же я задумался: если мое состояние я откажу Ирэн, то сестрица не замедлит опротестовать завещание.

Будет суд. Пусть даже дело затянется, пусть даже, если я усыновлю Ирэн, шансы ее окажутся прочными, — но чем черт не шутит? А вдруг дело, в конечном счете, окажется проигранным? Суд решает так, как считает нужным, и в своих постановлениях очень независим. Как быть?

Должен тут оговориться. Жизнь моя, наполненная трудом и заботами, была не из легких. Женщины особой роли в ней не играли, и уже в 60 лет женский вопрос для меня вообще перестал существовать.

Все дела да дела были в голове, и ничего другого. Это бывает, это даже часто бывает среди « бизнесменов ». Они рано становятся равнодушными к проявлениям любви, в особенности любви физической.

Я стал мысленно искать Ирэн жениха, думая, что выдать ее за хорошего человека замуж, было бы отличным решением. Но как быть уверенным, что жених будет на самом деле хорошим, и не будет, в сущности, притянут долларами? Так, довольно долго поколебавшись, я, наконец, поговорил по душам с Ирэн.

Я объяснил ей, что все состояние оставляю ей. И прибавил, что деньги большой соблазн, и что ей надо быть совершенно уверенной в будущем муже. Найти же по-настоящему хорошего человека, его полюбить,

знать, что он тоже полюбил, — довольно таки мудрено.

Потом я прибавил, что силы мои падают, и что не рассчитываю прожить слишком долго. Как мужчина, — я не существую уже давно.

Что она думает, как она смотрит на то, чтобы я на ней женился?

Так, по крайней мере, я умру со спокойной совестью, спокойным за нее, так как знаю, что по калифорнийским законам она унаследует половину состояния.

И никакие родственники этому помешать не смогут.

Жить мы будем как сейчас, я ей предоставляю полную свободу, если она встретит и полюбит достойного человека, — я ничем ей мешать не стану.

Пусть только держит все в тайне, чтобы избежать злословия и унижений. А после моей смерти, она сможет выйти за него замуж.

Ирэн размышляла несколько дней и, наконец, согласилась.

Помню, что когда она давала согласие, улыбка ее была спокойной, светлой.

Мы обвенчались в маленьком городке, втихомолку. Мне стало спокойней, Ирэн продолжала посещать университет. Год тому назад она его кончила.

Произошла встреча с вами, и она сразу вас полюбила. Само собой понятно, что я все время был посвящен во все.

И, ради Бога, не обижайтесь, Вальтер! Когда Ирэн, —случайно, — узнала вашу настоящую фамилию, адрес вашей матери и прочее, я немедленно поручил моим агентам навести о вас подробные справки. Все оказалось не только превосходным, но лучшим, чем можно было ожидать. Кроме того, вы ведь искренне ее любите. Это для меня самое главное.

Теперь предлагаю вам поступить ко мне на службу, секретарем, помощником в делах. В то же время вы будете пополнять свое образование. Будете рядом со мной, с Ирэн, до самой моей смерти... хотя... »

Вальтер запнулся, помолчал.

— Который час, мэйт? Боюсь, что я вам надоел и задержал вас своим рассказом, но...

— Еще рано, — сказал я. — Одиннадцать. Ночь только начинается. Ваш рассказ? Такого и в романах не найдешь. Продолжайте. Я готов вас слушать до утра.

Вальтер ласково, признательно посмотрел на меня.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ВАЛЬТЕРА

— Что до меня, — продолжал Вальтер, — то в те минуты переживания мои были спутаны, смешаны и мышление казалось окаменелым.

Отцы, матери, Аляска, золото, торговые обороты, деньги... И на этом фоне Ирэн, жена Ронмея.

Все было сумбурно, все казалось не совсем реальным.

Немного погодя, частично с собой совладев, я встал, поблагодарил старика за искренность, подтвердил, что люблю Ирэн и только ее буду любить до конца моих дней и попросил дать мне срок на размышление.

Ронмей с чувством пожал мне руку, заверил, что как раз такого ответа и ожидал, и что, видя мое отношение к его предложению, испытывает ко мне еще большую симпатию.

А когда я теперь припоминаю этот разговор, взвешиваю мысленно все навалившиеся на меня впечатления, — то мне кажется, что это было чем-то таким, что можно бы, пожалуй, назвать: кошмар наяву.

Как раз после того, как мы обменялись рукопожатием, вошла Ирэн. Она оглянула нас, и нетрудно было различить в ее глазах тревожный вопрос.

— Он оказался еще лучше, чем я думал, — проговорил Ронмей. — Поезжайте прокатиться, проветриться. Он никак не может прийти в себя, ему нужна смена впечатлений. И я тоже устал. В жизни своей столько не говорил! Теперь пойду лягу, мне нужно отдохнуть. Уверен, что все будет хорошо. До свидания... дети мои.

Мы с Ирэн молча спустились вниз. Как автомат, я сел рядом с ней в автомобиль, и мы поехали в наш лю-

бимый парк. « Ирэн жена Ронмея! » повторял я себе, « не дочь, а жена! Жена Ронмея! » Она же спокойно проговорила:

— Понимаю твое настроение. Конечно, я виновата в том, что не сказала тебе всю правду с самого начала. Но ты, наверное, меня поймешь, поймешь, почему я так поступила. Скажи, как ты на все это смотришь? Может быть, ты меня возненавидел? Если так, — то прости. Если я тебя огорчила, то неумышленно...

— Я тебя люблю. Раз и навсегда. Сделаю для тебя все, что ты захочешь, — пробормотал я. — Но сейчас я плохо соображаю. Все в голове перепуталось, и одно только остается ясным: я твой, не забывай этого. Я — твой. Отвези меня домой, извини, но мне надо побыть одному, чтобы привести мысли хоть в некоторый порядок. И приезжай ко мне завтра вечером. Я не пойду на работу...

Дома я прежде всего лег. Сколько времени я пролежал, уткнувшись лицом в подушку, не знаю. Вероятно, несколько часов.

И вот, мэйт, пришло мне тогда в голову, что как то было установлено древними, на Востоке, что в душах наших живут и ими правят два « бога »: все понимающий ,все прощающий Ормузд и злой, ехидно шепчущий, все искажающий Ариман.

Не прогневайтесь за банальное сравнение. Но так вышло в тот день, что я эти два голоса точно бы слышал, точно бы они до меня откуда то доносились...

Я понимал мужа Ирэн. Понимал, почему и для чего он так со мной поступил. Он явно искал только добра для Ирэн, о ней, в первую очередь, заботился. Я даже как бы преклонялся перед благородством его основного побуждения...

А с другой стороны я слышал: « Н-да! Поздравляю! Хе-хе-хе! Влюбились в красавицу богачку? И вот теперь вам предлагают не только на ее средства жить, но еще получать их от ее живехонького мужа. Недурно! Хе-хе-хе! Помру — тогда венчайтесь, и не поминайте лихом. А пока: любите друг друга под сурдинку, под неусыпным и благожелательным наблюдением моим.

А что предки — светлейшие князья — в гробу от

этого переворачиваться будут, так что же тут такого? Мертвые сраму не имут. И живые-то его далеко не все чувствуют! Хе-хе-хе!»

Рассвирепев, я схватил стоявшую на столе вазу с цветами и швырнул ее об пол.

Пахну́вший из открытого окна холодный воздух и дыхание омытого дождем сада подействовали на меня успокаивающе. Мысли стали приходить в некоторый порядок. Я говорил себе, что люблю Ирэн все так же пламенно, так же безраздельно, готов за нее отдать жизнь, но предложения ее мужа принять не могу.

Это выше моих сил.

Жить с любимой женщиной, ждать смерти ее живого мужа, — хотя бы он и был на редкость симпатичный и славный человек, — мне не представлялось возможным. И я принял решение.

Не гордость, не высокомерие подсказали его мне, не недомыслие. Я не мог пойти на компромисс с собственной своей любовью, я не мог допустить, чтобы на это мое исключительное чувство легла хоть малейшая тень...

Надо было бежать. Куда? — неважно. Хоть на край света. Так, казалось мне, я найду самого себя. Но как оставить Ирэн? Как разорвать мою первую и подлинную любовь? Первую и, думал я, последнюю, так как не могу вообразить, чтобы какая-нибудь другая женщина дала мне столько, всю красоту, всю ласку, столько заботы, чтобы какая-нибудь другая женщина могла меня так же любить, как полюбила Ирэн.

Подойдя к роялю я стал что-то играть. Я играю не плохо, мейт, но серьезным музыкантом, конечно, назвать себя не могу.

Настоящего музыкального образования у меня никогда не было. Нервно, пробежавшись пальцами по клавиатуре рояля, в его звуках я начал искать какого-то созвучия, гармонировавшего с состоянием моей души в тот момент.

Машинально, не отдавая себе отчета, я почему то заиграл « Седьмой прелюд » Шопена.

Маленькая и короткая вещь, она мне показалась, как страннику в сухой и знойной пустыне, каким-то

светлым, неземной красоты, миражем... К себе влекущим, притягивающим видением, но, вот именно, видением и только. А за ним могла быть бездна реальности разочарования.

И если видение исчезнет, рассеется, — за ним наступят опять дни тяжелого и серого существования.

Но все же было много общего в звуках этого прелюда, в необычайном для Шопена La Major'e, с любовью Ирэн ко мне. Я был поражен красотой этого тождества. Я безумно хотел сохранить, как мне казалось, призрачное обаяние любви Ирэн навсегда.

Ему навстречу я уже идти не мог, от него я не убегал, а просто уходил вдаль, прочь от этого чудесного, эфемерного явления.

С собой я уносил и яркий свет его. Был уверен, что даже на плахе палача, пред самой смертью я буду преисполнен очарованием моей любви к Ирэн.

Не называйте меня идиотом, мэйт. Иначе я поступить не мог.

Я уходил. Куда? И сам не знал. Опять бродягой. Без цели. Без будущего. Без денег. Но я считал себя богаче Креза. Ведь он не знал Ирэн. Не знал ее любви. И неизвестным был ему « Седьмой прелюд » Шопена.

— ⁂ —

Вальтер замолчал, отпил большими глотками вина, зажег еще одну папиросу.

Я молчал. Южный Крест склонялся к Южному Полюсу. Океан уснул, было тихо, и даже пальмы не шептались: точно рассказ на странном языке о не менее странной любви русского матроса, плавающего на американском корабле, занесенного судьбой в Антофагасту, в Чили, — казался им увлекательным, нежным, и они умолкли, жадно ожидая конца.

— Я не спал до утра, — продолжал Вальтер. — Потом собрав вещи, оставил записку полковнику, зашел в банк, взял, что у меня оставалось на счете и через агента, которому уплатил 25 долларов, нашел должность на вашем корабле, где и был в тот же день.

Остальное вы знаете. Думал попасть в Европу; но нет. До сих пор мы все крутимся по Тихому океану. А теперь направляемся в Сан-Франциско. И этого я боюсь...

— Почему? — спросил я. — Избежать встречи с Ирэн будет совсем не трудно. Получите расчет, — за пять месяцев триста долларов, купите билет, и поездом до Нью-Йорка... А там какая же опасность встречи?

— Я не случайной встречи боюсь. Я самого себя боюсь. Ведь я ее люблю, все так же пламенно люблю! И так меня к ней тянет, что я не уверен, что смогу себя пересилить; что не пойду к ней сам. И тогда что же? Еще разлука, еще один побег? На это у меня просто на просто не хватит сил. И поэтому-то я и спрашиваю вас: « Не остаться ли мне в Чили? »

— Слушайте, Вальтер, — сказал я решительно. — Вот вам мой дружеский совет: оставьте эту идею! (Как я потом проклинал себя за этот дружеский совет!) Тут вас ожидает судьба Beach comber (берегового моряка, обращающегося в босяка, бродягу...), голод, алкоголизм. То полицейский участок, то тюрьма, то ночлежка... Угроза высылки, высылка, поножовщина...

Возьмите себя в руки, возвращайтесь в Сан-Франциско. Оттуда поезжайте в Нью-Йорк. А там увидите, что делать...

Вальтер посмотрел на меня как-то особенно внимательно и произнес:

— Вы правы, мэйт. Послушаю вашего совета. И, ради Бога, извините меня за докучную болтовню. Но вы, конечно, поймете, что у меня стало легче на душе после этой, так сказать, исповеди. Я вам благодарен за совет, я поступлю так, как вы говорите.

Мы молча вернулись на корабль и там разошлись по каютам. Никакого панибратства, даже близости, между офицерами и командой в те времена не допускалось.

Зашли в Такопиллу, забрали груз нитрата и направились в Сан-Франциско.

Встреча в порту была довольно суровой. Сильный ветер, свинцовое небо, прилив, стремительное течение в самой бухте побудили капитана распорядиться дер-

жать наготове, вдобавок к травным канатам, и стальные концы.

Когда были покончены формальности с портовым лоцманом, мы средним ходом направились к пристани.

Началась швартовка корабля. Стальной трос, свернутый кольцами, лежал на палубе, а петля его была пропущена через полуклюз (отверстие для выпуска каната), и висела за бортом, что представляло собой довольно-таки внушительную тяжесть. Удерживал ее при помощи веревочного стопора матрос, ожидавший приказания « травить » (спускать дальше). Работа со стальным тросом тяжелая и требует большого внимания. Я, как третий помощник капитана, стоял во время швартовки на мостике, слушал приказания лоцмана и капитана и передавал их в машину.

Как все произошло, точно не помню. Видел, что Вальтер побежал к петлям стального троса, исполняя какое-то распоряжение старшего офицера, находившегося на баке, и затем я услышал нечеловеческий крик. Вальтер лежал на палубе, и окровавленные его ноги были схвачены тросом.

Очевидно, веревочный стопор соскользнул, и забортная петля троса, выдернув ту часть его, которая лежала на палубе, натянула ее, как струну. Вальтер, как раз ступивший в одно из колец, был схвачен и тяжко ранен.

По счастью, пострадали только ноги, — его ведь могло разорвать на части!

По приказу капитана, я сбежал с мостика, захватив аптечку. Два матроса с носилками бежали за мной.

Проклиная себя за совет, данный Вальтеру в Чили, смотрел я на него окровавленного, лежавшего без сознания. Правая нога была начисто срезана выше колена, левая тоже сильно повреждена, но не оторвана.

На берегу уже ожидала карета скорой помощи. Вальтера уложили, и под звуки отчаянно завывавшей сирены мы помчались в госпиталь.

Заключение врачей было все же менее пессимистичным, чем можно было ожидать. Ампутации левой ноги они пока, по крайней мере, не предвидели, хотя в ней и были сложные переломы. Опасности гангрены

не усмотрели. Но, само собой понятно, раненому придется долго лежать, и выйдет он стопроцентным инвалидом.

Ему отвели, по моему настоянию, отдельную комнату.

По возвращении на корабль я сделал подробный доклад капитану, после чего, совместно со всеми офицерами, мы долго старались найти какие-нибудь оправдывающие обстоятельства, чтобы создать Вальтеру повод предъявить пароходной компании иск и получить компенсационное вознаграждение.

Ничего сделать было нельзя, его увечие было результатом его собственной неосторожности. Стоял день, все было видно, палуба была сухая, стопор был наложен на трос совершенно правильно, а что он соскользнул, было явлением нормальным; а именно из-за того, что это часто случается, каждый моряк должен избегать петель троса.

Мы собрали между собой кое-какую сумму, капитан пообещал что-нибудь выхлопотать от Компании, и на этом все было кончено.

Ночь я провел бессонную, — совет данный Вальтеру в Чили, казалось мне, был первопричиной его несчастья.

Утром, по приказу капитана, я поехал в госпиталь, навестить раненого. Дежурный врач разрешил короткий визит. Слабо улыбнувшись, Вальтер сделал усилие, чтобы поднять голову.

— Лежите ,лежите, все будет хорошо, — сказал я и умолк. Никаких слов, хоть мало-мальски подходящих, не находилось.

— О, да! все будет хорошо, — отозвался он. Потом сделав усилие, найдя в себе точку опоры человека высшей породы, прибавил: — Вот только не знаю, сколько мне придется пролежать в этом милом месте. С детства питал отвращение к госпиталям и к докторам. И вот, на тебе! Когда вы уходите в море, мэйт?

— Не знаю. Что до меня, то я взял расчет. Остаюсь на берегу, где уже нашел работу. Буду готовиться к экзамену на второго штурмана. Думаю, что останусь в Сан-Франциско три или четыре месяца.

Так говоря, я подчинился какому-то импульсу, точно определить который не берусь и теперь. Вальтер посмотрел на меня испытующе и ничего не ответил. Видно было, что он понимал мою « белую ложь » (« white lie »).

— Буду вас навещать! — прибавил я. — Посмотрим, что можно будет сделать в будущем.

— В будущем! — отозвался он с горечью. — В будущем...

И закрыл глаза ,словно впав в забытье.

— Завтра я снова приду вас навестить, — пробормотал я. — И повторяю: не унывайте. Все будет хорошо. Выздоравливайте, отдыхайте, набирайтесь сил. Что нибудь мы вместе придумаем.

Я долго бродил по улицам Сан-Франциско.

Влажный и холодный воздух, казалось мне, помогал привести в порядок разбегавшиеся мысли. Зайдя в итальянский ресторан, где несмотря на запрет, можно было пить сколько угодно вина, я выбрал какие-то блюда, но пил гораздо больше, чем ел. Перебирая в памяти все, что я знал о Вальтере, точно взвешивая остающиеся ему в жизни шансы, я старался найти для него какой-нибудь выход.

« В будущем, в будущем... » звучали в голове его слова.

Оловянная кружка калеки — вот что сулило ему будущее.

Даже поправившегося, даже с хорошим протезом, — на какую работу он годен? Кто его наймет, безногого калеку? Можно, конечно, изучить какое-нибудь ремесло, но на это нужно время, нужны деньги.

А какие у Вальтера средства? Жалкие сбережения, которые разойдутся в несколько недель, скажем, месяцев. К тому же, в особенности первое время, ему постоянно будет кто-нибудь нужен, кто-нибудь, кто поможет ему привыкнуть ходить с искусственной ногой.

Вторая бутылка вина меня не опьянила, наоборот, я, казалось мне, все видел еще отчетливей. Вальтер-калека. От матери он не получит ничего. Скажем, первое время смогу ему помочь я, но ведь это не выход

из положения. И сам я далеко не богат, мне надо работать.

Подумал я, разумеется, об Ирэн, но тотчас отогнал эту мысль: не дал ли я честное слово не разглашать секрета Вальтера?

Но третья бутылка сделала свое дело. Я начал хмелеть.

Мысли об Ирэн возвращались с настойчивостью, я припомнил Ормузда и Аримана, о которых до рассказа Вальтера никогда ничего не слыхал. Ариман, князь тьмы, шипел: « На великую женскую любовь изволите, милостивый государь, надеяться? На всепрощающую? О Пенелопе, ожидающей возвращения супруга, вспомнили? А он, возлюбленный, калека! Таких баб в Америке в наше время нет.

Не будьте идиотом больше, чем вам положено по штату, забудьте про Ирэн. У нее сейчас, — как раз чтобы изжить великую любовь к Вальтеру, — может не один, а два любовника. Пойдите к ней, убедитесь сами. И смотрите в оба. Могут вам хорошо накостылять по шее. И уж, во всяком случае, этот визит позволил бы вам измерить степень вашей наивной глупости. Хе-хе-хе... »

Я выпил залпом стакан.

На смену Ариману появился Ормузд. Он ничего не говорил и только мягко и загадочно улыбался. Моряк, слегка циник, знавший много женщин, герой множества интриг-романчиков, мимолетных и ни к чему не обязывающих, обычных для нашего брата скитальца, морского бродяги, я, в сущности, почти разделял взгляды Аримана.

Но молчание Ормузда точно к чему-то обязывало, и в пьяной моей голове зародилось некоего рода желание попытаться выяснить на деле, существует ли вот такая высшая любовь женщины, та, о которой мне приходилось читать, та, о которой мне рассказал Вальтер?

И, несмотря на хмель, я принял твердое решение: пойти к Ирэн.

Если узнаю, что она его любит, то пусть мне из-за моих сомнений будет жгуче стыдно. А если нет, у меня останется выход: никогда не покидать Вальтера.

На следующий день я получил отпуск на весь день. Сойдя на берег, я явился в гостиницу, о которой мне говорил Вальтер, и спросил, живут ли еще там Ронмей?

Швейцар окинул мой морской, синего шевиота, костюм с некоторым недоверием, но номер телефона дал. Колеблясь и волнуясь, я вызвал. Мягкий грудной голос спросил, с кем я хочу говорить?

— С миссис Ронмей, — пробормотал я.

— Это я сама. Что вам угодно? — последовал ответ.

Слегка растерявшись, забыв о всякой условности, немного по-морскому, я выпалил:

— С вами говорит друг Вальтера...

И услышал восклицание:

— Где он? Что с ним? Где вы сами? Как я могу вас видеть?... — Непередаваемая, радостная тревога была в каждом слове.

— Я в холле вашего отеля, — пробормотал я.

— Ждите меня, не уходите. Я сейчас спущусь. Я вас узнаю. Я через минуту буду с вами...

Я обтирал обильную испарину. Но если первый, трудный шаг был позади, то впереди, казалось мне, вырисовывались еще большие трудности.

Я увидал затем очаровательную блондинку с зелеными глазами, в которых я рассмотрел искорки надежды и, может быть, мучения. Она притронулась обеими руками к моим плечам и сказала:

— Где он? Хотите выйдем на улицу, там, может быть, будет проще говорить?

Мы молча прошли до ближайшего маленького кафе, и там, за чашкой кофе, взяв себя окончательно в руки, спокойно, по-деловому, сказал ей, кто я такой, причем совершенно откровенно добавил, что нарушаю слово, данное мной Вальтеру в Антофагасте: никогда не выдавать доверенного мне тогда секрета. Решился же я на это только потому, что Вальтер болен, что он очень опасно болен, что ему нужна помощь.

О потере ноги я пока не сказал ничего, но подтвердил, что он ее любит и будет любить всегда. Объяснил причины его « бегства ».

Ирэн слушала меня с жадностью, и по почти еще детскому лицу ее катились слезы, которых она и не

пыталась сдерживать. И что меня особенно трогало, так это то, что она что-то все время шептала.

— Но где же, где же он? — настаивала она. — В какой больнице? Я хочу его видеть, немедленно видеть!

— Не волнуйтесь, прошу вас. Мы можем к нему поехать, но не надо его волновать, надо взять себя в руки, казаться спокойной. Он очень болен. И если вы что-нибудь такое увидите, что вас испугает, пробудит в вас желание уйти, — то сделайте это как можно мягче. Прошу вас, как можно мягче.

— Уйти от Вальтера? От него отвернуться?

И с детской самоуверенностью она рассмеялась.

— Едем! — прибавила она.

В госпитале сиделка попросила нас обождать. Я спрашивал себя: войти нам обоим сразу или ей одной? В это время нас позвали, и я проник в комнату одновременно с ней. Вальтер не спал, но находился в какой-то полудреме. Когда он приоткрыл глаза, он прежде всего увидал ее. Что отразилось на его лице, — я разобрать не смог, так как тотчас же Ирэн к нему бросилась, обняла его, стала целовать, потом спрятала свое личико на его груди. Мне было видно, как дрожали ее плечи, как любовно ее рука гладила его щеку. Вальтер молчал, Челюсти его были сжаты.

— Что с тобой, мой милый? — спросила, наконец, Ирэн.

— Ты меня любишь? — прошептал он.

— Да.

Тогда Вальтер сдернул одеяло.

— Я инвалид — произнес он, — смотри, у меня нет ног...

Обняв его еще нежней, еще заглянув в глаза, Ирэн проговорила:

— Инвалид? Ну что же тут такого? Люблю тебя, и теперь ты от меня уже не уйдешь, глупый мой мальчик...

— Да, с одной ногой далеко не уйдешь! — С шутливой горечью отозвался он.

Я поспешно покинул комнату.

Весь день я бродил по городу и вечером оказался в итальянском ресторане, в котором ужинал накануне.

Прежде всего заказал бутылку вина и стал пить. Напротив меня сидела одинокая женщина, весь облик которой говорил, что она ночная дива. Знаком я пригласил ее к моему столику. Даже неопытному взгляду было видно, что жизнь толкнула ее на путь продажной любви совсем недавно.

Она конфузилась, опускала глаза. Я предложил совместно поужинать, выпить вина.

Сам я был, к этому моменту, слегка захмелевшим, и стал ей что-то говорить об Аримане, о его посрамлении, о силе женской любви, которой он не смог преодолеть, что женская любовь вообще и сильней и чище любви мужской, что выше этой любви ничего на свете нет. Что-то я ей говорил, в сущности, совсем сумбурное, говорил, как может говорить взбудораженный, да еще немного выпивший мужчина.

Моя подруга делала понимающее лицо и сочувственно соглашалась. Теперь я ясно припоминаю, что относился к ней в тонах почтительных и предупредительных. Так я с ночной дивой говорил, кажется мне, впервые.

По мере того, как время шло и действие вина возрастало, я прибегал к выражениям все более и более изысканным, чуть-что не воображая себя маркизом, ухаживающим за маркизой на придворном балу, под одобрительным присмотром самой королевы.

Ужин кончился, я уплатил по счету. Снова смутившись, она спросила меня, в какую гостиницу мы поедем.

Вытащив из кармана все мои деньги, я положил их перед нею на стол и опрометью, не надев даже фуражки, выбежал на улицу в холодный туман ночи.

Я был под впечатлением вечно-женственного, я преклонялся перед величием женской любви, перед любовью Ирэн к Вальтеру.

И казалось, что я не оскорбил женственность даже этой женщины ночи — и пусть мимолетно, пусть недостаточно — я все же воздал что-то должное глубине нежности женской любви.

— *** —

А утром мы ушли в далекий рейс.

Четыре года скитаний по морям и океанам всего земного шара привели нас снова в Сан-Франциско.

В Морском доме меня ждало много писем, три из которых были от Вальтера. Из двух из них я узнал, что после моего ухода в море, Ирэн пришла к Вальтеру с мужем. Ронмей был очень рад его увидать, но все же слегка пожурил за побег, сказав, что собирался дать Ирэн развод, и, таким образом, позволить Вальтеру на ней жениться без промедления.

Но, в общем, все хорошо. Он только еще большим уважением проникся к Вальтеру.

Как джентльмен — джентльмену, он предлагает Вальтеру заем для лечения, вообще для приведения себя в порядок; для окончания образования и прочее. Став инженером и начав работать, он выплатит долг.

Вальтер согласился.

Теперь у него отличный протез, он ходит, может даже танцевать, плавает в бассейне. К тому же ему удалось сделать какое-то изобретение, запатентовать его и выгодно продать.

Через год после этого, муж Ирэн скончался. Они поженились и теперь ожидают ребенка.

Вальтер удивляется моему молчанию, просит их навестить, считая, что я их большой друг.

Третье письмо, полное ласковых упреков за мое молчание, заканчивалось так: « Мне кажется понятным ваше нежелание меня видеть. Вы, по-моему, считаете себя виноватым в моем несчастье. Но, мэйт! Если бы я остался тогда в Чили, у меня было бы две ноги, но не было бы Ирэн, за которую я готов отдать жизнь. Вы поняли? Бросьте такие мысли, если они в вас шевелятся, приезжайте к нам, живите у нас сколько хотите. Не было бы вас, не было бы нашего счастья ».

Как и на первых письмах, следовали две подписи — одна по-русски, другая по-английски.

Подумав, я решил сделать им визит.

Но моряк предполагает, а судьба располагает. Таков закон морской жизни, его ни на мгновение не следует забывать.

После четырех лет плавания, расчет был, разуме-

ется, очень для нас приятным: мы получили порядочно денег.

Корабль шел в долгий ремонт, нас всех списали на берег.

Мы решили устроить прощальный ужин, с капитаном во главе, в одном очень популярном ночном ресторане, своего рода клубе или кабарэ « высших кругов торговых моряков ».

Наша компания — 24 человека — расположилась за длинным столом. За параллельным, точно такой же длины столом, сидела компания англичан. Как всякий знает, особенной любви между американцами и англичанами не существует. Поэтому « Limeys » (насмешливое прозвище англичан, присвоенное им за то, что они пьют сок лимы, — маленького, зеленого, очень ароматического лимона, предотвращающего цынгу) — сидели тихо. Но были настороже. Мы их не задирали, вперед зная, что всякое может случиться.

На сцене, последним номером выступила прехорошенькая евразийка, которую знали все моряки. И танцы ее, и песенки, и вся фигура, и обворожительная улыбка нашей морской братии были более чем по вкусу.

Но знали мы также, что язычок у нее подвешен прекрасно и что нахалам она спуску не дает. Мы относились к ней, как эстеты или как рыцари.

Кончив свой номер, она, проходя между столиками, продолжала напевать и, шутки ради, выдергивала галстуки у тех, кто злоупотреблял глазной сигнализацией.

Но один из сыновей гордого Альбиона пошел дальше: он провел рукой вдоль очаровательной спины и достигнув нижнего ее края, слегка хлопнул.

Карменита — так звали нашу любимицу — разразилась рядом таких фраз, да еще на чистейшем морском жаргоне, — от которых мог бы покраснеть и испытанный, все виды повидавший боцман.

Мы все, как один, встали на защиту Кармениты. Англичанам было предложено принести извинения. Они отказались, и последовал обычный в таких случаях, мгновенный разрыв дипломатических отношений.

Начался бой по всему фронту. Все полетело. Сту-

лья, столы, посуда, горшки с цветами. Нетронутой осталась только большая, раскаленная печь, к которой нельзя было притронуться.

Я попытался-было призвать к спокойствию, но результатом этой попытки было два удара, — по одному в каждый глаз.

Явилась полиция, быстро наведшая порядок. С Карменитой во главе, бойцы были доставлены в часть. Изнывавшие от скуки полицейские и репортеры, поджидавшие материал для своих « дневников происшествий », фотографы и раньше нас арестованные представители подонков были, разумеется, весьма довольны. Судья разобрал « дело » скоро и мудро. Перед законом все равны, враги и не враги. А поэтому, всем по пятьдесят долларов штрафа, включая и Карmениту, как главную виновницу побоища.

Ночь в кордегардии, а утром — на все четыре стороны.

А у кого не окажется презренного металла, — тем быть заключенным в темницу на 50 дней, из расчета по доллару за день, причем придется работать: подметать улицы.

Деньги нашлись у всех, кроме Кармениты, заядлой картежницы, всегда бывшей без копейки. Мы все собрали между собой нужную сумму.

Утром нас выпустили.

Тотчас же купил свежую газету.

На первой странице красовалась Карменита, и почему-то рядом с ней я с подбитыми глазами. Заботливо и точно были обозначены все фамилии. А ниже красовалось наставление: « Никогда не умаляйте достоинства маленькой женщины. Смотрите, что постигло всех этих джентльменов ».

Следовало красочное описание « международного инцидента ».

Карменита была этой рекламой просто восхищена. Мы мрачно молчали. Специалисты по « фонарям » рекомендовали мне, как лучшее средство, — прикладывать к глазам денно и нощно сырое мясо; но и при этом лечении надо считать, что хватит на неделю, а то и на две.

Явиться к Вальтеру в таком виде было немыслимо. Так как оказалось, что я пострадал больше других, то три дня и три ночи сама Карменита меняла мясные примочки. На четвертый день, купив огромные черные очки, чтобы скрыть начинавшие желтеть синяки, я уехал на юг, так и не повидавши Вальтера и Ирэн.

А потом опять пошли годы плаванья, опять развернулась передо мною панорама экзотических, северных, туманных и солнечных портов, городов, заливов, каналов, мысов...

Много было разных — как положено морякам — случайных и кратких встреч и увлечений.

Грянула Вторая Мировая, отодвинувшая куда-то в глубину все предшествовавшие ей впечатления. Я почти забыл про Вальтера. Затушеванный временем, его трагически-счастливый эпизод казался чем-то почти обыденным.

Но вот, несколько лет тому назад, будучи старшим помощником на панамском пародохе, я попал в Барселону, и оттуда на Майорку, где раз, но очень давно, почти сразу после Первой Мировой, побывал накоротке.

На благословенном этом острове, самом большом из Балеарских, ютится более шестисот городков и деревушек.

Когда там цветет миндаль, то пятна цветов и рощ почему-то напоминают русский, бело-сине-розоватый снег. Второй по величине остров, Минорка, славится красотой своих женщин. На третьем, самом маленьком, Ибице, мне побывать не пришлось.

Как только мы ошвартовались в Пальма-де-Майорка, мое внимание оказалось привлеченным яхтой-шхуной типа « Глостер », под американским флагом. Мореходны, быстры, породисты эти яхты-шхуны. Линии их строги, черный корпус удлинен, две стройных мачты и белоснежные паруса в каком то отношении напоминают американок Новой Англии, очаровательно скромно-изящных женщин, известных в мире под именем « Long-Stemmed Roses » (длинно-стебельные розы).

Я даже позавидовал владельцу этой яхты-шхуны: ведь это мечта каждого моряка иметь собственный ко-

рабль и на нем окончить свои дни, ни от кого не принимая никаких приказаний, направляясь туда, куда хочешь; но почти всегда желание это несбыточно.

Живучесть его от этого не уменьшается.

Сойдя вечером на берег, я наткнулся в одном из портовых кафе на русских. Нисколько этому не удивился. Где только нет нашей братии?

Были среди этих соотечественников некто Иван Смирнов, отец голландского воздушного флота 1), Ал. Рогозин, заслуженный полковник испанской авиации, русский морской офицер, поступивший после войны в испанский Иностранный легион в качестве добровольца — летчика, который положил таким образом, начало испанской военной авиации, да еще один отпрыск знаменитейшего рода, когда-то восставшего против самого Ивана Грозного.

Четвертый член собравшейся там компании был женатый на русской немец.

Несколько сконфуженно он представился как барон Мюнхгаузен, но настоящий, ни в какой степени не ответственный за проделки одного из своих пращуров по боковой линии 2).

От себя добавлю, что никакой « мюнхгаузовщины » в поразительных этих встречах нет.

Присел я к ним, заказал бутылку отличного коньяка Фундадор и узнал во время беседы, что Майорка была когда-то финикийской колонией, а позже, в течение долгих столетий изнывала под тяжкой пятой арабских завоевателей: отсюда и специальное майоркское наречие. В канве испанской можно часто отличить слова-вставки, как греческие, так и арабские.

Узнал я, что Майорку прославил один австрийский эрцгерцог, кажется — Антон.

---

1) Русский военный летчик первой мировой войны. Отправленный русским правительством для тренировки в Великобританию, он после заключения большевиками Брест-Литовского мира перебрался в Голландию, где и положил начало коммерческой авиации. Во вторую мировую, много раз раненый японцами в воздушных боях, он вышел в отставку, поселился на Майорке, где и умер.

2) Все здесь сказанное — сущая правда.

Посетив остров случайно, он в него влюбился, вернулся, купил там огромное земельное владение, построил дворец, основал музей, в котором собрал найденные на острове сокровища, и умер, завещав все свое состояние своей подруге, майорканке.

Здесь же, в течение некоторого времени, в монастыре Вальдемозы проживали Шопен и мадам Жорж Занд с ее детьми.

Дружеская беседа наша затянулась далеко за полночь.

Барон предложил мне сделать с ним на другой день прогулку по острову на его автомобиле, на что я охотно согласился.

Красота, развернувшаяся перед моими глазами, была необычайная.

Недаром остров этот прозван моряками « Улыбка моря ». Утро было сияющее. Мы осмотрели дворец-музей, в котором особенное внимание притягивали три изданные в Лейпциге на майоркском диалекте огромные книги. На переплете каждой из них вытиснены слова: « Майорка, Минорка, Ибиза ». Множество полотен венской школы. Торжественная тишина. Солнечные зайчики, пробегающие через жалюзи, придавали всему этому великолепию некоторую жизненность: дворец казался обитаемым, несмотря на то, что после смерти владельца жили там всего старый сторож и его старушка жена.

По дороге в монастырь, где жил Шопен, можно было любоваться пальмами, кипарисами, апельсиновыми и лимонными рощами, померанцевыми, фиговыми и многовековыми оливковыми деревьями. Все залито солнцем, над всем раскинулось синее небо, тут же, неподалеку, сияющее море и воздух такой чистый, такой прозрачный, какой, по понятию моему должен быть в раю.

Осмотрели картезианский монастырь, тот самый, где жил и работал Шопен.

Показывал и давал пояснения гид. Картезианцы-монахи, как траписты, дают обет молчания.

Алтарь и монастырская аптека показались мне особенно интересными. Банки, колбы, реторты — все бы-

ло таким, каким, вероятно, было в Средние века, носило какой-то « алхимический » отпечаток.

В « Святая Святых » пианистов всего мира, где жил и работал Шопен, мне, хоть и не музыканту, но любителю музыки, пришлось подавить волнение.

Это большая, светлая, аскетически пустая келья. В середине ее, окруженной веревочной оградой, стоит пьянино, к которому не разрешено даже и притронуться: собственный рояль Шопена. Справа — замечательный портрет Шопена: голова его закинута, глаза закрыты.

Все в тонах серо-зеленоватых, несколько в стиле Греко. Да и самое лицо аскета-Шопена в чем-то схоже с изображениями этого художника.

Под портретом стоит рояль, на котором приезжим музыкантам разрешено не только играть, но даже давать концерты.

Но когда мы были в этой келье, там царила благоговейная тишина.

С балкона открывается великолепный вид на горы, на море.

Далее гид проводил нас в кельи, где жила Жорж Занд с детьми.

Нам пояснили, что в книге были записаны мадам Дюдеван и господин Шопен, артист, по-видимому — повенчанные. После этого гид, говоривший по-французски, начал нести какую-то околесину.

Присоединившиеся к нам французы засмеялись. Я осведомился о причине их веселья, машинально, по-русски. Обернувшись, французы на отличном русском же языке ответили: « Смеемся, потому что гид несет ахинею ».

— Вы, стало быть, русские?

— Собственно, нет! Собственно, да!... Родились во Франции, но родители наши русские. Вот и говорим по-русски...

Из дальнейшего обмена мнений выяснилось, что мой новый знакомый — профессор Парижской консерватории, что он пишет книгу о Шопене, что жена его — художница.

Разговаривая, мы вышли из монастыря и располо-

жились на тенистой террасе небольшого и уютного кафе.

Я узнал множество неизвестных мне подробностей из биографии Шопена. Мой собеседник говорил с редким знанием предмета и очень увлекательно. Густое красное вино, приправленное местными специями, способствовало сближению.

По какой-то внезапно возникшей ассоциации идей я спросил, чем был навеян седьмой прелюд что хотел им сказать композитор?

Внимательно на меня посмотрев, профессор спросил о причине моего вопроса. Я что-то пробормотал о каких-то воспоминаниях, от прямого ответа, так сказать, уклонившись.

Тогда профессор, становившийся, вероятно под влиянием красного вина, все словоохотливее, прочел мне нечто вроде лекции, коснувшись влияния на творчество Шопена смеси крови польской и французской, его родственности славянскому духу, живших в нем западных остроты и практичности...

Не стану тут повторять все, что он мне сказал, хотя и думаю, что известно это только не очень многим специалистам. Но не могу не привести одного из его заключений, которое, в известной степени, проливало свет на побуждения Вальтера.

Шопен любил много и многих, и был любим много и многими. Про него самого профессор выразился, что он был « влюблен в любовь » и что в нем жило некое раздвоение: с одной стороны был, например, его долго тянувшийся роман с Жорж Занд, женщиной выдающейся, конечно, но « женщиной земли ».

И была любовь к Ванде Радзивилл, которой он даже не признался: она была для него недосягаемым идеалом.

Такой же была его любовь к светской львице — графине Потоцкой — и в то время он уже жил с Жорж Занд.

Биографы Шопена отрицают его связь с графиней.

Не оспаривая этого, профессор в своем труде утверждал, что любовь Шопена к Дельфинии Потоцкой была исключительно духовной.

Мечтатель Шопен без недоступного идеала жить не мог...

И вот он и написал для нее свой короткий, совсем особый, отмеченный музыкальностью седьмой прелюд, который и подарил ей почти за два года до отъезда на Майорку...

Отпив вина, профессор прибавил:

— Явленный (он именно так сказал: « явленный ») идеал фееричен. Можно, пожалуй, установить параллель с миражем, который бредущему в пустыне путнику может представиться родом Совершенного Дара. Путник благодарен, у путника в душе торжество... Коротенький седьмой прелюд Шопена, посвященный Потоцкой, написан в ля-мажоре, и если очень внимательно вдуматься в тогдашнее состояние духа Шопена, то этот мажорный тон больше чем объясним: он обязателен.

Простите мне несколько замысловатую фразу, но вот: этой вещью Шопен хотел выразить радость встречи с Потоцкой, конец которой был ему ясен с самого первого мгновения. Он радостно волновался. И он концом начал и окончил свой прелюд номер семь.

Меня оспаривают. Но я уже собрал много матерьялов и соберу еще и докажу, что подлинной любовью-идеалом Шопена была Потоцкая... Удовлетворяет вас мое толкование?

— Да, вполне, благодарю вас, профессор.

И мы распрощались.

День сверкал, когда мы вернулись в Пальму.

Барон предложил зайти в яхт-клуб выпить кофе и коньяку. У мола стояла пришвартованная яхта-шхуна, которой я любовался накануне, при входе в гавань. Подойдя к корме я прочел «надраенные» буквы: «Ирэн. Порт приписки Сан-Франциско ». Гордо развевался звездный флаг.

У сходен, на борту, сидел « некто в белом », всего вероятней — капитан очаровательного этого судна.

Я спросил по-английски:

— Кто владелец?

— Вальтер П., —последовал ответ.

От приятного сюрприза меня как бы пошатнуло.

— Где же он?

— С женой и детьми в экскурсии, в северной части острова, на несколько дней.

Оставив записку, по-русски, все еще не уверенный в том, что это мой Вальтер, я вернулся к себе на пароход.

Если это он, то предстояла встреча после ни более ни менее, как тридцатилетней разлуки.

Погрузка шла быстрей, чем я думал. Через три дня мы были готовы к отплытию, а ответа от Вальтера не было.

« Ну », подумал я, « это не мой, стало-быть, Вальтер ».

На четвертый день пары были подняты, машина прогрета и был выкинут сигнал « Н », что обозначает: « Имею на борту лоцмана ».

Капитан подал знак. Я свистнул, отдавая приказ: « Команде стоять по местам! »

Начали отдавать кормовые концы. Как положено старшему офицеру, я стоял на баке (на носу) судна, которое медленно разворачивалось кормой.

Вдруг я услыхал громкий, почти тревожный крик: « Мэйт, мэйт! » и увидел с трудом бегущего, хромающего Вальтера, которого поддерживала под руку поседевшая, но все еще красавица Ирэн.

Грохот лебедки едва позволил мне разобрать слова, которые он прокричал по-русски:

« Как жаль... как жаль! Мы возвращаемся в Нью-Йорк, адрес 01, Пятое авеню. Ради Бога приходите!

Ирэн прикладывала к глазам платочек.

« Приходите, ради Бога, приходите », услышал я еще раз, « нам так нужно поговорить с вами... Какая жалость!... »

Я отдал последний конец. Вальтер и Ирэн махали платочками. Вышли из бухты. Спустили лоцмана. Пробило восемь склянок... Четыре пополудни. Моя вахта.

Великолепная Майорка скрывалась в рубиновом браслете заходившего солнца.

Поднявшись на мостик, я взглянул на проложенный курс. У маяка дал приказ рулевому: лечь на курс...

Мы шли в Гибралтар, а оттуда в Нью-Йорк.

Я думал о Вальтере, об Ирэн. Думал о моей ски-

тальческой жизни, о встречах, о разлуках... Думал, что наступает старость. Надо завести очки, а то глаза стало пощипывать...

Но, может быть, это от соленых брызг?... Или яркого солнца?...

Или от забытых, а теперь возникших в памяти мажорных, радостных звуков « Седьмого Прелюда » Шопена?

АГАТОВЫЙ НОЖ

О странах, в которых мне пришлось побывать и куда я — теперь глубокий старик — никогда больше не попаду, мне, отставному капитану дальнего плавания, напоминают удивительные и редкие предметы, за долгие годы скитаний по морям и океанам всего мира мной собранные и теперь украшающие стены моего рабочего кабинета. Среди них занимает особое место древний жертвенный нож, вывезенный из Северного Чили, где когда-то жили инки, позже перебравшиеся в сухое и знойное Перу. С этим ножом связано воспоминание о драме, участники которой иной раз меня навещают и счастье которых меня радует. О том, как все случилось, я и хочу рассказать простыми и правдивыми словами.

А случилось все так:

В 1946 году я плавал старшим офицером на грузовом пароходе между Нью-Йорком и Вальпарайзо. Проходили через Панамский канал, заходили в порты Эквадора и Перу, забирали груз в Чили. Замечу вскользь, что во время последней мировой войны американский торговый флот получил прозвище « клуба самоубийц ». Это и оттого, что сама служба была тяжелой, и оттого, что сначала немцы топили нас, буквально, как хотели. Широким потоком хлынули тогда в ряды моряков всевозможные искатели приключений и неудачники. Команды кораблей насчитывали в своих рядах и портовых босяков и профессоров, аристократов и деловых людей, пасторов и воров, и политических деятелей, — словом, кого угодно. На редкость интересные попадались там иной раз люди! После войны многие из них остались на кораблях. Море-стихия

требовательная. Оно овладевает душами нераздельней, чем женщины, вино, карты или наркотики... Раз вступив в морскую семью, покинуть ее трудно, почти невозможно.

На моем корабле радиотелеграфистом был молодой студент родом из Бостона. Когда грянула война, он прервал учение, поступил на специальные курсы радиомехаников, окончил их и проплавал всю войну на военных транспортах. По заключении же мира он от дал себе отчет в том, что покорен морем, этой зеленоглазой любовницей, и отбросил мысль о возвращении в Альма Матер.

Высокого роста, атлетического сложения, всегда веселый и улыбающийся, благожелательный и остроумный Гарольд (так его звали) был любимцем команды. Что до романов, то у него их бывало по нескольку сразу и в каждом порту. Честно скажу: не его это была вина: горяча кровь в жилах южно-американок и трудно, двадцати двух лет от роду, не заметить мерцания их глаз, сияния их улыбок. А еще трудней отказаться от нежных объятий!

Добродушно и слегка по-отцовски я порой журил его за его донжуанские склонности, предупреждая, что дело может плохо кончиться. Гарольд только весело улыбался и говорил, что рано или поздно ему придется-таки обосноваться в патриархальном и пуританском Бостоне, чтобы помогать матери, которой становилось все труднее жить одной. Отец Гарольда был убит во время американской высадки в Нормандии. Так что брать от жизни, пока была возможность, чуть ли не больше положенного было, по его мнению, законно и осуждению подлежать не могло. Я махнул рукой и перестал читать нотации...

Нам часто случалось забирать нитрат в одном маленьком приморском городке Северного Чили, где даже и гавани оборудованной не было и приходилось бросать якорь на некотором расстоянии от берега. Груз подвозили на баржах. При тихой погоде все заканчивалось дней за шесть, но если море бывало бурным, то стоянка могла продлиться недели три, а то и месяц. И

тогда-то и начиналась моя « головная боль »: большая часть команды съезжала на берег, где предавалась пьянству, игре в карты и ухаживанию за ночными дивами, что, разумеется, нередко приводило к дракам и поножовщине, кончавшимся более или менее серьезными ранениями. Помню, что два рейса пришлось сделать с « командой выздоравливающих ». После потрясений, перенесенных на суше, некоторые из « тружеников моря » еле-еле могли править вахту, прочие же занятия были им совсем не по силам! Наученный опытом, я вступил в договор с начальником местной полиции, полковником Лопез, в силу которого при самом зарождении скандала буянов арестовывали и заключали в часть до моего востребования. А так как сидеть в Чили под полицейским надзором, в помещении более чем некомфортабельном, неприятно в самой высшей степени, то заинтересованные лица и вели себя на берегу тише воды ниже травы. Но Гарольду все было нипочем! Он вел в этом порту три параллельных романа, ни в одном скандале замешанным не оказался и прелестей чилийских участков не познал.

Случилось мне однажды встретить в тамошнем английском клубе моего знакомого начальника полиции, полковника Лопез, который поведал мне, что в маленьком местном театре выступает молодая танцовщица-индианка, совсем по-особенному грациозная, отмеченная своеобразной красотой. Заметив, что мое любопытство возбуждено, полковник добавил, что танцовщица эта исполняет с редким искусством древние индейские танцы. Возвращаться на корабль было рано, и я решил пойти посмотреть. Маленький, забавно построенный театрик был уже набит. Но для нас, — гостей « именитых », — место все же нашлось. В первом ряду я заметил Гарольда, с которым и обменялся приветственными знаками. Занавес поднялся. На сцене появился доморощенный оркестр, под звуки которого не слишком хорошо натренированные актеры исполнили несколько примитивных скетчей. Потом « оркестр » уступил место трем индейцам, вооруженным никогда

мной до того невиданными музыкальными инструментами, напоминавшими флейты.

— Эти штуки сделаны из человеческих берцовых костей, — пояснил полковник Лопез. — Не удивляйтесь, стало быть, что извлекаемые из них звуки немного странны. Главное, смотрите, как она будет танцевать.

Когда раздались первые « аккорды », мне показалось, что по моим жилам пробежал легкий могильный холодок. Но впечатление это было мимолетным, так как почти тотчас же на сцену вышла индианка, насчет которой я должен сказать, что ни с одним из до того времени мне известных измерений женской красоты ее красота не совпадала. Она была стройна и мускулиста, ее иссиня-черные волосы, разделенные пробором, были гладко зачесаны, ее очень длинные ресницы были все время опущены. Азиатская кровь, без сомнения, в ней сказывалась, но так осторожно и умеренно, чтобы только напомнить о себе в разрезе глаз, в чуть-чуть выдающихся скулах, в складках у прекрасных губ. Убранство ее было в полной гармонии с ее экзотическим обликом: маленькие уши были украшены длинными зелеными серьгами, и несколько нитей ожерелья из того же зеленого камня охватывали не слишком длинную, но и не короткую шею. На пальцах — кольца, на руках — запястья. Когда она начала танцевать, то я, хоть и завороженный ее грацией и умением, все же пытался найти ей общую характеристику. Боюсь, однако, что она лишь очень приблизительно передаст произведенное на меня впечатление. Я различил в этой индианке подчинение какой-то чужой, вне ее находящейся воле, в сочетании с ее собственным, обузданным ею почти страшным темпераментом. И в то же время от нее исходило сияние душевной чистоты. Я подумал, что она должна быть высокого происхождения, о чем сама она могла не только не знать, но и не догадываться... Все зрители были ею буквально обворожены. Гарольд, за которым я украдкой наблюдал, не спускал с нее глаз. Когда танец кончился, в зале водворилась тишина, длившаяся минуты две. Точно все зрители, подчинившись одному чувству, не решались

нарушить еще дрожавшее в пространстве очарование. И только после этой паузы разразились длительные аплодисменты.

И вот тогда мне было дано видеть, как может протянуться от одной души к другой связывающая их нить. Подняв ресницы, индианка стала, слегка улыбаясь, раскланиваться. Я пытался лучше рассмотреть ее глаза (она их показала впервые; во все время танца они были прикрыты опущенными ресницами) и определить их выражение. Это мне не удалось, так как в эти самые секунды ее взгляд встретился с взглядом исступленно аплодировавшего Гарольда. В глубине ее зрачков что-то дрогнуло. Зрительные впечатления стали ненужными: я почувствовал, как между молодыми людьми пробежал некоего рода ток, мгновенно соединивший их существа в одно. И этого мне было больше чем достаточно!

На корабль я вернулся в задумчивости.

Гарольд появился лишь утром. Вид у него был усталый и серьезный. Таким я его раньше никогда не видел. Расспрашивать его я в то утро не решился.

Незадолго до ужина он появился в моей каюте и без обиняков спросил меня, что я думаю об индианке. Вопрос был задан тоном почти деловым, — обычной в таких случаях шутливости не было и в помине. Обдумывая ответ, я, не спеша, раскуривал трубку. Он молча ждал. Наконец, взвесив все хорошенько, я сказал ему, что раз он пришел со мной посоветоваться, так вот ему мой совет: индианка кажется мне существом особенным, что, вероятно, в глубине души почувствовал и он сам. И что в таких условиях, если бы у него возникло намерение затеять легкую интрижку, намерение это лучше оставить. Индейцы ревнивы, мстительны, вспыльчивы. Попытка соблазнить индианку рискует кончиться печально...

Оглянув меня с некоторой надменностью, Гарольд проговорил:

— Ее зовут Мерседес. Она дочь вождя одного из племен, живущих в окрестностях городка. Окончила среднюю школу и хочет стать балериной. Ей девятнадцать лет. Она никогда никого не любила до минувшей

ночи, которую мы провели вместе на берегу океана, в беседе, не нарушив ни одной заповеди. Я ее люблю, и она меня тоже, и ни о какой легкой интрижке я не помышляю.

На это я ему ответил, что раз так, то все как будто в порядке, но что ни ревности, ни мнительности индейской забывать все же не следует.

Недели через две после этого, которые Гарольд провел почти целиком на берегу, мы ушли в Нью-Йорк. В море он снова пришел ко мне в каюту и все с такой же, как и в первый раз, серьезностью сообщил, что намерен бросить плаванье, закончить образование, стать адвокатом и жениться на Мерседес. Я от всей души пожелал ему и успеха в его предприятии и счастья. Он стал усиленно готовиться к возобновлению учения и ни в одном порту не сходил на берег. Зато, за два-три дня до прихода в Т. он начинал беспокоиться, не спал и явственно с нетерпением ожидал встречи со своей Мерседес.

Когда мы пришли в Т. в третий раз, — как раз была суббота, — вся команда тотчас же съехала на берег. Закончив формальности, мы с капитаном остались на корабле вдвоем. Около полуночи я вдруг услыхал топот ног и увидел полковника Лопез, которого сопровождали два матроса, оба бледные и взволнованные. Тотчас же мне сказали, что Гарольд смертельно ранен, отвезен в больницу и что мое присутствие там необходимо, так как он почти безнадежен.

— Кто его ранил? — спросил я.

— Мерседес, — последовал ответ.

Не вступая ни в какие разговоры и расспросы, я последовал за полковником Лопез в небольшой, но довольно прилично оборудованный госпиталь, где, как мне было известно, служили два молодых врача. В приемном покое лежал Гарольд. Он был в забытье, на губах его клубилась розовая пена, он еле дышал и хрипел.

На мой вопрос один из врачей кратко ответил, что Гарольд получил удар в спину агатовым ножом. Такими ножами пользовались древние инки при челове-

ческих жертвоприношениях. Нож пронзил легкое, затронул сердце. Доктор считал рану чрезвычайно тяжелой, но все же сказал, что, в теории, спасти раненого можно, добавив тут же, что опыта у него недостаточно и что на столь сложную и деликатную операцию он решиться не может. Единственный выход — это доставить Гарольда в Вальпарайзо на аэроплане. Но надо спешить. Если не последует хирургического вмешательства, он не переживет ночи.

Аэроплана до утра не было.

Мы молча переглянулись. Наступившую тишину нарушал только хрип раненого. И когда во мне уже шевельнулась мысль, что такова, стало быть, судьба Гарольда и что ничего другого, как с нею примириться, сделать нельзя, полковник Лопез размеренно и внешне спокойно проговорил:

— Мне доложили, что сегодня утром приехал сюда из Арики один довольно странный господин, за которым я в силу моих обязанностей всегда устанавливаю некоторое наблюдение. Это панамский подданный, говорящий на множестве языков. Уже много лет он возится с индейцами в Перу и в Чили. Он — миссионер и хирург, и я слышал, что в самых глухих местах, в первобытных условиях, он производил сложные операции. Быть может, если мы к нему обратимся, Гарольд будет спасен? И не единственный ли это шанс?

Тотчас же мы помчались в отель, разбудили миссионера-хирурга, рассказали ему, в чем дело, и попросили помощи. Осторожно и твердо он предупредил нас, что за удачный исход не ручается, но сделает все от него зависящее. Собрав инструменты, он, как был, — в халате и туфлях, последовал за нами в госпиталь, осмотрел раненого, распорядился перенести его в операционную и попросил подождать. В качестве непосредственного начальника раненого я расписался в книге, дав разрешение на операцию, тем самым приняв на себя моральную ответственность перед матерью Гарольда. Пока мы ожидали, Лопез рассказал мне, как все произошло: в десять часов вечера, в портовом баре, Гарольд танцевал с давно, еще до встречи с Мерседес, ему знакомой «жрицей любви», которая, танцуя,

слишком к нему прижималась и пыталась поцеловать. Неожиданно в бар вошла Мерседес. Увидав танцующих, она незаметно приблизилась к Гарольду и без малейшего колебания вонзила ему в спину агатовый нож. Тут же она была арестована и отправлена в часть. Ни на один из заданных ей вопросов она не ответила. По мнению Лопеза, произошло недоразумение, повлекшее за собой вспышку индейской ревности.

Лопез давно уже кончил свой рассказ, а двери операционной все еще оставались запертыми. Мы нервно курили, перекидываясь незначительными замечаниями. Наконец появился в сопровождении двух молодых докторов хирург-миссионер. Все трое были бледны и казались изнеможенными. Хирург сказал, что операция прошла удачно и что, если не будет осложнений, пациент, вероятно, выживет. Все же нужно подождать еще три дня, чтобы была полная уверенность. Пока хирург-миссионер все это объяснял, я хорошенько к нему присмотрелся. Это был высокого роста, поджарый, крепкого сложения шестидесятилетний мужчина. Но если в общей осанке нельзя было найти ничего неопределенного, то в лице его я рассмотрел некоторую, так сказать, смешанность. Без сомнения, оно отражало большую силу воли. Почему-то, однако, возникало сомнение в том, что воля эта, так сказать, безупречна. Иное выражение глаз, иная морщинка у рта, иное движение челюсти говорили о жестокости, может быть о порочности. И вдруг глаза загорались мягким светом... Такие лица бывают иногда у приговоренных к смерти, которым может казаться, что казнь будет не больше чем искуплением. Сверх того, лицо это было мне знакомо. Но тщетно я напрягал память: никаких указаний я в ней не находил. Мы поблагодарили миссионера за операцию, спросили, сколько должны (от гонорара он с улыбкой отказался), узнали, что он снова будет в госпитале в полдень, довезли его до гостиницы... Я вернулся на корабль, доложил о происшедшем капитану, внес все в судовой журнал и лег. Но заснуть я не мог. Ничто меня теперь не отвлекало, и я всячески старался припомнить, где и когда я видел этого хирурга-миссио-

нера. В том, что я его когда-то видел, я больше не сомневался.

И вдруг, за утренним завтраком, пришло просветление! Я даже вздрогнул, точно мне кто-то дал толчок...

Ну да, конечно, это он, капитан одного южно-американского корабля, зверь, пьяница, развратник, непревзойденный мастер самой богомерзкой ругани, контрабандист, занимавшийся перевозкой оружия для всяких повстанцев и революционеров, белых рабынь, запрещенных в те времена спиртных напитков и всего, вообще, что приносило деньги! Команду он набирал среди самого низшего слоя пропойного портового босячества. Но попадали к нему в лапы и молодые, неопытные моряки, по большей части — иностранцы, среди которых оказался и я. Вступив на корабль за три часа до отхода, я не успел, разумеется, разобрать, в чем дело. Зато в открытом море мне представился случай на деле проверить рассказы старых русских моряков о страшных условиях работы на южно-американских судах, о неимоверной жестокости и полнейшем произволе. Вечно пьяный капитан этот, с двумя револьверами в карманах, живший на корабле одновременно с тремя женщинами, внесенными в списки команды как прислужницы, наводил ужас на всех, не стеснялся, под горячую руку, дать затрещину и всегда отвратительно ругался. И всего один поступок я мог поставить ему в заслугу: хотя и сильно пьяный, он смог все же привести в порядок головную рану одного из матросов, которого потом сам выходил. По-русски он говорил свободно, но с несколько странным произношением. Както он ударил и меня. Пусть даже я сделал ошибку, — все равно, перенести я этого не мог и при первой же возможности бежал с корабля, даже не забрав моего мизерного жалованья.

И хоть ярки были теперь мои воспоминания, я все же допускал, что налицо только совпадение. И тогда-то в памяти моей выплыла одна маленькая подробность, с помощью которой я мог найти доказательство: на руке капитана была татуировка, — изображение странного флага. Если этот же флаг находится и теперь на ру-

ке хирурга-миссионера, то никакое сомнение не позволено!

В госпитале, куда я приехал к двенадцати часам, дежурная сестра заверила меня, что все протекает хорошо, что доктора как раз в комнате Гарольда и скоро должны выйти. Так оно и было. Первым появился хирург-миссионер. Я тотчас же взглянул на его руку: татуировка была на месте!

Он подтвердил, что ближайшие три дня покажут, как все сложится, и я пригласил докторов позавтракать со мной в английском клубе. За столом мы сначала говорили преимущественно о здоровье Гарольда, но позже, слегка подогретый вином, я еще раз взглянул на татуировку и, сменив испанский язык на русский, спросил:

— Скажите, капитан, с каких пор вы стали доктором?

Он слегка изменился в лице и по-русски же ответил вопросом на вопрос:

— А вы откуда знаете, что я был капитаном?

— Я у вас плавал матросом.

— Когда и где?

— Под одним из южно-американских флагов, на « Северной Звезде ». В 1925 году я бежал с вашего корабля в Гаване.

Он закрыл глаза. На лице его отразилось внутреннее мучение.

— Так вы, значит, знаете, каким я был раньше? — почти прошептал он.

— Знаю.

Он тяжко вздохнул и произнес:

— Я вас не помню. Но как бы там ни было, я рад, что вы, мой русский соплаватель, решились, несмотря на все, напомнить мне о себе. И рад слышать русский язык. Я мог бы попробовать рассказать вам, как все случилось, и уверен, что вы меня поймете. Но не здесь, в клубе, тут обстановка для такого рассказа неподходящая. Если хотите, пойдем ко мне в гостиницу и я вам расскажу, как я стал моряком, почему стал *таким* моряком, как бросил море, как сделался миссионером. Конечно, рассказ мой будет несколько необыч-

ным, может быть даже просто странным. Но я уверен, что вы все поймете.

Хотя он говорил свободно, не делая никаких ошибок, я все же уловил в его речи некоторое незнакомое мне произношение. Недоумение мое рассеялось после первых же слов его рассказа.

— Я родился в Либаве, в 1892 году, — начал он, едва мы сели в кресла. — Отец мой был русский, помор, владелец нескольких парусно-моторных шхун, а мать, — его вторая жена, — моложе его больше чем вдвое, была литовкой. От первого брака у отца был сын, — мой, стало быть, сводный брат. Ему было как раз семнадцать лет, когда отец женился вторично на двадцатидвухлетней красивой девушке совсем скромного происхождения. Но все это я с точностью узнал позже. И если с этого начинаю, то только для того, чтобы мое повествование было как можно более ясным.

Мое детство было невеселым, даже суровым. Отец меня не любил. Мой старший брат был капитаном на одной из шхун отца и дома появлялся лишь изредка и всегда ненадолго. Даже теперь я о нем вспоминаю с ужасом. Это оттого, что уже тогда, в детстве, мне казалось, что он меня ненавидит. Мать меня любила, но ласкала и баловала украдкой, пугливо, только когда отца не бывало дома. По счастью у нас были хорошие соседи: доктор с женой и девочкой моего возраста, Марией, с которой я подружился чуть ли не семи лет от роду. Большую часть времени я проводил не дома, а у доктора, и само собой вышло, что моей мечтой очень рано стало сделаться доктором и жениться на Марии, которую я мысленно уже полагал за невесту. Должен добавить, что родители Марии любили меня как сына и что мне было трудно после ежедневного визита к ним возвращаться домой, где было сумрачно, где меня ждал молчаливый и замкнутый отец и всегда испуганная мать. Я учился в той же школе, что и Мария. Когда мне исполнилось десять лет, разбогатевший к тому времени отец определил меня в гимназию. Каждое лето мне приходилось по его приказанию плавать юнгой на шхуне, которой командовал брат. Море я возненавидел.

Оно разлучало меня с Марией, оно не имело ничего общего с притягивавшей меня медициной. К тому же брат всячески меня притеснял, бранил и, иной раз, просто бил. Но за семь лет таких плаваний я приобрел такой опыт, что брат назначил меня боцманом. Не знал я и не подозревал, как пригодится мне эта морская практика! Но вот аттестат зрелости у меня в кармане, так же как и у Марии. Я подал прошение о приеме на медицинский факультет Юрьевского университета и, так как я окончил гимназию с золотой медалью, меня приняли тотчас же. Мария к этому времени из миловидной девочки превратилась в красивую девушку. Весь ее облик был « северным »: серые, ровно поблескивающие глаза, мягкий разрез рта, две толстых русых косы, приветливая улыбка, ласковый голос... В ее присутствии все становилось проще и на душе было легко...

Хирург на несколько мгновений замолк. Сравнил ли он мысленно русскую природу с тем, что можно было видеть сейчас в окно: яркое, синее небо, пышная растительность? Подумал ли он о суровых, почти черных скалах Чили, раскаленных солнцем, но омываемых холодным течением Гумбольдта, — о пейзаже, не только не схожем с балтийскими берегами, но точно им противупоставленном? Не промелькнула ли перед его умственным взором вереница индейцев, индианок, испанцев, мексиканцев, всяких, вообще, представителей и представительниц смешанного, обожженного тропическими ветрами, перегретого беспощадным климатом населения?

И на фоне этого вдруг появившееся видение, сначала — « гимназисточки в беленьком фартучке » (как где-то, кем-то, когда-то было написано) и потом — нежной девушки с двумя русыми косами, с серыми глазами, с мягкой, приветливой улыбкой...

— О том, что мы друг друга любили, вы, конечно, уже догадались, — продолжал миссионер-хирург, — а что до брака, то мы об этом даже не говорили ,как не говорят о том, что само по себе подразумевается. Надо

было получить диплом, и это было ближайшей целью. Для того, чтобы учиться нам пришлось расстаться. Я поехал в Юрьев, Мария поступила на Бестужевские курсы в Петербурге. Древний университет с, отчасти, немецкой профессурой, прекрасно поставленное преподавание, студенческие, на германский лад устроенные корпорации, — все это мне пришлось очень по душе. Я с головой ушел в работу. Будучи уже студентом третьего курса, я приехал, как каждый год, на Рождество в Либаву. Приехала из Петербурга и Мария. Необыкновенно ей шла, помню, купленная в столице меховая шапочка! И вообще в ней произошла со времени летних каникул перемена: точно бы она — с некоторой застенчивостью — но все же отдала себе точный отчет в своей привлекательности, которой скромно радовалась.

Конечно, меня пригласили ужинать. С каждой минутой все больше и больше влюбленный, я к концу этого ужина утратил отчасти самообладание и тут же, за столом, просил руки Марии. Родители, смущенно и радостно между собой переглянувшись, дали согласие. Некоторое замешательство, разумеется, возникло, но в общем все сложилось просто и естественно. После ужина доктор позвал меня к себе в кабинет, усадил в кресло, предложил рюмку наливки и долго после этого молчал. Решившись, наконец, заговорить, он прежде всего заверил меня, что оба они, родители Марии, очень рады видеть меня зятем и что, в сущности, я им стал родным уже с самых ранних моих лет. Лучшего мужа для Марии они пожелать не могут. Но для брака есть одно непременное условие, а именно, что я должен показать себя мужчиной и достойным быть его, доктора, коллегой. А для этого, сказал он, нужно иметь холодную голову, все рационализировать, не поддаваться импульсу и страсти. Слегка удивленный, я ничего не отвечал. Тогда старый доктор спросил меня, знаю ли тайну моего рождения. Еще больше удивленный, я на этот раз пробормотал что-то невнятное. Он же очень серьезно, почти строго, сказал, что если открытие этого секрета не поколеблет моего решения жениться на Марии, то после брака нам непременно придется поселиться в другом городе. Я ответил, что жить с Марией я мо-

гу хотя бы на краю света, но что прошу мне все объяснить. В чем дело? Какая тайна рождения?

« Ты — сын твоего брата, и твой отец — твой дед, — с усилием выговорил доктор, — ну а мать... это твоя мать! »

Не поняв, я переспросил доктора и узнал, что отец мой, овдовев, занятый делами, долго не хотел жениться. Когда его сыну от первого брака исполнилось семнадцать лет, отец поехал по делам в Мемель и влюбился там в девушку — литовку двадцати двух лет, красивую и скромную, из бедной семьи. Родители ее, терпевшие безысходную нужду, не захотели упустить случая выдать дочь замуж за богатого старика. И они буквально заставили ее поддаться его ухаживаниям и согласиться на брак. Она перешла из католичества в православие, и свадьбу сыграли по всем правилам.

Надо отметить здесь, что отца на его судах ненавидели за его бешеный нрав, за рукоприкладство, за то, что он платил мизерное жалованье и плохо кормил, был, так сказать, бессовестным эксплуататором, а главное за то, что он был русский, а команды состояли из эстонцев и латышей. Как раз за неделю до свадьбы отец дал расчет всем матросам одной из шхун. Так как времена были тяжелые, царила безработица, то уволенные попали в трудное положение и, затаив злобу, решили при первой же возможности отомстить отцу. Случай скоро представился. Когда новобрачные вернулись из церкви домой, где собралось много приглашенных, где готовились праздновать и поздравлять, раздался крик: « Пожар! Пожар! » Горел сарай, горела конюшня. Отец выбежал во двор, где был сразу же окружен шайкой оборванцев, избивших его так, что вместо брачного ложа ему пришлось лечь на больничную койку и четыре месяца на ней проваляться! Когда же, выздоровев, он вернулся домой, то узнал, что его молодая жена беременна и что виновник этого — его же собственный сын... И сына и жену он долго бил, едва их не изувечив. Но сору из избы не вынес. Поморская гордость заставила его все скрыть. Он выписал двух старых повивальных бабок, приставил их к жене и строго-настрого приказал не выпускать ее из дому ни до родов, ни

после. Избитого же сына, — тоже втайне, — лечил все мне теперь рассказавший сосед-доктор, отец моей невесты.

Поведав мне все это, он без всякого колебания добавил, что ему безразлично, кто мой отец, что он хочет видеть меня своим зятем, но что не поставить меня в известность о том, как все произошло, он не счел себя в праве. Мария обо всем этом ничего не знает. Он добавил, что как ни тщательно оберегалась тайна, есть все же люди, которым кое-что известно. То ли сказала лишнее уволенная прислуга, то ли сделали сопоставления в аптеке, где с недостаточной осторожностью могли купить то или иное. Пока, опасаясь репрессий отца, человека богатого и неразборчивого в средствах, все знающие лишнее держат язык за зубами. Но со временем языки развяжутся, и тогда насмешкам не будет конца! Поэтому он, старый доктор, и думает, что нам с Марией надо непременно поселиться в каком-нибудь другом, достаточно удаленном городе...

Хирург-миссионер довольно долго молчал.

— Как передать вам мое тогдашнее состояние? — продолжал он. — Теперь, через тридцать три года, после бурной и отвратительной жизни, передо мной лишь общая картина и подробностей я воспроизвести не в состоянии. Могу все же сказать, что я слушал доктора, стараясь не подать вида, что каждое его слово меня мучит. На самом деле мне казалось, что в его глазах я не что иное, как некий располагающий к милосердию полууродец, недотыкомка, существо, пригодное для того, чтобы фигурировать в паноптикуме. Я чувствовал, что мое « я » убито, что мои нормальные человеческие права стерты в порошок. Я почти внутренне усмехался, перебирая возможные сопоставления: сын брата, внук отца, который в то же время приходится мне дедом... Даже для матери моей я мог считаться и сыном и внуком!

Я встал, поблагодарил доктора, прошел в столовую и, сославшись на внезапную головную боль, вышел на морозный воздух. Стояла светлая рождественская ночь. Я посмотрел на домик, в котором провел столько сча-

стливых лет, где думал найти окончательное счастье, и зашагал прочь, к гавани. Я уже знал, что видел Марию в последний раз. Машинально добрел я до парохода, на котором жил мой брат. Он стоял пришвартованный у пристани, скованный льдом. Мне было нужно еще какое-то, последнее подтверждение, нечто вроде неопровержимого свидетельского показания, мне нужен был почти приговор. Я точно бы еще не совсем верил. Брат сидел в своей капитанской каюте один за столом, уже порядочно пьяный. Когда я вошел, он оглянул меня со злобой и осведомился о цели моего визита в столь неурочный час. Я молча сел, умышленно медля с ответом. Я чувствовал, что брата, если хотите — отца, вижу тоже в последний раз. Он повторил свой вопрос. Я сказал обо всем, что только что узнал, и спросил, правда ли это. Подленько улыбаясь, стараясь скрыть какое-то садистское удовлетворение, он сказал, что это правда. И пояснил, что его вины в этом нет. Что мать сама в него влюбилась и совратила его с пути истинного. И еще сострил: я, мол, должен быть рад тому, что у меня два отца, не всякий может этим похвастаться! Я попробовал его пристыдить. Он что-то крикнул, что не мне, мальчишке, выродку, его учить. Между нами завязалась драка. Он был полупьяный, я же владел каждым своим мускулом и, к тому же, знал приемы бокса. Не помню, какой именно я нанес ему удар, но только он потерял равновесие, упал и стукнулся, падая, об угол стола как раз тем местом виска, которое называется memento mori..

Хирург отпил глоток вина.

— Все шло подряд, все было одно с другим сковано, — проговорил он. — Потеря Марии, потеря семьи, я — убийца отца, или брата? Как звенья одной цепи. И дальше — звенья все той же цепи. Я бежал, как был, в студенческой форме, в Гамбург. Там, в знаменитом портовом квартале купил фальшивый морской паспорт и все, что было на мне, уничтожил, сохранив на память только студенческий матрикул. А на левой руке вытатуировал флаг славного Юрьевского Университета! Я сознательно вошел в ряды морского лумпен-пролетариата. Я был готов пойти на что угодно. Единственное,

что я себе воспретил безусловно, — это возвращение в Россию. Она, как и Мария, была для меня утеряна раз навсегда. Неделей позже, в каком-то самого низкого разбора портовом притоне, пьяный, усталый, озлобленный, я сделал еще один шаг по избранному мною пути. На мгновение я себе представил, что совсем еще недавно был студентом-медиком прославленного университета, блестяще преуспевал в науках, любил очаровательную девушку и был ею любим. Вся мне открывалась жизнь! И вдруг, не по моей вине, она от меня отвернулась. Ничего плохого я не сделал. Чем объяснить этот несуразный произвол, какое ему найти оправдание? Сознаюсь, что искал я недолго. Точно бы мне кто-то подсказал, что самой жизни надо мстить, ей самой во всех ее проявлениях. Еще через неделю я уходил на подозрительном южно-американском пароходе в составе команды, набранной среди самого отчаянного международного сброда: было нас 24 человека, говоривших на 19 языках! И так длилось... Я плавал на судах, которые перевозили всевозможную контрабанду, грузы мертвые и живые, китайцев, пробиравшихся нелегально в Соединенные Штаты, белых рабынь, спиртные напитки, опиум, оружие...

В море — тяжкая работа, неимоверная грубость, отчаянная озлобленность. На берегу — пьянство, невообразимые женщины, побоища, сквернословие, карты, наркотики. Истребляя себя, я испытывал удовлетворение: не мстил ли я, в первую очередь, своей жизни? Очень скоро я стал оформленным преступником: ни любви, ни уважения я ни к кому не питал. Удовлетворяло меня только причинить другим боль и зло. Даже убийство, — если я мог совершить его в условиях безопасности, — меня не страшило. Все человеческое во мне отмирало, я превращался в чудовище. Одну я сохранил, однако, привязанность, почти страсть: это была медицина. Я покупал журналы, книги, учебники и, когда не был пьян, читал их и перечитывал, стараясь все понять и все запомнить. Иной раз оказывал пострадавшим помощь, но милосердия в этом не было, это было только практическим упражнением. Потом, ко всем моим искусственно привитым и упорно мной взращи-

ваемым порокам присоединилось желание разбогатеть. Я задумал собрать сколько смогу денег. Уехать в Китай. Стать капитаном пиратского судна. Завести на борту гарем и, с помощью алкоголя и опиума, сойти в адский огонь. Годы, между тем, шли. Я был уже панамским подданным и капитаном. В 1920 году представился случай к обогащению: в Америке ввели сухой закон. Ввозить в Соединенные Штаты виски оказалось необычайно выгодным делом, и я зарабатывал поистине огромные деньги! Чем больше их у меня было, тем больше разгорался мой к ним аппетит. Забыв про Китай, я завел гарем на корабле, жил одновременно с тремя женщинами, устраивая с ними невообразимые оргии... Вот вы, наверно, как раз тогда и были у меня матросом.

— Да. Но только один рейс. Очень уж у вас оказалась тяжелая рука .

— Надеюсь, вы меня простили? — спросил он попросту.

Признаюсь, что и прямота вопроса и прозвучавшая в его голосе искренность меня ошеломили. Не зная, что сказать, я молча махнул рукой: « Кто, мол, прошлое помянет... »

— Так все и шло до отмены сухого режима, — продолжал он, — когда дела мои сразу пошли хуже. Между гангстерами, с которыми я был связан, началась « война », в которой я, в той или иной мере, должен был принять участие, так как пароход, на котором я теперь возил бананы в Бостон, принадлежал и мне. Однажды, в каком-то портовом баре на нашу шайку напала шайка конкурентов и во время драки кто-то ударил меня каким-то тяжелым предметом по голове, и я потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что лежу в больничной палате. Подошла сестра и тихонько осведомилась о том, как я себя чувствую. Я что-то ответил, и как раз мой взгляд упал на календарь, который показывал 14 февраля. А пришли мы в Бостон 1-го! Поборов недоумение, преодолев стоявший в голове шум, я спросил сестру, неужели я тут лежу две недели. Она ответила утвердительно. Я попытался привести мысли в поря-

док, но снова потерял сознание. А когда опять пришел в себя, то и произошло то, что перевернуло мою жизнь. Больше, чем перевернуло: вывернуло ее, но не наизнанку, а с изнанки на лицо, сделало меня тем человеком, которым я был до побега из России, еще что-то мне добавив. Вы, вероятно, слышали о Gray Ladies (Дамы в сером)? Это женщины и девушки, принадлежащие, по большей части, к привиллегированным классам общества, которые могут себе позволить роскошь посвящать несколько часов в день работе в госпиталях, безвозмездно, сиделками, секретаршами, а то и просто собеседницами, поддерживающими мораль больных. Когда я увидел лицо, заглянул в глаза, услыхал голос той, которая ко мне приблизилась в то утро, то точно пелена какая-то, отделявшая меня от мира, упала, или исчезла, или раздвинулась — не знаю, как лучше выразиться. Мне показалось, что передо мной некоего рода совершенное существо, и внезапно от этого присутствия, или явления, мне стало неимоверно стыдно, стало непереносимым сознание моей порочности, моей развращенности. Закрыв лицо руками, я, впервые за долгие годы, разрыдался. Участливо склонившись ко мне, она отерла влажным полотенцем мою каторжную физиономию. Она что-то говорила и, даже не понимая сущности ее слов, я понимал, что ничего более простого и непосредственного никто сказать мне не может. Когда же, слегка успокоившись, я снова взглянул на нее, то мое первое впечатление « совершенства » получило, если можно так выразиться, земные измерения. Главное, конечно, было голубое сияние глаз. Но и золотистые кудри, и рост, и сложение, но и руки, но и движения, и простой серый костюм — словом все черты ее облика казались как раз теми единственными, которых я ждал, которые мне были нужны. Женщины Новой Англии в Северной Америке хранят в себе эти нигде не повторяющиеся сочетания, они одни ими располагают. Еще не зная ее, я уже знал, что она добра, что она умна, что она обаятельна, что она может быть в одно и то же время и женой, и сестрой, и любовницей, и лучшим, все понимающим, верным из верных другом. Я впадаю в лиризм, разумеется, когда говорю об этом,

но вот не могу удержаться: в ней на мой взгляд, соединились и Пенелопа, и мать Гракхов, и Маргарита, и Мария Магдалина, и женщины-пилигримки, впервые высадившиеся в Америке и делившие с мужьями все трудности, все опасности, таившиеся в неведомой, тогда еще враждебной стране. Пока она, присев у кровати, что-то тихо говорила и на меня смотрела, я оживал: ее присутствие меня словно вдохновляло.

Вскоре был обход. Старший врач, осмотрев меня и выслушав рапорт помощника, сказал, что мне, вероятно, можно будет выписаться недели через две-три. Потом, просидев еще минут двадцать, ушла и Gray Lady, сказав, что вернется завтра. После ее ухода со мной сделался припадок: я рыдал, стонал, кажется, — молился. Дежурная сестра вспрыснула мне морфий, и только тогда я смог уснуть. На другой день я ждал мое « чудесное явление в сером » с самого утра. Но красавица появилась только в три часа. На щеках ее был легкий румянец, — мороз, хотя и не очень сильный, все же еще стоял, — и в руке она держала подснежник, для меня купленный, для меня принесенный подснежник! Я совершенно разволновался, хотел « все » рассказать, не находил слов, произносил ничего не значущие фразы... Она просила меня не нервничать, говорила, что все будет хорошо, что я не совсем еще поправился, успокаивала, обнадеживала, и ее присутствие было самым целительным из бальзамов. Потом она появлялась ежедневно. И я не могу даже сказать, что я был в нее влюблен, нет — я просто ее боготворил, ждал ее прихода, как парализованный может ждать погружения в целительный источник...А через некоторое время, поборов опасения, я рассказал ей про себя решительно все, не жалея красок. Внимательно выслушав, она провела рукой мне по лбу и попросту сказала, что я сам провел между прошлым и будущим такую черту, что возврата к прошлому мне нет и что впереди мне открываются все возможности. Точно бы считая себя обязанной, она рассказала тогда и о себе. Но не многое. Я узнал, что она происходит из старинной бостонской семьи, что окончила университет, была увлечена какими-то социальными идеями, вращалась в либеральных кру-

гах. Что вышла замуж без особенной любви, что у нее родился сын, что ее муж поступил добровольцем в интернациональную бригаду имени Линкольна, сражавшуюся против генерала Франко, и пропал без вести. И хотя много шансов за то, что он убит, она все-таки его ждет и воспитывает сына, а свободное время посвящает госпиталям. Ничего, повторяю, особенного она про себя не рассказала. Но может быть именно оттого, что все было так просто, во мне загорелась какая-то надежда. Не имеем ли мы право на мечту, на грезу? — улыбнулся хирург-миссионер.

И он продолжал:

— Я вышел из госпиталя совсем другим человеком и встречался с ней ежедневно. С преступной средой все было порвано. Все мне казалось иным. Все было красочно, мягко, все складывалось как узоры калейдоскопа, центром которых всегда оставалось все то же « чудесное явление ».

В 1938 году мне было 46 лет, и она была много моложе меня. У меня было и в Соединенных Штатах и в Панаме много денег. И при этих условиях вопрос о том, что мне, с моими переживаниями так низко павшего и вернувшегося к жизни человека, делать, вставал с особенной остротой. Я уже знал к этому времени, что не только преклоняюсь перед этой женщиной, как перед святыней, но что и влюблен в нее и люблю ее. И что, если ее присутствие возле меня окажется возможным, жизнь мой станет прекрасной. Но преступное прошлое, хоть и отделенное твердой чертой, было все же моим прошлым, и она о нем от меня знала...

Все же в одну из встреч, набравшись храбрости, глотая и путая слова, я признался в любви, сказав, что только благодаря ей снова стал человеком, что зверь во мне умер и что, если ее муж действительно убит, я прошу ее стать моей женой. В ответ она тихонько сжала мою руку, робко улыбнулась и, по-пуритански краснея, сказала, что ко мне привязалась и даже немного меня любит, но, пока нет точных сведений о судьбе мужа, точно сказать ничего не может. Потом посоветовала уехать в Панаму и там ждать ответа. Что в Босто-

не ей трудно быть со мной, что искушения ей знакомы точно так же, как и всякой другой женщине.

Малейшая ее воля была для меня законом, и я поступил точно так, как она хотела. Серым и дождливым днем я отбыл на английском пароходе, уже не в качестве капитана, а простым пассажиром, в Кристобаль. Шесть долгих месяцев ждал я в Панаме известий. И наконец получил краткое сообщение о том, что муж, раненый, был спрятан испанскими крестьянами и, по окончании войны, как американский подданный был выслан в Бостон. Что он по-прежнему ее любит и любит сына. Что он много перенес, что она не может его бросить и остается с ним. Что просит не забывать ее, но и не писать ей. И подпись: « As always Alice ».

Печально было на душе. Но лишний раз я смог убедиться, что она — самый верный, самый надежный из всех людей, которых мне пришлось встречать, что она именно такая, какою я себе ее представлял. А так как волю ее я по-прежнему полагал за закон, то и нашел в подчинении ей некоторое утешение.

Вставал вопрос: что же делать дальше?

О возвращении к морю не могло быть и речи.

Я стал перебирать в памяти свои преступления. И хотя никогда не был человеком религиозным, стал задумываться об искуплении. Не найду ли я в том, чтобы взвалить себе на плечи непрерывное моральное усилие, в постоянной душевной бдительности, в ежесекундном самоконтроле то, чего мне недоставало, не будет ли это предназначенным завершением того, что я испытал в госпитале, когда после двух недель беспамятства я внезапно ощутил, что спала пелена, затуманивавшая мой внутренний взор, и я почувствовал себя другим? И, в естественном порядке, на основании моего собственного опыта, я обратился в сторону индейцев. Не обе ли, Северная и Южная, Америки принадлежат им по праву первородства? В Северной они почти целиком уничтожены. В Южной их остается в три раза больше, чем потомков их белых поработителей. Несмотря на численное преобладание, они подвергаются просто-таки ужасной эксплуатации, в особенности —

на северо-западном побережье. Детская смертность там огромная. Питание совершенно недостаточное. Трудолюбивые от природы, эти гордые потомки инков вынуждены для поддержания бодрости все время жевать листья коки, растения, содержащего кокаин. А в глухих местах по сей день сохранилась работорговля: можно купить мужчину, женщину, ребенка. Мне стало известно, что среди этого населения жил, по собственному почину, некий американец, который учил индейцев грамоте, ремеслам, их же собственным, оставленным втуне искусствам. Правительство смотрело на эту деятельность довольно косо, но это мне не помешало предложить американцу мои услуги. Он тотчас же заявил, что больше всего ему нужен доктор: на местах никакого лечения нет, а о хирургии вообще никто даже и не слышал. Я вернулся тогда в один из тамошних городов, где находится старинный университет, в котором, сколько мне было известно, профессором состоял русский эмигрант, бывший приват-доцент Юрьевского Университета. Он меня узнал. Помог мне и сохраненный мною во время всех перипетий студенческий матрикул. Я заявил о моем желании закончить медицинское образование, мне дали шесть месяцев на подготовку, я сдал вступительные экзамены, был принят и через три года, пятидесяти лет от роду, стал дипломированным хирургом. И тогда начал работу среди индейцев, на свои личные средства, которую и продолжаю вести по сегодняшний день.

Он помолчал и с улыбкой добавил:

— Иной раз я самому себе напоминаю богача, составившего состояние на несчастье своих ближних и пустившегося в филантропию. Все же я доволен результатами моей работы, и если когда-либо состоится Страшный Суд, то не совсем исключено, что перетянет та чаша весов, на которую положат мою работу среди обездоленных, а не та, на которой будут копошиться все содеянные мной до встречи с Alice мерзости. Но это только надежда. А что до вашего пациента, то он будет жить наверно. Итак, до завтра!

Вечером я снова был в английском клубе, где меня ждал полковник Лопез. Идя по сразу ставшим темными улицам (сумерек на этих широтах не бывает), я думал о странной исповеди, мной выслушанной, и еще о том, что до необыкновенности разнились облики свирепого, из грубых грубого капитана и мягкого хирурга. Но не неисповедимы ли пути Господни, не дивны ли дела Его?

Я рассказал Лопезу о состоянии Гарольда. В свою очередь, Лопез передал мне, что к утру Мерседес решила сознаться. А произошло все так: прислуга Мерседес, индианка, еле-еле говорящая по-испански, была дома одна. Мерседес куда-то вышла. В это время пришел Гарольд. На его вопрос, где находится молодая танцовщица, прислуга ответила: « No mas aki » (ее здесь больше нет) и захлопнула дверь. Озадаченный Гарольд постоял, подумал и пошел в город, где завернул в популярный бар. Там он выпил рюмку, выпил две, три... и тут появилась его бывшая подруга, которая и пригласила его потанцевать. Он не отказался. Танцуя, она стала его целовать. Как раз в это время подоспела Мерседес, которая, увидав, как Гарольда целуют, и вонзила ему в спину агатовый нож.

— Нервный народ индейцы, — прибавил Лопез, — с оружием, огнестрельным или холодным, они никогда не расстаются. А Мерседес — красавица, которой все время нужно быть настороже, тем более. Всегда у нее под рукой был этот жертвенный нож и вот пригодился же! Ваш радиотелеграфист даже не знает, кто его ранил.

— Что же теперь угрожает Мерседес?

— До прибытия выездной сессии суда она будет заключена под стражу. А что решит суд, как знать вперед? Если Гарольд выживет, то дело будет, конечно, менее важным. Очень многое зависит от защитника. Но и в лучшем случае три-пять лет тюрьмы надо считать обеспеченными.

Тот, кто прозвал Великий Океан Тихим, или не знал, в чем дело, или был большим остряком. Океан этот, действительно, по большей части Тихий. Но, зато,

когда разозлится! Мать честная! Волна, ветер в тот вечер усиливались не с каждой минутой, а с каждой секундой. Насилу добрался я до корабля. Пришлось отдать второй якорь и держать машину наготове. Целую неделю нас так трепало, что о поездке на берег не могло быть и речи. Наконец погода угомонилась, и я поспешил навестить нашего раненого. Вошел к нему в комнату и остолбенел! На постели еще бледного, но уже заметно окрепшего Гарольда сидела... Мерседес!

Меня даже зло взяло.

— В чем дело? Как вы себя чувствуете? И почему убийца с вами? — спросил я по-английски.

— О! Я чувствую себя хорошо! А Мерседес пока еще не убийца. Я ведь жив, не так ли? — усмехнулся Гарольд.

— Ничего не понимаю. Как она попала сюда? Кто ее выпустил на свободу?

— Я, — невинно проговорил Гарольд.

— То есть как-вы?

— Когда я пришел в себя, появился ваш друг, полицейский полковник, снять показания. Только тогда я узнал, кто меня ранил. Вскользь полковник мне сказал о том, какое ждет Мерседес наказание. Но я заявил, что хочу прекратить дело, прошу выпустить ее на свободу и все объяснить обыкновенной поножовщиной под пьяную руку между моряками. И вся недолга...

— Это почему же?

— Потому что я люблю Мерседес, и не в шутку, а всерьез. А свою любовь она доказала вот именно тем, что пыталась убить меня, рискуя сама жизнью или тюрьмой, только бы я никому другому не достался. И потом, как джентльмену мстить за вспышку ревности? За вспышку ревности маленькой, слабой и очень красивой женщины, которую я по-настоящему люблю? Разве это не логично?

— Сам отец логики Аристотель позеленел бы от зависти, если бы вас слышал.

Гарольд рассмеялся. Ничего не понимавшая по-английски Мерседес кротко и застенчиво улыбалась.

— Надеюсь, что вы ничего не сообщили в Бостон

моей матери, — продолжал Гарольд. — Лишнее ей было бы волнение.

— Не сообщил ничего.

— Когда мы уходим в море?

— Недели, думаю, еще две тут простоим.

— Отлично! Старший врач меня заверил, что выписаться можно будет дней через десять.

— Какой старший врач?

— Да тот, который говорит по-английски.

Тогда я рассказал Гарольду, кто этот говорящий по-английски старший врач и что жизнью своей он обязан исключительно этому хирургу-миссионеру. О его прошлом я, разумеется, не сказал ничего. Характеристика старшего врача тронула Гарольда. В это время он оказался в отъезде и должен был вернуться через несколько дней. В клубе, куда я после этого разговора зашел, я встретился, как это бывало почти ежедневно, с полковником Лопез. Разговаривая о происшедшем, мы не отказывали себе в виски. Под конец, растроганный и благородным жестом Гарольда и пламенностью любви Мерседес, полковник подарил мне на память « оружие преступления » — тот старинный агатовый нож, которым так умело орудовала танцовщица. В этом вещественном доказательстве полковник теперь больше не нуждался. И еще говорили. И еще пили виски. И выпили еще, под конец беседы, целую бутылку чилийского шампанского.

Когда, несколько времени спустя, груз был принят и все приготовлено к отплытию, я отправился в госпиталь взять Гарольда и расписаться в том, что принимаю его всецело на свою ответственность. Застал я его в довольно кислом настроении. Он был обескуражен предстоявшей, неизвестной длительности, разлукой с Мерседес и отсутствием хирурга-миссионера, которого он непременно хотел поблагодарить. По счастью, в последнюю минуту хирург появился. Он очень обрадовался виду Гарольда и тому, что тот настолько оправился, что не только выписывается, но и пускается в плаванье. Когда же я объяснил ему, в чем дело, он очень ласково посмотрел на Мерседес. Тут вмешался Гарольд:

— Вы мне спасли жизнь, доктор, — сказал он, — и никакой платы взять не захотели. Как мне вас отблагодарить?

Хирург смущенно улыбался.

— Дайте мне, по крайней мере, вашу карточку. Моя мать, вдова, у которой я — единственный сын, не простит мне, если я не передам ей вашего имени и адреса, чтобы она вам хоть написать бы могла...

Доктор дал карточку.

— А ваше имя, молодой человек? — спросил он. — Для меня, в госпитале, вы были пациентом, и я только знаю, что вы — Гарольд. Как ваша фамилия? Ваш адрес?

Тот стал рыться в бумажнике и смущенно проговорил:

— Моей карточки у меня нет. Зовут меня Гарольд Хэджуэй. А вот карточка матери с ее адресом.

И Гарольд протянул миссионеру белый картон. Миссионер взглянул на карточку, и я увидел, как он побледнел. Затем мы все направились к выходу. Гарольд и Мерседес шли впереди, я с хирургом — сзади.

— Вы знаете, кто ваш радиотелеграфист? — спросил меня хирург несколько напряженным шопотом.

— Знаю, как его зовут, и это все, что я о нем знаю.

— Он сын Alice, сделавшей из меня человека. Той самой! А Гарольд сказал, что она вдова. Но молчите, молчите, ничего не говорите! Ничего не говорите! Ничего!

Мы распрощались.

Капитан и лоцман стояли на мостике. Команда — по местам. Корабль был готов к отплытию. Стали поднимать якорь... И вдруг за бортом показалась узкая чилийская рыбачья лодка, похожая на пирогу, и в ней два гребца, между которыми стояла Мерседес, в национальном костюме. Лицо ее мне показалось похожим на маску, строгим, бесстрастным, почти каменным. Только возле рта какая-то складка выдавала сдержанное волнение. Рядом с ней, с просветленным лицом покаявшегося разбойника, стоял хирург-миссионер. Что думал Гарольд, глядя на этих провожающих, я не знаю. Но,

всматриваясь в черты лица доктора, я почему-то припомнил слова: « Помяни мя, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Дрогнула цепь, якорь прижался к борту. Спустили лоцмана. Капитан приказал дать полный вперед. Курс положили на север.

В Нью-Йорке Гарольд нас покинул и сам я, меняя корабль, направился в Калифорнию, — хотел плавать в Тихом. Месяца через два получил приглашение на свадьбу: Мерседес приехала в Бостон, Я ограничился посылкой свадебного подарка и на время утерял с ними всякую связь. Шли годы, и за ними — еще годы... Я вышел в отставку, обосновался на берегу океана, — раз больше не плаваю, то хоть смотреть на него буду, думал я! Устроил в домике своем кабинет, — в сущности — небольшой музей, в котором по стенам развесил, в витринах по столам разложил, расставил по углам всевозможные, из всех стран света вывезенные вещи. Доживаю я среди них свой век бобыля, свой собачий век. Иногда — пишу. Иногда меня навещают друзья...

Но вот как-то прозвонил телефон. И в трубку, насилу-насилу, из-за начинающейся старческой глухоты, я смог разобрать голос Гарольда. Узнал, что он, проездом, в Нью-Йорке и хочет меня непременно повидать. Само собой понятно, я попросил его заехать, сказав, что буду счастлив повидать старого соплавателя.

Через час он с Мерседес сидели в моем кабинете и, старость не старость, а прохладительный напиток — виски с содовой водой и со льдом — стоял на столе.

Одетая по американской моде, с большим вкусом, Мерседес была бы неузнаваемой, если бы не оставалась такой же породисто — красивой. Новым в этой ее экзотической красоте была как-то по-особенному сиявшая одухотворенность. Я приписал это большой любви. Она отлично объяснялась по-английски, могу даже сказать, что я различил в модуляциях ее голоса чисто бостонские оттенки. Ее манеры были безупречными. Гарольд слегка пополнел, но за исключением этой полноты, оставался прежним: та же веселая улыбка, тот же подкупающий юмор и заразительный смех.

— Ну, как вы живете? Есть дети?

— Да, моему сыну скоро минет семь лет. Живем в Бостоне, где я практикую.

— Конечно, бабушка воспитывает внука и только им и живет? — улыбнулся я.

— Нет, — последовал ответ. — Его воспитывает сама Мерседес. А с бабушкой случилась странная, но приятная история. По приезде в Бостон я ей рассказал все, как было (Мерседес опустила глаза). И о хирурге-миссионере рассказал. Бабушка, взволнованная, написала ему благодарственное письмо. Переписка установилась и продолжалась. Потом приехала Мерседес, мы повенчались и очарованная своей невесткой бабушка (тогда еще не бывшая бабушкой) решила поехать в Чили, лично поблагодарить хирурга. Улетела на аэроплане. А через месяц пришло из Чили письмо, что доктор-миссионер произвел на нее очень глубокое впечатление, что он-совсем незаурядная личность и очень добрый и отзывчивый человек. И что они друг друга любят. Спрашивала, не имею ли я лично чего-нибудь против их брака? Что я мог иметь против? Я мог только радоваться тому, что мать будет счастлива. И за хирурга тоже мог только радоваться, лучшей жены ему было не найти. Присутствовал в Лиме, в Перу, на их свадьбе. Они остались в Южной Америке и ведут большую работу среди первобытных индейцев, которые их буквально боготворят. Даже правительство относится к ним с одобрением. Сюда они почти не приезжают, но мы навещаем их каждый год. И могу вам сказать еще что-то, что вам будет, вероятно, не неприятно: мой отчим оказался русским, вашим, стало — быть, земляком и, в далеком прошлом, капитаном торгового флота. Вы его не знали, случайно?

— Не знал, — проговорил я, не то небрежно, не то равнодушно.

Гарольд посмотрел на меня с улыбкой и промолчал. Тут взор его, скользнув по моим коллекциям, упал на Жертвенный Нож древних Инков, на тот самый, которым он был пронзен. Как же это так вышло, что я не подумал снять его со стены? Я уже готов был себя проклинать, когда заметил, что в глазах Гарольда

загорелось что-то вроде нежности или благодарности, — не знаю, не могу точно определить мелькнувшего в них выражения. Во всяком случае не было оно ни испуганным, ни злобным, ни даже настороженным. Мягко блеснули его глаза — вот. Что до Мерседес, то длинные ее ресницы были опущены, и того, что светилось в ее зрачках, я не увидел.

Мы допили виски. Они поднялись, стали прощаться.

— Будете в Бостоне, заходите, — сказал Гарольд. — Я вам покажу сына. Полуянки, полуинк! Страшно любит слушать морские рассказы...

Оставшись один в кабинете, я долго смотрел на море. Оно переливалось, мерцало, сверкало. Вот и завершение еще одного, связанного с ним, вышедшего из него « морского рассказа », такого, какие любит слушать сын Гарольда и Мерседес! Перебирая все в памяти, я невольно задерживаюсь на том, что было в этой истории светлого и теплого и стараюсь, как могу, осветить и согреть одинокую свою старость.

САЙГОНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Сайгон, Южный Вьетнам.

Отель Мажестик.

Я, нижеподписавшийся, Хинг, шофер гор. Сайгона, настоящим заявляю, что мы, туземцы Индокитая, употребляем в пищу из-за их вкусовых качеств следующих животных:

1. крыс (лесных)
2. летучих мышей
3. змей
4. собак
5. кошек
6. обезьяньи мозги.

Хинг, шофер такси.

С подлинным верно:

Сунь-Хунь, упр. отелем Мажестик. Сайгон.

Этот документ хранится у меня в моем архиве в Нью-Йорке. Читателям, сомневающимся в возможности таких блюд, готов дать фотокопию этого документа.



После второй мировой войны американские туристические бюро широким фронтом повели яростное наступление на мирное население. Боевым лозунгом этой атаки служила фраза: « Летите теперь — платить потом ». И вся Америка полетела, даже и в такие места, куда ворон не заносил костей.

Кредит, — великое дело в Америке. Кредит и, в придачу к нему, солидные скидки для групповых полетов сделали туризм одной из самых главных отраслей коммерции Нового Света. Группами летают глав-

ным образом женщины, но такого бальзаковского возраста, что воскресни сам Бальзак, он почувствовал бы себя в сравнении с этими путешественницами молодым, цветущим юношей.

В массе своей они представляют тот тип жены, тещи или свекрови, о котором мой приятель, связанный узами Гименея и обремененный тремя детьми, говорит, что когда его теща входит в его квартиру, то мухи замертво падают в пол, свеже-срезанные цветы мгновенно увядают в вазах, собаки с пугливым воем шмыгают под диван и сидят там, пока « мамаша » не оставит дом... У детей наблюдается внезапное расстройство желудка, у жены появляется дикая мигрень...

Такой чудом уцелевший от прелестей семейного очага зять или доведенный почти до самоубийства муж, приобретает билет для полета хоть на луну и торжественно вручает его теще или жене.

— На, мамаша, билет! Лети, куда хочешь. Счастливого пути!

В этом пожелании подразумевается слабая надежда на возможную воздушную катастрофу, где-нибудь над Индийским океаном, где поглубже. Покупка страхового полиса на случай ее смерти во время путешествия, конечно, тоже держится в глубокой тайне.

Обладательница такого подарка-билета поджимает свои сморщенные губы, выражает опасение в благополучии семьи во время ее отсутствия и сломя голову спешит на собрание своих коллег по воздушному рейсу.

Там томный, прилизанный проводник читает им наставления о приключениях и несчастьях, возможных во время кругосветного полета.

Главным образом он говорит об ужасах и опасностях, ожидающих белую женщину где-нибудь в притонах Гонконга, Макао или Казба в Алжире... Советует от группы никогда не отделяться... Иначе туристка может быть похищенной и попасть на рынок невольниц, где ее, обнаженную, в цепях, продадут в рабство, в какой-нибудь гарем Востока. А оттуда уж, как всем известно, возврата нет.

Раздаются аханья и оханья, заключается союз веч-

ной дружбы со взаимной поддержкой, и отважные туристы исчезают в голубом пространстве.

Дружбы хватает не более как на две-три остановки. Потом раскол делит летающих туристок на несколько лагерей, враждующих между собою не на жизнь, а на смерть.

Происходит это печальное явление, главным образом, из-за электрического утюга, нежелания поделиться секретом какого-то чудодейственного крема, уничтожающего морщины, или из-за какой-нибудь особенной губной помады. После чего беспощадная грызня идет полным ходом до самого возвращения домой.

К немногочисленным путешественникам, одиночкам-мужчинам, даже если они круглые идиоты и ходят на костылях, летающие туристки проявляют самый восторженный интерес. Томность взглядов сопровождается обещающими рай улыбками плохо подкрашенных престарелых губ. И расспросов, как и просьб, без конца.

— Расскажите мне все о себе. Все, начиная с детства! Скажите это, объясните то. Где можно, скажите, дешево купить сногсшибательный экзотический подарок, который вызовет фурор в центре Сейд Дрейва или в предместьях Филадельфии...

Я покорно, как истый джентльмен, сносил все... Сносил до случая в Танжере. Там одна из них попросила меня перенести ее клетку с попугаем на пароход. Я согласился. И вот, когда я был уже на середине сходен корабля, кричащий, перепуганный попугай пребольно клюнул меня в руку. От дикой боли, я упустил клетку. Она упала в воду и пошла ко дну. И попугай, несмотря на мальчишек, плававших и нырявших вокруг судна и бросившихся спасать его, погиб смертью, попугаям вовсе не свойственной.

Тут хозяйка этого представителя пернатых, утонувшего в голубых водах Средиземного моря, мгновенно превратилась в фурию и накинулась на меня в дикой ярости. Она угрожала мне казнью на электрическом стуле или, по крайней мере, вечной каторгой в Синг-Синге. Я насилу отвязался от нее и позорно бежал.

Мои рыцарские отношения к прекрасному полу по-

сле этого случая если еще и не совсем умерли, все же находились при последнем издыхании. Я старался избегать этой милой компании, как огня. Но однажды в Манилле, при отчаянно влажной жаре в 46 градусов, я помог одной очень милой старушке, похожей на темную конфетку из кленового сахара, сделанную в ее далеком родном штате Вермонте, выйти из довольно трудного и неприятного положения с таможенными чиновниками. Ее радостным благодарностям не было конца. Мы обменялись визитными карточками и расстались, разлетелись в различных направлениях. Расстались, я был уверен, — навсегда.

Но судьбе было угодно устроить вторую, « роковую » встречу. Из Бангкока в Сиаме я полетел в Сайгон и остановился в лучшем отеле этого маленького Парижа, — Мажестике.



Когда подлетаешь к Сайгону, то видишь квадраты рисовых полей, затопленных водой, купы каких-то рощиц из тех вечных пальм, о которых один мой земляк, живущий много лет в тропиках, сказал, что это никудышное дерево, — ведь на пальме от тоски по родине даже повеситься нельзя. Невозможно накинуть на ее гладкий ствол петлю. Будет скользить!

Пригороды — окрестности Сайгона красивы. Сам город, построенный гениальными французскими инженерами, благоустроен, гармонирует с экзотикой края и прекрасно распланирован. Масса вечнозеленых деревьев, большой ботанический сад, зверинец, буддийская кумирня. И знаменитый на весь дальний Восток китайский квартал города — Шолон. Женщины Сайгона очень хороши. Стройные, с черными блестящими волосами, с миндалевидным разрезом агатовых глаз, шафрановым цветом лица и ослепительными зубами. Они одеты в национальные костюмы, в шаровары и какие-то кафтанишки, что ли. Своей особой женственностью Востока они производят незабываемое впечатление. Самым же экзотическим и опасным местом Сайгона считается китайский квартал Шолон.

Расположенный вдоль берегов реки и ее притоков, он поражает яркостью красок, шумом, вонью горелого масла из сои, распущенностью и бесстыдством его обитателей. Азарт, пороки и разврат, преступления во всех их видах пышно цветут в этом « прелестном » уголке, и кажется здесь нет ничего, чего нельзя купить за деньги.

Даже в наши молодые годы мы, матросы, когда заходили в Сайгон, ходили в китайский квартал Шолона всегда группой и всегда вооруженные. При владычестве французов было опасно появляться в этом злачном месте, теперь же, с их уходом, стало еще опаснее.

Женщинам — туристам в Сайгоне делать абсолютно нечего, и я изумился, когда в отеле Мажестик ко-мне подбежала та самая милая старушка, миссис Джонс, которой я помог в ее затруднении в Манилле. Она путешествовала с группой таких же старушек, сидяших в фойе отеля, и уже очевидно разделенной на враждующие лагери.

Миссис Джонс была рада мне, как радуются встрече с человеком, который давно считался умершим, а он вдруг появился живой, невредимый, во всей своей красе.

Завистливые взоры ее компаньонок были обращены на меня, и я чувствовал, что меня разбирают по всем косточкам. Хоть сами и на седьмом десятке, но все же мужчина! Да еще белый!

Миссис Джонс опять принялась благодарить меня за Манильскую услугу и пригласила меня позавтракать с нею в одном китайском ресторане, в котором, по ее словам, кормили шедеврами самой изысканной китайской кухни.

Я не люблю китайской гастрономии и вежливо отказался, ссылаясь на занятость, но она к своим просьбам позавтракать с нею добавила еще и другую просьбу: вот уже третий день она ест что-то вроде рагу с какой-то китайской зеленью. Она прямо сходит с ума от божественного вкуса этого блюда и хотела бы узнать рецепт этой восточной амброзии. Но беда! никто в ресторане не говорит по-английски, а она ни слова не понимает по-французски.

Ей очень хочется изумить по возвращении в Америку своих кумушек этим непревзойденным блюдом. Гид-переводчик сегодня занят — вот она и рассчитывает на меня.

Я нашел выход из положения — вызвал ее шофера китайца, нанятого ею на целый день, в фойэ отеля. Своим ломаным французским языком я попросил его достать рецепт этого рагу у хозяина ресторана и привезти его мне, а я переведу его на английский язык для миссис Джонс.

Миссис Джонс, просияв от такого гениального решения, умчалась в свой любимый ресторан.

Я отправился по своим делам и вернулся только в четыре часа в отель. Сижу в фойэ, читаю американскую газету, потягиваю виски-сода, можно сказать — отдыхаю душой, и вдруг вкатывается миссис Джонс со своим шофером и направляется к моему креслу... Я привстал, сидящие кругом старухи явно насторожились.

Захлебываясь от радостного волнения, миссис Джонс объявила мне, что хозяин ресторана дал рецепт рагу на китайском языке ее шоферу и она просит меня перевести объяснение шофера на английский язык.

Я спрашиваю шофера, в чем заключается секрет приготовления этого рагу? Его лунообразная физиономия растянулась широкой улыбкой. Он заявил мне, что китайцы работают, как звери, круглый год до их Нового Года — великого праздника, перед которым они расплачиваются со всеми долгами, а потом уж начинаются торжества, длящиеся целую неделю.

Устраиваются парады, фейерверки, выпивки, обеды — на них традиционным блюдом считается вот это самое рагу, которое так понравилось миссис Джонс. Шофер уверен, что это блюдо понравится и мне. Рецепт его довольно сложен и обходится оно недешево. Оно состоит из лесных крыс, змей, летучих мышей, кошек, собак, мозга обезьян и разной зелени. Оно, действительно, обладает божественным вкусом.

Я просто не верил своим ушам. Я должно быть ослышался, не так понял.

— Повторите, из чего оно делается, — проговорил

я, и шофер услужливо повторил: — из лесных крыс, летучих мышей, змей, собак...

Я, чувствуя, что меня начинает мутить, прервал его:

— Вы не морочите меня?

Не только лунообразное лицо, но и вся фигура шофера выразила величайшее удивление.

— Разве бы я посмел? Все это действительно входит в состав нашего новогоднего блюда. Каждый китаец это знает.

Но я все еще не верил.

— А вы готовы, — спросил я его — вашей подписью подтвердить, что вы говорите истинную правду? Но помните, если вы мне наврали, вам худо будет!

Он охотно согласился, конечно, в расчете, что его согласие принесет ему несколько американских долларов.

Я протянул ему лист почтовой бумаги и стило.

— Пишите, что вы действительно едите всю эту нечисть.

И он, усевшись за мой столик, старательно, каллиграфически начертал « документ », приведенный мной в начале моего рассказа.

Я вызвал управляющего отелем и просил его скрепить своей подписью правильность этого документа, что, тот, прочтя его, беспрекословно и сделал.

Миссис Джонс дернула меня за рукав.

— Нет, подождите. Не прячьте рецепт, переведите его мне сначала.

Я был так ошеломлен, и меня так сильно продолжало мутить, что я почти забыл о ее присутствии.

— Шофер толком ничего не узнал и все путает. Он записал не рецепт, а нужный мне маршрут, растерянно начал я.

Но тут в разговор неожиданно вступила одна из спутниц из туристической группы, очевидно понимающая немного по-французски и явно принадлежащая к « враждебному лагерю ».

Она зорко наблюдала всю эту сцену и внимательно прислушивалась к моему диалогу с шофером и с заведующим отелем и с медовой улыбкой сообщила мис-

сис Джонс, из чего состояло пленившее ее своим вкусом рагу, выразила надежду, что это экзотическое блюдо не принесет ей вреда и она благополучно вернется домой.

Моя приятельница, покраснев от гнева, заявила ей, что она нагло лжет. Ничего подобного шофер не сказал.

Только завистливая идиотка могла выдумать такую гнусность.

« Завистливая идиотка » не осталась в долгу и они сцепились в словесной схватке, как две ведьмы во время шабаша на Лысой горе.

Я напрасно старался разнять их и успокоить.

И вдруг мне пришло в голову решение вопроса, которому, как мне тогда показалось, сам царь Соломон позавидовал бы.

Я решительно взял миссис Джонс под руку и предложил ей поехать вместе с ней в ее ресторан и точно выяснить у его хозяина рецепт рагу.

Она, бросив последний уничтожающий взгляд на своего « подлого врага », с восторгом согласилась и мы в автомобиле помчались в ее ресторан у моста « Трех Ног ».

По дороге я молниеносно обдумал весь план. Я оставлю ее ждать в автомобиле, войду в ресторан один, пробуду в нем минут десять и вернувшись к ней сообщу ей подробный рецепт. Я скажу: приготовление этого блюда довольно сложно. Оно делается из маринованных кроликов, копченой утки, рыбы, куриных потрохов, телячьего языка, бараньих мозгов, всяческой зелени и соуса из сои. Все это тушится целые сутки, а потом еще поджаривается три часа в кукурузном масле.

Скажу, что все подробно для нее записал, переведу и вечером вручу ей.

Но не тут — то было!

Автомобиль остановился в какой-то мрачной дыре. Я только заикнулся о том, чтобы миссис Джонс подождала меня в машине, как она уже бросилась за мной.

У двери стоял огромный китаец, своим свирепым видом напоминавший атамана шайки хунхузов. Это и

был хозяин ресторана. Я сообщил ему о цели нашего визита, спросил, так ли на самом деле приготовляется рагу, как говорит шофер?

Китаец бесстрастно повторил рецепт, сообщенный мне шофером. Я все же выразил сомнение. Тогда он схватил меня за руку и через ресторан протащил в темный, скользкий от грязи, выложенный булыжниками дворик.

— Смотрите сами! услышал я скорее команду, чем приглашение, и увидел в клетках, развешанных по стенам, и крыс, и летучих мышей, и змей, и двух жалобно пищавших мартышек.

— Кошачье и собачье мясо покупаем свежее на базаре, дохлятиной мы не кормим, — пояснил мне мой чичероне.

Я с трудом удерживал спазмы подступавшей тошноты и вдруг услышал мягкий шум падения какого-то тела... Я обернулся и увидел, что моя миссис Джонс лежит на грязных камнях двора в обмороке. Кое-как мы с шофером выволокли ее на улицу, втиснули в машину и понеслись в городской госпиталь. Там она, после того, как врачи немало повозились с нею, — пришла в себя и открыла глаза. Я участливо склонился над ней, но теперь на меня смотрела не пожилая дама, похожая на конфетку из кленового сахара, а фурия, с лицом лимонного цвета, на котором ярко, пятнами, выступали следы румян, губной помады и карандаша для бровей...

Ее уже не голубые, а змеино-зеленые глаза горели ненавистью. Яростным, хриплым шопотом она стала обвинять меня. Да, да! Меня — в том, что я прекрасно знал, чем китайцы кормили ее, и вместо того, чтоб скрыть этот ужас от нее, нарочно устроил поездку в китайский притон. Я сыграл с ней злую шутку! И если она умрет от потрясения, то виновником буду я... Да! Да! Я...

Я ничего не соображал, слушая миссис Джонс.

Вместо оправданий, я выскочил из госпиталя и примчался в отель. И, наскоро запихнув в чемодан свои « монатки », умчался на аэродром... Ближайший полет был в Сингапур. Я полетел в Сингапур. Я был готов лететь куда угодно, только подальше от Сайгона...

Но теперь, если во времена моих будущих полетов со мною заговорит хоть самая премированная красавица мира, — то я знаками отвечу ей, что не понимаю ее вопроса и прошу оставить меня в покое.

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

На одной из шумных улиц Нью-Йорка я совершенно неожиданно столкнулся с Ванькой Собакиным, которого не видал почти пятнадцать лет.

По-русски облобызавшись, вызывая любопытные взгляды американцев *), мы решили ознаменовать радость встречи завтраком в русском ресторане, выпить, покалякать о днях, ушедших в даль веков.

В России мы были друзьями детства, даже учились вместе в одной школе, откуда меня « выперли » за громкое поведение, а Ваньку — за « тихие » успехи, хотя выперли его не один раз и не из одного только рассадника просвещения, а из многих.

Ванькин отец, суровый северянин, после каждого вышибания, грозил его сделать сапожником. И на этот раз привел свою угрозу в исполнение: определил Ваньку в свою собственную сапожную мастерскую, находившуюся рядом с его обувным магазином.

Я же убежал из дома родительского.

Я поступил юнгой на иностранный пароход, добрался до Америки, там остался и встретился с Ванькой в Нью-Йорке — много лет спустя.

Он попал туда эмигрантом из Турции, после конца русской белой Вандеи.

Встреча состоялась на каком-то русском балу. Ванька был прекрасно одет, широко тратил деньги и по-видимому был доволен судьбой.

На мой вопрос, как он процветает в Америке, он с улыбкою ответил, что все идет прекрасно, а фортуной

*) В Америке мужчины не целуются даже с братьями, считая это несовместимым с достоинством гордой Англо-Саксонской расы.

своей он обязан своему родителю, который из него сделал сапожника.

Благодаря этому, когда он попал в столицу Нового Света, ему сразу удалось получить хорошо оплачиваемую работу на громадной фабрике обуви.

Его таланты не только сапожника, но и закройщика, были оценены по заслугам и уже через три только года, он, изучив английский язык, был назначен старшим закройщиком, — жалование пятнадцать тысяч долларов в год.

Америка вовсе не страна чудес — их здесь не бывает. Но если человек знает и любит свое дело и усердно работает, — его оценят, вознаградят по-королевски и будут уважать искренне.

После бала мы поехали в его дорогую, прекрасно обставленную квартиру со стеклянной галереей, увешанной портретами работы всевозможных знаменитых художников.

Ванька спросил меня о моем житье-бытье моряка дальнего плавания. Я рассказал ему о себе. Мы стали часто видеться.

Война, а затем плавания, главным образом в Тихом Океане, разлучили нас опять на многие годы, а теперь снова счастливая встреча, за которую с искренним удовольствием мы и выпили. Начались расспросы.

— Ты по-прежнему живешь на своей квартире на Пятом Авеню, — спросил я.

— Нет. Когда два года тому назад, уже вице-президентом фирмы я вышел в отставку, то переехал на жительство в Гарлем, — и он назвал самую бедную часть негритянского квартала Нью-Йорка.

— Ты шутишь? — спросил я, не веря своим ушам.

— Нисколько. Я действительно живу в Гарлеме, — спокойно проговорил Ванька.

В моем воображении представился мрачный, грязный дом с выбитыми стеклами (район этот я знал хорошо), с грязными улицами, с кучами оборванных ребятишек, играющих на улице. Все еще не доверяя Ваньке, я спросил:

— И свою галерею портретов ты тоже туда перевез?

— Нет, часть ее я продал, остальное в музеи пожертвовал.

Она мешала бы мне наслаждаться « галереей » живых, русских, — но каких типов, там, где я живу теперь. Да ты сам их увидишь. Вот мой адрес. Приходи, когда хочешь. Гарантирую, что визитом будешь доволен.

Мы выпили кофе, распрощались. Ванька уехал домой, взяв с меня слово навестить его послезавтра в Гарлеме.

Для незнающих Нью-Йорк, поясню, что северная часть его, называемая Гарлемом, много лет тому назад, еще до появления автомобилей, была фешенебельным предместьем этого города. Чистый, речной воздух, масса зелени и тишина заставили многие аристократические семьи Нового Вавилона поселиться в этой части, построить красивые солидные дома и виллы. В них жили постоянно или проводили летние месяцы, спасаясь от Нью-Йоркской жары.

Нью-Йорк разрастался, так как население увеличивалось бешеным темпом, и бедняки, которых было большинство, стали вытеснять меньшинство богачей даже с их любимых насиженных мест.

Гарлем начал приходить в упадок. Он был занят сначала эмигрантами-ирландцами, потом итальянцами, затем еще более бедными рабочими — неграми.

Теперь Гарлем — сплошной негритянский район, репутация его крайне незавидна.

Все же среди массы ящикообразных домов, уныло глядящих друг на друга запыленными глазами своих немытых окон, среди вечной грязи, мусора и вони, можно найти несколько приличных улиц. Бродя по улицам Гарлема, можно неожиданно найти прелестные оазисы в этой суровой африканской пустыне.

Обыкновенно это чудом уцелевший двухэтажный, построенный в глубине двора, с верандой ажурной работы, домик. Перед домиком садик с несколькими деревьями, кустарниками, клумбами, иногда — даже колодец, поныне действующий, а вместо забора вдоль улицы, красивой работы кованого железа, решетка.

— *** —

Ванька Собакин жил в таком очаровательном уголке, в Гарлеме.

Я вышел из автомобиля.

Над железной калиткой, славянской вязью красовалась надпись: « Град — Китеж ».

Ничего не понимая, я вошел в садик из березок и был встречен лаем трех громадных псов неопределенной породы, бросившихся мне навстречу.

Я остановился, не зная, что делать, и вдруг услышал мужской голос: « Шавка! Кабыздох! Жучка! На место! В будку, окаянные, а не то я вас! »

Предо мною появился мужчина неопределенного возраста в туфлях на босу ногу, в каких-то, вот именно, портках, в русской рубахе с открытым воротом.

— Кого вам надоть? — спросил он.

— Я к Иван Иванычу.

— Милости просим, входите — их пока дома нетути, но скоро придут к обеду. Разрешите представиться: Капитон Куприяныч Квасков из града Касимова, может слыхали?

Я назвал себя, мы обменялись рукопожатием и поднялись на балкончик.

— Ван Ваныч изволили говорить о вас, сказали, что вы приглашены к обеду, мы и дожидались вас. Милости прошу, входите. Разрешите спросить, вы курите?

— Да, — сказал я.

— Вы уж извините, мы сами некурящие. В доме нашем курить никому не разрешаем. Иконы висят, лампады горят, оно и неприлично, да и раком легких народ нынче от этого зелья страдать начал, а о пожарах? Тьфу! Чур меня! Говорить не будем. Ежели же против искусу устоять не можете, то на балкончик выйти можно и здесь на качалке удобной, перед кадочкой с водой, располагайтесь и курите, сколько вам угодно. Окурочки же в кадочку, в кадочку бросайте.

Мне было приятно слушать его ласковую, певучую, цветистую речь. У него было спокойное, истинно русское лицо, обрамленное бородой. Движения его были мягки, плавны, и уверенны. От него всего веяло уютом.

Голубые северные глаза блистали решимостью и

в то же время какой-то хитрецой. Он был похож на сибирского кота, трущегося у моих ног.

Разобраться в нем было довольно трудно, но мне он сразу понравился.

Мы вошли в дом. В красном углу большой комнаты, очевидно столовой, висели образа с затепленными лампадками, с пучком засохших верб и пасхальными писанками, висящими под ними. На окнах кисейные занавески, на подоконниках — герань, бальзамин да васильки в горшках. На полу чистые белые дорожки. Клетки с канарейками. На стенах портреты знаменитых русских писателей.

Поразительная чистота, давно забытый запах росного ладана, щебетание канареек, перенесли меня на многие годы назад в какой-то дом Замоскворечья. Я забыл, что нахожусь в Нью-Йорке.

— Это наша столовая с кухней, налево — гостиная, дальше — кабинет-спальня Ван Ваныча. Во втором этаже три спаленки находятся, где обретаюсь я, а с кем — сами увидите. Они к обеду спущаются, только прошу вас не обращать внимания на господина корнета, — почти шопотом проговорил мой чичероне.

— А вот и они — разрешите представить — корнет Кусков Василь Василич.

Я пожал руку огромному детине, голову которого украшал индусский тюрбан с разноцветной звездой. Он был облачен в кургузую кацавейку, дальше шли черные шелковые шаровары, схваченные тесемками у щиколоток, и ноги обуты в какие-то восточные туфли.

— А это Аристарх Аристархович Капподокийский, в прошлом лицеист, сослуживец по армии во время смуты Российской...

Предо мной предстала тощая фигура русского Дон-Кихота, с бледной, похожей на петербургское солнце, улыбкой. Он слабо пожал мою руку.

Открылась дверь, ведущая в кухню, сначала показался огромный бюст и вся фигура пожилой, дебелой женщины, в фартуке.

— Мавра Ванна, наш ангел хранитель сама из Курска. Кормилица и опекунша наша. Не будь ее, не знаю, что бы мы делали.

— Вы бы, Киприяныч, заместо комплиментов прибавку дали. Дороговизна-то какая стоит в Нью-Йорке!

— Дал бы, Мавра Ванна, дал бы, но сами знаете, нашему брату денежки тоже не легко достаются. Вашего жалования вам хватает, в этом уверен, а собирать сокровища земные Писанием запрещено. Тати, моль, нощные капиталы спереть могут. И огорчений не оберетесь. Вот и Ван Ваныч! Ну, корнет, берите полагаемое и айда в садик, на могилку нашего дорогого приятеля, пойдем и чашу скорби осушим до дна.

Я недоуменно взглянул на Ваню, но его взгляд приказал мне принять сделанное предложение.

Гуськом прошли мы в садик, встали вокруг похожего на улей ящика у подножия молодой березки.

Корнет, держа на левой руке поднос, наполнил водкой шесть серебряных стопок, поднес по одной каждому из нас — шестая осталась на прежнем месте — начал декламировать « Песню о Вещем Олеге ».

Я ничего не понимал...

Когда раздались слова « и примешь ты смерть от коня своего » Куприяныч взял стопку водки с подноса, осторожно вылил ее на верх странного предмета.

Мой вопрошающий Ваньку взгляд был пойман Куприянычем, любезно пояснившим мне:

— До вступления Ван Ваньча в нашу общину « Града Китежа » полковник кавалерии, вдовый, у нас равным членом, но на командирском положении состоял и палатой ума обладали, нас многим вещам учили. В манеже верховой езде обучали да неуков-лошадей объезжать изволили. По родине нашей сильно тосковали, и наш эмигрантский раскол церковный их особенно раздражал. Бог, грит, один, а Ему по трем юрисдикциям народ молится. Какая-то, грит, неувязка среди отцов духовных происходит и мне, как человеку военного порядка, такое положение вещей не нравится, грит... До тех пор, пока отцы святые общими усилиями не создадут, грит, единую Русскую Церковь, как русский человек, я, грит, в наше исконное же язычество перехожу: Перуну да Дажьбогу поклоняться буду. Ежели, грит, помру, завещаю прах мой сжечь, под вот этой березкой поставить, каждую неделю тризну по мне

править... Деньги на этот обряд отдельно завещаю. Когда в России церковный порядок наступит, отправить мой прах на родину и по православному обряду похоронить. А до тех пор-Перун и Дажьбог без всяких, грит, возражениев-с.

А на тризне приказал читать «Вещего Олега» сочинения его любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Дали слово ему, что желание будет исполнено и вот, когда господин полковник Богу душу отдали, — их неук неученый копытом в пах ударил — поступили по его приказу. Вы изволили присутствовать на поминках по древнему русскому обряду. Теперь пожалуйте обратно в дом. Обед уже готов.

Мы вернулись в столовую и окружили отдельный закусочный столик, уставленный самой разнообразной снедью и батареей бутылок разнообразных напитков.

— Сегодня разрешение вина и елея, как в день усекновения главы...

— Почему я тебе в России не снес твою башку, сам не понимаю, — проговорил корнет, наливая себе рюмку водки.

— Руки-с были коротки, вот почему, — проговорил Куприяныч.

— Вы еще в России друг-друга знали, — спросил я.

— А как же-с. Вериги этого знакомства я начал носить еще в граде К., где господин корнет отечество защищали в должности комендантского адъютанта в войну 1914 года, а я у воинского начальника в старших писарях состоял. Оттуда и пошло... Вам особенно рекомендую попробовать нашего специального травничка, особо пользительного для печени и желудка, — он налил мне рюмку какой-то зеленой жидкости. — А закусить ее надо вот этими грибочками маринованными, не токмо собственного приготовления, но даже в подвале дома нашего произрастающими.

Я выпил рюмку влаги, напоминающей старый рижский бальзам, закусил отличными маринованными грибами.

Куприяныч вопросительно посмотрел на меня:

— Ну как вам травничек наш понравился?

— Замечательный. Как вы его делаете?

— А это секрет нашего дорогого Аристарх Аристархича, — он мотнул головой в сторону лицеиста. По роду службы своей, на лоне природы находящейся — они садовником на кладбище состоят — травку, кустики, деревья подстригают, каждую былинку, там произрастающую, знают, — что нужно вырывают, сушат и настойки делают. По старинке живем, никаким виски не доверяем. Спиртик хлебный по всем правилам разводим и вкушаем его стомаха нашего ради-с.

— Вы изволили тоже в Турции проживать?

— Если это можно назвать жизнью, то да. Торчал там целый год, — проговорил я.

— А ресторан « Пленившись розой соловей » вы посещали когда-нибудь?

— Нет. Ни денег, ни времени для этого не было.

— Да ресторан то был недорогой, а принадлежал он мне...

— Воображаю, чем ты кормил там народ честной, — вставил корнет.

— Не разносолами, а простой, хорошей русской пищей, вкуса которой вы, как потомственный алкоголик, в те времена все равно оценить бы не смогли...

— Не начинай ругаться, Куприяныч, а лучше расскажи нашему гостю свою биографию, как ты до Нью-Йорка добрался, и все свои похождения. Понравится ему твой рассказ, он тебе книжек божественных почитать даст, а у него их, брат, много...

— Так ли это, благодетель мой? — обратился ко мне Куприяныч.

Я утвердительно мотнул головой.

— Разрешите когда-нибудь зайти к вам. Уж очень слабость у меня большая ко всему духовному сызмальства, как родитель мой будучи сами духовного звания...

— Наверное, церковь обокрал твой родитель, — опять кольнул корнет.

— Ван Ваныч! Прошу вас повлиять на господина корнета и прекратить его выходки, против моей персоны направленные. Не то хвачу чем-нибудь тяжелым по их чалме индусской, — уж злобно проговорил Куприяныч.

— Бросьте вы, дьяволы полосатые, ругаться, не

то дело штрафом запахнет. Призываю к порядку! — вмешался Ванька и объяснил мне, что все жильцы « Града Китежа » по одному месяцу играют роль дежурного старшины этого клуба. Каждый сожитель вносит дежурному по 25 долларов наличными, из которых платится налагаемый за ругань и ссору денежный штраф, определяемый дежурным старшиной.

— *** —

Штрафные деньги собираются, хранятся до нового года, затем рассылаются бедным русским инвалидам где-то в Болгарии.

Этот месяц дежурит Ванька, он и следит за порядком.

— Так я, благодетель, зайду к вам, сызмальства такой литературой увлекался. Родитель мой пономарем в соборе града Касимова служили. Вот оттуда у меня и любовь ко всему возвышенному, неземному, пошла.

Отец был вдовый. Матушка вскоре после родов скончалась, вот он меня по старинке и воспитывал. В страхе Божьем, к старшим почтении, к полиции уважении вырос я.

В шесть лет трудиться начал. Храм папаше убирать помогал, а в восемь лет первым альтом в хоре церковном пел, да временами самому отцу протоиерею прислуживал.

Трехклассное училище окончил — отправил он меня в Москву искусству торговому обучаться.

Мальчиком служить начал в магазине Чичкина, через два года подручным сделался, в девятнадцать лет полным приказчиком состоял. Жалованья тридцать пять рублей получал, да столько же набегало в месяц за пение в хоре церковном.

Жил богобоязненно, сытно, счастливо. Уже начал было капиталец составлять. Стали меня мечты посещать насчет открытия собственного сырно-молочного дела.

Купцом третьей гильдии вознамерился в недалеком будущем стать, жениться на степенной девушке с приданьицем, детками обзавестись, стать родоначаль-

ником богатого купеческого рода, царю и отечеству на пользу.

Да-с, сладостные были мечты.

Да, видно, черт попутал.

Вот, когда на берегах Босфора эмигранты плач вавилонский подняли о том, как хорошо жилось им в старой России, то уж поздно было.

Снявши голову, по волосам не плачут-с!

Не будь этой революции, вы бы, господин корнет, эскадроном командовали, в гусарском ментике да в доломане ходили бы, а теперь, тьфу! В индусском тюрбане да в опорках на босу ногу, эфиопам гарлемским за двадцать пять центов будущее предсказывать изволите.

Куприяныч злобно сплюнул в сторону.

— Призываю к порядку! На личность не переходите, вести дискуссию объективно, а не то припаяю по пять долларов штрафа на рыло, — важно объявил Ванька.

Страсти, казалось, успокоились.

— К 1914 году я уже в двух тысячах золотых царских рублей ходил. Лавку свою в два раствора думал открывать, а тут нашествие иноплеменников немецких случилось. Мы им войну объявили, жалко ведь братушек сербских было.

Меня, как истинного патриота, призвали, да по первому разряду без всяких льгот, забрили, да в Тьмутараканский пехотный полк новобранцем отправили.

Там я строя не успел пройти, как за письменность мою в полковую канцелярию младшим писарем взят был. За быстрый почерк, старший писарь сверхсрочный, царство ему небесное, полюбил меня и всем тайнам да хитростям-тонкостям службы канцелярской так обучил, что в самый короткий срок самолично мог писать отношения на два, и даже на три хлюста-с, — гордо объявил Куприяныч.

— А что ж это такое: два и три хлюста? — спросил удивленный Ванька.

— Это премудрость, — сказал Куприяныч. — Скажем, поступает какой-нибудь неприятный запрос для нас. Надо выкрутиться. Тогда пишем отношение

« двойным хлюстом » на эту бумагу. А это значит, что мы знаем и понимаем, о чем пишем, а они читать будут — ничего не поймут. В их мозгах засорение получается.

Когда же мы « тройным хлюстом » пишем, так это уж и мы не понимаем, когда пишем, и они ничего не поймут, когда читать будут. Даже самое высокое начальство прикажет переписку отложить « до выяснения », а в таком разе от многих неприятностей всегда избавиться можно было.

Вот за эту мою расторопность, воинский начальник и держал меня всю войну в тылу, не обращая внимания никакого на мои просьбы на фронт меня отправить...

Корнет ядовито улыбнулся.

— И там же судьба моя злосчастная заставила узнать этого красавца, — Куприяныч мотнул головой на корнета.

Комендантским адъютантом всю войну провоевал, революция разъединила нас, эмиграция соединила опять в Нью-Йорке, наверное за грехи мои тяжкие.

Корнет презрительно усмехнулся.

— Всю гражданскую страду я военным чиновником в белой армии проделал, плавал начальником команды по охране грузов на транспортах. Контуженный Аристархич, к строю непригодный, тоже в команде состоял. С ним я и подружился и дружу по сей день!

Мне показалось, что Куприяныч даже ласково посмотрел на лицеиста.

— Ну вот, последняя эвакуация — оставили Одессу. На корабле « Мария » Шполянского кое-как добрались до Варны в Болгарии. В команде моей было двенадцать человек — все мобилизованные одесские грузчики да портовые босяки. Народ, можно сказать, « ушлый » *). На корабле было много разного груза и мануфактуры, кожи и чего только хотите.

Команда моя митинг устроила. Заявили, что раз ни жалования, ни довольствия четыре месяца не получали, а теперь заграницу попали без копья, то они за

---

*) « Ушлый » на жаргоне революции — ловкий.

труды свои честные часть груза, охраняемого, себе возьмут и нас с Аристархичем к себе « в долю » примут.

Мы не сопротивлялись.

Набили мешки чем попало, вышли на берег. Братушки болгарские всю нашу братию при сильном морозе донага раздели, ледяной водой обмыли, дезинфекцию телесную устроили, одежду в котле проварили — нам ее обратно выдали. Кое-как ее суженную натянули, на открытом дворе стояли, разводящего по квартирам ожидали. Я да Аристархич. Одесская босячня сразу через забор сиганула с мешками и след их простыл. Специалисты.

Мороза-то февральского было градусов на пятнадцать, — у нас с Аристархичем жар к вечеру, без памяти доставили в госпиталь. А на нем, как сейчас помню, вывеска красовалась: « Хотель Варна. Разрушен бомбардировкой русских миноносцев на Пасху 1916 года ».

Ни окон, ни дверей, вот туда братушки всех нас тифозных на охапки соломы на пол и положили. В головах кувшин с водой, да кусок хлеба — весь уход. Поправляйся или издыхай!

Многие, которые слабые были, « дуба дали », но мы с Аристархичем крепились, — сразу смекнули, что нам лучше на одном ложе соломенном спать, а укрываться двумя шинелями. Одеяло-то ведь не дали.

Тиф подцепили, но дней через десять за стены держались, но уже ходили. На одиннадцатый день братушки кухню походную доставили — бери суп, кто сколько хочет, а посуды никакой не дали. В шапки подставленные похлебку брали и из них ее и пили.

Хозяин магазина скобяного, болгарин, в России живший, сжалился, роздал всей братии детские горшечки ночные, новые, в употреблении не бывавшие, а к ним ложки оловянные добавил.

За десять дней впервые из них и покушали супцу горячего-то! Как-то легче сделалось!

Мы соображать начали, что делать дальше. Вдруг входят три солдата из моей команды, удивились, что мы в живых остались, а сами сытые и пьяные.

Сказали, что нашу « долю » принесли. И поставили ящик, а на нем надпись, что здесь находится гросс-гроссов пишущих перьев № 86. В их понятии они решили, что для меня — крысы канцелярской — это самое лучшее вознаграждение.

По слабости организма моего в морду им даже плюнуть не мог, но ничего. Взял без пререкательств. Ушли псы. Прикинул в голове, без счетов, 144 x 144 — что-то около 20.000 выходило. Но кому же ты их загонять будешь?

Я нашел в городе писчебумажный магазин, одно перо стоило там пять левов — « загнал » весь гросс по два лева штуку, капиталом почти в 40.000 лев. Обзавелись, приоделись, помылись, побрились, с Аристархичем в порт пошли разведку произвести, куда нам дальше подаваться?

Жить в Болгарии — дело было гибельное.

По дороге в порт, около самого дешевого кабачка команду нашу охранную встретили. Рожи распухшие, сизые, небритые. От них перегаром несет, во всех конечностях дражамент сильный наблюдается и, по всей видимости, у них одесский « декохт с распятием » *) такой, что хозяин в кредит даже на пять левов вина не дает!

Увидали нас, подскочили, просили спасти их от последствий алкоголя. Сердце не камень! Хотя и « шпана », но все же свои русачки, а что они родом из Одессы, то это не их вина.

Дали им на « поправку » целых сто лев. Пришли в порт. Кораблей много — разгрузка идет.

Вдруг слышу — « Куприяныч! »

Обернулся, посмотрел — друг старый кричит. Федька Сундуков, из ярославцев, он тоже писарем в интендантстве служил, в одном городе со мною.

Ну, разговорились, — он также военным чиновником был, разгрузкой корабля заведует.

Груз-то казенный, гетманскому правительству принадлежавший, белой армией захваченный. Пока рас-

---

*) « Декохт с распятием » на жаргоне моряков, портовых грузчиков и босяков означало полное отсутствие денег.

поряжениев ожидали — Одессу-маму оставлять надо было. До Варны дотопали. А тут союзнички благодарную лапу наложили — разгружать заставили.

Ну сами знаете, какая судьба ожидала и материю, и галантерею, и товар казенный. Федька и говорит мне: « Разгрузчики мне нужны, но только русского происхождения. Братушек-болгар брать не хочу, чтоб они первые добра нашего казенного, российского, не сперли ».

— Найди мне, Куприяныч, артельку русачков, чтоб земли русской не посрамили и хоть часть добра нашего русского отобрали. Но только это умно нужно сделать, а то неприятностей не оберешься.

Для примера, скажем, будем делать так: 9 тюков союзникам в вагон, десятый нам через вагон в канаву. На круг выйдет законных десять процентов. Наладить связь с купцами в городе и загонять по мере накопления. Что заработаем, больным да раненым поможем, да и себя не забудем. Есть у тебя такие люди?

— Есть, — говорю, — сей минут приведу!

Побежал к кабаку, притащил всю свою команду уже опохмелившуюся, рассказал, в чем дело.

Посмотрел Федька на их одесситские морды, усмехнулся, сказал, что ими доволен. Серьезный народ. С огня украдут, а не то что у этих головотяпов.



Приступили к работе, за неделю кончили, законные десять процентов « загнали », кому надо помогли. Мои одесситы с Федькой на пустом пароходе в Румынию пошли, а мы с Аристархичем, в угольной яме на « Графе Бакланове », зайцами до Царьграда добрались.

Голландские паспорта достали, в Станбуле, около Айя София палатку разбили: я борщем торговал, Аристархич спирт разведенный желающим продавал. Дела шли хорошо.

А когда армия генерала Врангеля до Царьграда добралась, — открыл я ресторан. Аристархич название придумал: « Пленившись розой соловей ». Двух русских девушек подавальщицами взял. Одну — итальянку

керченскую Дездемону Карловну, другую — татарку крымскую по прозвищу Гаянэ. Поваром был бывший заведующий полковым собранием штаб-ротмистр гусарского полка. Дела пошли — желать лучших нельзя, но тут несчастье случилось.

Пришла компания. Шесть турок. Заказали борщ да шницель по венски. Спросили Дездемону Карловну, из какого такого вкусного мяса шницель был сделан?

Она из благородных была — за шесть классов гимназии диплом имела — натурально в кухне ничего не знала — возьми да и ляпни! Из свинины, мол, его приготовили.

Мать честная! Что тут произошло! Ресторан разнесли вдребезги, позвали полицию, а те, когда пришли, мне еще шею накостыляли, потому что сам начальник турецкой полиции грех на свою душу принял, свининой, Кораном запрещенной, обожрался — ну, и давай ресторан разбивать.

Тут же дело мое закрыл — без разрешения и на будущую торговлю.

Пришел домой, с горя выпил, лег спать, а утром Дездемона Карловна в слезах пришла ко мне.

Сказала, рыдая, что раз, Куприяныч, я погубительницей вашего дела являюсь, то разрешите вам сделать предложение моей руки и сердца. Замуж за вас выйду, к моему дяде в Америку поедем, он там с 1905 года за политику находится, вот мы с вами к нему в страну Нового Света попадем — новую жизнь начнем.

Лет на восемь она моложе меня была, надо было бы отказаться, да Америкой соблазнился, согласие дал — поженились.

Дяде написали и в 1923 году на пароходе «Мадонна» к берегам Гудзона в Нью-Йорк доставлены были.

Дядя старый холостяк был. В управе Нью-Йорка в санитарном отделении много лет работал — и меня туда же на первое время мусорщиком устроил. Жалование хорошее, доходишко был, американцы народ добрый — всегда на чай перепадало — неплохо было, ей-ей не плохо.

Дездемона Карловна по швейной части пошла, зарабатывала неплохо тоже, но тут гордость обуяла ее.

Пристала с ножом к горлу. — Бросай свою низменную работу, труд интеллигентный находи. Не затем, — грит, в Америку ехала, чтобы женой мусорщика быть. Ищи, — грит, другую работу. От подруг в мастерской стыдно, когда спрашивают, чем ты занимаешься.

Сами знаете, спорить в Америке с бабой — дело гиблое. Большая власть им дана. И как я ей ни доказывал, что ни на какой другой работе я столько не заработаю, как городским мусорщиком — она в одну душу — нет. Ищи другую должность!

Зло меня взяло — решил не сдаваться, да и где такую другую благодать найти-то? Жалование хорошее, братва по работе дружная, все больше итальянцы, я и по ихнему кумекать научился, а доходу от чаевых все больше и больше. Все платили.

Потому, если не дает какой-нибудь гражданин малую толику еженедельно « детишкам на молочишко » мы забудем кадку с мусором убрать, а сие означало пять долларов штрафа, ну посему и « благодарили » все граждане.

До ста долларов с жалованием в неделю набегало — на кой же ляд мне интеллигентный труд на бисквитной фабрике за двадцать два доллара в неделю нужен?

Года два проработать — капитал собрать — бакалейную лавку открыть можно, а она все на своем стоит. Бросай свою ассенизационную работу — и конец!

Начала в вечерней школе английский язык изучать, вроде как будто бы в Нью-Йорке никто по-русски не говорит, а по субботам — танцульками в русском клубе « Родные Перезвоны » увлекаться начала. Сама без меня ходила. Мне после работы не до танцев было.

Охладела она ко мне, стала отлучаться из дому почти каждый вечер. В летний отпуск на морскую дачу « Геленджик в Америке » сама поехала. А домой не вернулась. Без вести пропала.

От отчаяния я даже работу бросил, все ее разыскивал. За месяц тридцать фунтов веса потерял — мучился!

Ну, переводчика нашел, в полицию пошли. Тут

уж нервы мои не выдержали — в слезах на колени перед приставом-ирландцем краснорожим упал и плачу.

А он-то переводчика и спрашивает о причине слез моих страдальческих. Тот и перевел, что, мол, жена убежала. Вашего содействия, мол, просит овцу заблудшую разыскать, да к домашнему очагу ее привести.

Пристав, как услышал в чем дело, как начал хохотать, ну ей-ей, чуть от смеха не лопнул. Потом лик свой фуляровым платком обтер и грит:

— Скажи ты этому дураку полосатому, что если б **моя** жена сбежала от меня, пир на весь мир устроил бы я. А он плачет, оттого, что ему, идиоту, такое счастье привалило? Гони его в шею, а то я для успокоения его нервной системы — ночь в участке продержу, сразу придет в себя...

Ушли мы с переводчиком от греха! Дома письмо нашел от Дездемоны Карловны. Сообщила, что влюбилась в одного типа, домой не вернется, с ним жить будет. Ежели хочу, могу развод начинать, ей все едино, но просила меня забыть ее раз и навсегда.

Подумал я, что развод начинать, во-первых, грех, а, во-вторых, много денег стоит. При моих душевных страданиях еще в расход залазить нужно? И потом я однолюб. Вроде, как « из рода Азров тех, что полюбив раз — умирают ». Романец этот еще в детстве знал. Дочка отца протопопа на пианине его играла и жалобным голосом сама себе аккомпанировала.

Решил помирать, но капиталу не тратить — плюнул на разводное дело.

Узнал, кто мой соперник. Даже скандала ему не устроил. Богатый подрядчик — маляр был, правофланговый матрос гвардейского экипажа — элемент малокультурный и никаким кулаком его, черта, не проймешь.

А место жены неверной Аристархич занял. Ко мне перебрался. Он после контузии, да тифа, извините, каким-то малохольным сделался.

В Нью-Йорк, когда попал, то от шума, да от движения совсем ошалел. Сказал, что только на лоне природы работать может. Чтобы деревья, травка да кустики кругом произрастали. Ну, мой приятель его помощ-

ником садовника на кладбище устроил. Много там тогда наших русачков работало. Зарабатывали неплохо. Работа легкая, душу возвышающая была.

Которые в холостецком положении состояли, за прекрасным полом ухаживали, со службы цветы предметам своего сердца приносили. Брали их с могилок мужского пола. Дамам новопреставленным и на тот свет с цветами по протоколу светскому полагается являться, так с женских могилок цветов-то не брали — а ими пользовались с могилок новопреставленных мужиков. Потому, как его в американском погребальном бюре так отполируют, что лежит себе в гробу, как живой. Щеки румяные, побрит да причесан, на устах улыбка играет — ну, прямо хоть на фронт отправляй! Жаль только, что не дышит! Сам как настурция осенняя выглядывает, так зачем ему цветы?

Квартирку цветочками убирали, — жили с Аристархичем душа в душу, деньгу сберегали, — решили до известного капитала дойти, затем в Калифорнию уехать, духовными очами на дальний российский берег смотреть, да в Калифорнии, а не на чужбине где-нибудь свой век доживать — Калифорния, ведь, тоже когда-то российской была. Русский-то форт до сих пор целехонек стоит.



Куприяныч налил кофе.

— Ну вот, как-то с Аристархичем повечеряли, сели в « свои козыри » на спички играть — звонок раздался. Вышел, дверь открыл, входит иностранец американский, вежливо спрашивает, — где он может мистера Кваскова найти.

— Аз, — говорю, — и есмь мистер Квасков!

— В таком разе, — грит, — у меня к вам дело есть. Разрешите к вам в покои войти, целый час на сквозняке, выгоды, — грит, — никакой стоять нету.

Провел его в столовую, рюмку водки с холоду предложил. Он ее по-американски, без закуски хлопнул и сразу к делу приступил.

— Жена, — грит, — у вас Дездемона Карловна была?

— Точно так, — грю, — была, но уж лет шесть как в бегах обретается. А на какой предмет она вам нужна будет?

— На предмет завещания, не она, а вы нужны будете. В Америку вы приехали в тысяча девятьсот двадцать третьем году?

— Так точно, — грю.

— Завещание в тысяча девятьсот двадцать пятом году сделали на ту тему, что если кто-нибудь из супругов помрет, то в живых оставшийся все имущество получает?

— Точно так! Было завещание и копия у меня даже по сей час имеется. Но при чем здесь я?

— А вот причина: жена ваша, которая убежала к другому лицу на сожительство, третьего дня грузовиком убита была, а любовник ейный, до этого несчастья с нею, сам помер три года тому назад. Весь свой капитал и домик в Гарлеме на нее оставил.

Наша фирма во владение наследством ее вводила — клиенткой нашей она сделалась. Вот, в бумагах ейных и нашли завещание, по которому вы, мистер Квасков, единственный ее наследник по законам нашего штата Нью-Йоркского, с чем вас и поздравляем. Наша фирма готова и вам юридическую помощь оказать...

— Благодарю покорно, — грю, — адвокат у меня есть. Кто в Америке без адвоката живет? — Распрощались. Он ушел.

Воздастся коемуждо по заслугам его! — подумал я, смахнул невольную слезу, пышные похороны на свой счет устроил и, в тихом пристанище, на кладбище, где Аристархич садовником работал, заблудшую овцу из города Керчи на вечный покой устроил.

Вошел в наследство, в дом с Аристархичем перебрались, да вот полковника, по которому сегодня тризну справляли, тоже к нам жить пригласили. Вдовый он, как и мы с Аристархичем, был. Ума палата. По-американски говорил хорошо, пропитания ради верховой езде в манеже учил.

Посоветовал из моего дома товарищество на паях

устроить, свою часть капитала каждому внести, квартиры самим себе сдавать, а расходы по содержанию дома с подоходных налогов законно сымать. Ну, и зажили мы.

Мавру Ванну нашли — все вопросы по хозяйству решены были.

Я по своей линии, по очистке города, шел. Аристархич по-прежнему на кладбище работал, природу созерцал...

— А вы б, может, покурили? — спросил Куприяныч и мы вышли с ним на веранду, уселись в удобных качалках, Калитка все время открывалась, впуская и выпуская, главным образом, женщин, по виду определенных потомков царицы Савской. Каждая из них входила в индусскую беседочку, проводила там некоторое время, радостная или опечаленная, выходила на улицу.

— Клиентки господина корнета, — пояснил Куприяныч, заметив мой удивленный взгляд. — Они гадают-с. Как астролог, профессор черной и белой магии, предсказатель будущего, славой большой пользуется не только среди эфиопов Гарлема, но и далеко за пределами его. Зарабатывает хорошо и уже почти весь свой пай за владение домом выплатил...

— Откуда у него талант гадальщика появился? — спросил я.

— Да это у них началось еще в Турции. Попал он туда со своим приятелем, кое-что было — так загнали на прожитие, да и на пропой их души алкогольной. Рассуждали о причинах революции да войны гражданской. Ну, господин корнет с приятелем и решили, что они европейскими дипломатами тоже ограблены были, революцией настрадались, всего лишились, а посему, как другие эмигранты, « ишачить » физическим трудом не будут никогда. Только интеллигентными. Скорее воровать станут, но чтобы руки свои белые пачкать — дудки-с! В чем и клятву взаимную дали в лунную полночь на турецком кладбище при вое собак всего Царьграда.

Начали свою карьеру доставкой оружия Кемалю паше, жили, как в восточной сказке, пока англичане их не захватили, да чуть и не повесили.

Удалось им сбежать, и в Америку они оба попали, как политические эмигранты. Для близира на бисквитной фабрике проработали неделю (тогда еще спичечной открыто не было): вся русская братва там свою карьеру начинала.

Приятель господина корнета в какой-то « хор придворных нищих » поступил, а господин корнет по гадательному пошли и ясновидящим себя объявили.

Сняли в русских меблированных комнатах себе ателье, объявление в русских газетах дали, вот этот индусский наряд, что вы видели, приобрели и начали свой « бизнесс ».

Народ и попер узнавать свою русскую судьбу в стране американской. Жил неплохо.

Но тут вдруг приходит один клиент, на вид мелкой комплекции, требует, чтобы господин корнет ему его прошлое предсказал, если верно будет, тогда, мол, валяй и будущее. И нахально ему лапу тянет.

Корнет вежливо ему заявил, что ежели прошедшим вы, мол, интересуетесь, так в городской библиотеке в русском отделе, можно сочинения г. Карамзина достать и прочитать « Историю Государства Российского ». Там все правильно о прошедшем сказано. И бесплатно!

А он только будущее предсказывает и, чтобы деньги вперед. Видит, — грит он, — что клиент этот, личность в финансовом отношении довольно темная. От такой клиентуры можно только обанкротиться.

Натурально, за такие слова, клиент корнету в морду звезданул. Тот ответил. Пошел бой по всему фронту. Хозяйка в полицию позвонила. Явились американские мильтоны, обоих бойцов в участок отвели.

Там штрафом, да суточной высидкой отделались, на волю вышли. Но карьера господина корнета кончена была. Вся русская братия хохотала над тем, что в клиенте он — ясновидящий не увидел Кольку « Золотой зуб » — чемпиона боксера самого легкого веса.

После этого происшествия нашел он себе другую ряду. Миллионера-старичка инвалида в коляске два раза в день по Централ-парку катал. Жалованье, харчи хорошие. Старичек один, от семьи на отшибе жил, от скуки полюбил он своего шофера.

Все о России да о революции его расспрашивал, любил народ наш и сильно сокрушался о нем. Потом, внезапно, Богу свою душеньку отдал. На кладбище для погребения старичка доставили.

Господин корнет тоже присутствовали, по случаю сильного расстройства на малом « взводе » находились.

Гроб в могилку спущать начали, он к ней устремился с плачем да с приговариванием, кто ж его теперь, ветерана военного, кормить будет? Средства, мол, нет, на произвол судьбы оставлен, хоть в могилу за старичком иди! И кинулся в нее!

Ну, родственники остановили, сумму денег собрали!

— На, не горюй! Все будем там!

Собранной монеты хватило на целый месяц их благодетеля разведенным спиртом в « Подвале падших ангелов » поминать.

Этот печальный случай дал мозгам ихним просветление на разрешение экономического вопроса о жизни в Нью-Йорке. Найдут в газете американской объявление о похоронах богатого человека, на кладбище прутся, о новопреставленном горько плачут, о нем сокрушаются и чуть ли не в могилу за гробом сами бросаются.

Ну, конечно, на этом деле зарабатывали, жили без печали и воздыханий.

Только на одних похоронах от наплыва чувств, баланса не соблюли и в могилку сами упали. Головкой своей стукнулись о цинковый гробик, насилу их с перебитыми позвонками шейными на свет Божий вытащили, да в сумасшедший дом для выяснения причины таких сальтомортале водворили.

Держали, правда, недолго, выпустили, строго-настрого таким рукомеслом заниматься запретили.

Вот, тогда-то они с каким-то хомутом на вые их поврежденной с официальным визитом к нам в « Град Китеж » заявились. На новоселье вроде потому, что мы только что на жительство туда переехали, порядок наводили под командой господина полковника, который корнета знал. Одну и ту же славную южную школу окончили, только господин полковник выпуском старше были и корнет ему подчинялись.

« Расцукали » они корнета в пух и прах, на просьбу ихнюю к нам на жительство зачислить, предложили: за приварочное довольствие с квартирой уборщиком у нас состоять, а жалование за труды ихние— свой пай в наше товарищество вносить.

Покажет серьезность — равным членом сделаем. Корнет согласился — без вещей даже сразу к нам и водворился. На барахлишко-то ихнее, чемоданы, портрет любимой лошади, на фронте под ним убитой, да костюм гадательный квартирная хозяйка домашний арест наложила до взноса платы, ей полагаемой с ее постояльца.

— *** —

Через неделю в доме порядок навели, заседание устроили.

Общежительство наше «Градом Китежем» по предложению господина полковника назвать порешили:

— Как Град Китеж на дно озера опустился, чтобы веру свою от татар сохранить, так, — грит, — и мы, в тихий омут Гарлема попали, чтобы русский дух наш в целости оставить. В этом, — грит, — месте, да с народом, здесь живущим, свою личность, — грит, — легче сохранить, чем в других городах американских. Мы, — грит, — настоящие американские подданные, страну, нас усыновившую, любим и почитаем. Если, скажем, война будет с Канадой или Мексикой, до победы кровь проливать будем!

Но, — грит, — от своего русского происхождения отказываться нам тоже не годится. Россия-то больше тысячи лет живет, кое-что тоже имела, поэтому нам, — грит, — родиной нашей тоже гордиться нужно, ее не забывать.

— А как же мы должны себя-то держать вот здесь в Гарлеме с народом, здесь живущим? Говорят, беды с ним не оберешься.

Господин полковник задумался, потом улыбнулся и ответил:

— Не робей, ребята! Эфиопы, они народ хороший. Их царица Савская даже с самим царем Соломоном в

любви да и в согласии пребывать изволила, а наш поэт великий Ал. Серг. Пушкин целую осьмушку крови этой благородной имел.

В Москве ресторан одного Томаса тоже был, лика он темного был, как шагреневая кожа, а по-русски не хуже нас говорил и в церковь нашу тоже ходил. Кормил в ресторации на славу. Эфиопы, — грит, — народ славный, они как дети, с ними надоть только тон верный взять — все будет в порядке.

Теперь, слушай мою команду без возражениев! Устроим пир на весь негритянский мир. Для новых соседей наших — новоселье соорудим. Приглашения официально разошлем, дату торжества укажем.

В столовой банкет устроим не меньше, как на шестьдесят персон сидячих и на стоящих персон на сорок соорудим за отдельным большим столом. Столовую для пирующих декорировать надо.

— Ты, Куприяныч, иди в русскую типографию, на американском языке официальные приглашения, золотом на черной бумаге, закажи.

Ты, корнет, собери штук сто адресов с разных личностей, в домах поприличнее живущих, волоки их сюда. И, если твой костюм хиромантский еще не пропал, тащи его сюда тоже. Устроим бал с атмосферой.

А теперь по коням! Справа по одному, рысью марш-марш! По делам!

Приказ господина полковника выполнили, а они с Аристархичем вместе в подвале освещенном материи шили, красили да рисовали ее, а разобрать ничего было нельзя, когда ею были увешаны все стенки столовой.

Ну вот, наступил и день торжества. Столы ломились от снеди всякой, да ведер пять хмельного по столам в бутылках стояло. Господину корнету господин полковник в их костюм восточный с чалмой одеться приказали, да саблю кривую деревянную, в золотой цвет окрашенную, надели, за пояс пару пистолетов незаряженных засунуть приказали.

Мавру Ванну в подвале у главного выключателя, с граммофоном рядом, на часы поставили, и строго-настрого по сигналу условному весь свет в доме потушить

минут на пять и ручной граммофон в ход пустить ей приказали.

Ну, вот, гости собрались, господин полковник речь держать изволили, объяснили, кто мы такие, по очереди нас представили, эфиопы ладошами хлопали.

А корнета они последним номером объявили. Вывели на самую середину, попросили особого внимания и доложили всему честному народу, что перед ними находится сам граф Сэн Жермэн Евпаторийский. Знаменитый маг, чародей, астролог, ясновидящий и предсказатель всего будущего.

Просил обращаться с ним деликатно, а не то может беду напустить. По хорошему от дурного глаза да наваждения избавить может. Плата за сеанс только наличными и по соглашению.

Сели полковник на свое место — настоящее веселье дымом и коромыслом пошло. Некоторые гости чечетку начали выбивать, а другие по симпатии к нам пытались в русскую присядку пускаться.

И вдруг, свет-то потух, и, мать честная!

Вопли, крики, стоны раздались, столпотворение началось! Все гости к выходу бросились, пробку образовали, драку начали...

Я сам, не пужливый, когда осмотрелся кругом, так и меня страх пронял, На стенах-то разная нечисть красовалась! И крокодилы с чертями, и жабы, и змеи, и шкилеты, и драконы китайские... И все это бледное и зеленое, в тумане неестественном качалось и плыло. А граммофон с чувством исполнял « Со святыми упокой » — хора Жарова.

У самого от страха зубы лязгать начали, но вдруг! « Слава Тебе, показавшему нам Свет! » Электричество загорелось, вся нечисть пропала — гостей хоть шаром покати, только мебель перевернутая да угощенье, разбросанное по всей столовой, видно было и господин полковник от смеха владать собою не могли, захлебывались, да слезы платочком вытирали.

— Ну, теперь, ребята, наша взяла! По гроб жизни будем здесь жить в тиши да в благодати, да почетом будем пользоваться. А тебе, корнет, великую будущ-

ность предсказываю. Знаменитостью всего Гарлема будешь, — и давай опять хохотать.

Мне же он объявил, что эфиопы народ хороший, но как дети природы очень суеверны. Так они фосфорной краской гадов разных и нарисовали, при свете-то их не видно, а в темноте, сам, мол, видел, что случилось. Все просто было сделано, а теперь нам не жизнь, а масленица будет!

И верно! На другое утро, когда мы на работу шли, так не токмо соседи, а собаки даже ихние от нас со страхом убегали.

Ну вот, и до сих пор живем по хорошему, по-соседски, а господин корнет большую практику получили: зарабатывает хорошо, скоро пай выплатит, а будку индусскую на наличные построил. В доме-то клиентов принимать ему трудно было.

Как видите, живем неплохо. На место господина полковника, из строя выбывшего, Господь нам Ивана Иваныча, вашего приятеля, послал. Голова у него на плечах, капитал большой имеет, все порядки и законы американские знает, ну ему мы подчиняемся. А как же русский человек сам жить-то может? Вестимо, старшего иметь надо, а то порядку никогда не будет.

Так разрешите когда-нибудь к вам зайти, да взять почитать?

Я поблагодарил за прием, просил бывать у меня. Сопровождаемый Ванькой, вышел на улицу. Шли молча по направлению станции подземки.

Ванька первый прервал молчание:

— Ну, как тебе понравилась моя компания и вообще вся обстановка, в которой я живу?

— Ты был прав, когда сказал мне, что ни в одной портретной галерее таких типов не найдешь. Мне показалось, что я был не в Гарлеме с его цветным населением, а в русском домике где-то в Коломне, задолго до революции... И все же ты меня удивляешь, — сказал я.

— Это же почему? — покосился на меня Ванька.

— Да ты вполне американизировался. Говоришь по-английски без акцента. В деловом мире занимаешь крупное положение. Состоятельный человек, а живешь в самом бедном районе Нью-Йорка. Правда, твои со-

жители — типы интересные, но каким нужно быть смелым человеком, чтобы, не считаясь с общественным мнением, жить в Гарлеме. Вот это меня страшно интригует.

Ванька улыбнулся и предложил:

— Зайдем на минутку в бар.

Зашли. И за виски с содой он сообщил мне следующее:

— О моей любовной драме ты знал, как и о решении быть вечным холостяком. Я работал, как вол, и занимался самообразованием. Были легкие любовные интрижки — и точка.

Как-то с одним приятелем, почти уж на рассвете, ехали мы подземкой в один ночной клуб в Гарлеме. Вагоны были почти пустыми, но напротив нас сидела мулатка поразительной красоты с двумя очаровательными девочками — подростками.

Мой приятель болтал по-русски, восхищался красотой этой группы, сначала как эстет, а потом довольно откровенно громко занялся подробным анализом каждой из этих трех граций.

Я полупьяно соглашался с ним.

Временами казалось, что они прислушиваются к нашему разговору, но мы, уверенные, что они по-русски не понимают, дали полную волю своему пьяному красноречию.

И вот, когда мой друг уже действительно перешел границу приличия своих дифирамбов, мулатка открыла свою сумочку, вытащила оттуда русскую газету, и начала читать.

От смущения у нас соскочил хмель. Мы подошли, просили извинения, спросили, откуда она знает русский язык.

Очаровательной улыбкой мы были прощены, а насчет знания русского языка? Так ведь она родилась в Петербурге. Ее родители работали в цирке Чинизелли американскими танцорами, уехали из России после переворота, но она успела дойти до шестого класса гимназии.

Она любит все русское настолько, что даже ее дети владеют русским языком

Смущению нашему не было конца, мы стояли перед нею, как оплеванные, повторяли извинения. В знак данной амнистии, по Нью-Йоркскому обычаю, она пригласила нас к себе на завтрак.

Мы вошли в ее прелестное гнездышко с массой хороших русских вещей. Ее дочери начали возиться на кухне, она рассказала, что родители и муж умерли. У нее балетная студия, она работает много и редко выходит из дому. Сегодня она сопровождала своих дочек на годичный бал их школы, а так все работа. Дочерей воспитывать куда труднее, чем сыновей.

Девочки прекрасно говорили по-русски, знали русскую литературу и историю прилично, держались почти по-русски — скромно.

Уходя, я получил приглашение у нее бывать. Пришел домой в семь часов утра. Заснуть не мог. К вечеру отправил ей громадную корзину цветов.

Я был серьезно влюблен, виделся с нею как можно чаще. Через несколько недель она ответила мне взаимностью.

Я был счастлив — лучше ее во всем свете не найдешь! Красавица, умница, прекрасная мать, талантливая балерина, мягкий характер — где такую вторую жену найдешь?

Я сделал ей предложение. И вот тут-то она оказалась большим человеком. В браке отказала. Напомнила, что она негритянка, я белый. Повенчаемся — моя карьера окончена во всех смыслах. Расовый вопрос тогда был особенно острым.

Я любил, меня любили, при чем здесь цвет кожи? На все мои просьбы она отвечала отказом: подругой будет всю жизнь, женой — никогда!

Мы с нею встречаемся в одном укромном месте, ее дочери уже курсистки, конечно, догадываются о наших отношениях, ведут себя тактично, искренне полюбили меня.

Ей — мулатке, было трудно посещать меня в квартире на 5-ом авеню, мне — белому, часто бывать в Гарлеме тоже удобно не было, а хотелось быть вблизи от нее.

Из этого положения вывел меня визит Куприяны-

ча, пришел за каким то пожертвованием ко мне, рассказал о смерти полковника и я занял его место. И теперь я вполне счастлив.

Днем в деловой столице мира — в Нью-Йорке, вечером — в глуши русской провинции в « Граде Китеже », неподалеку от дома моей подруги — я блаженствую.

Вчера она мне было сказала: подождем года два-три, дети станут на дорогу и мы уедем на американские Антильские Острова — там поженимся. Хочешь я познакомлю тебя с нею? Она редкий человек...

За предложение я сердечно поблагодарил, потом спросил Ваньку о типах, с ним живущих. Он мягко улыбнулся.

— Куприяныч — это особый тип в его русскости. С одной стороны — чиновник Лебедев из « Идиота » Достоевского, с другой — что-то вроде Алеши Карамазова. Выжига, скупердяй, каких свет не видал, а половину того, что зарабатывает — русским инвалидам в Европе отдает.

Мало того, разве ты на русских балах не слышал восклицаний:

— Закрывай карманы! Куприяныч идет!

Это означает, что будет сбор пожертвований, и отвязаться будет нельзя, хоть что-нибудь да выдерет для бедных.

Если о нем в газетах пишут, скандал устроит, не любит, чтобы о нем писали, но помогает бедным неуклонно. Работает, как вол, пьет мало, ну, конечно, как у всякого из нас, и у него слабости имеются. Воображает себя богословом, любит спорить с одним дьяконом, которого считает « липовым », неправильно в дьяконовский сан « произведенным ». Отец дьякон до рукоположения в русских ресторанах романсы распевал. Спорит с ним до хрипоты, потом чуть ли не гонит его домой, тот, обиженный, не появляется недели две. Ну, тогда Мавру Ивановну парламентером посылает — дьякона на обед приглашает и опять диспут устраивается.

Он хороший парень, мне очень нравится и я его ценю, как настоящего русака.

— А корнет?

— Лодырь, пьяница, труслив, как заяц, блудлив, как кошка, живет, как Куприяныч говорит, « наизусть », но в корне не злой человек, хотя ловчила большой.

—А Аристархич?

— Тот из лицеистов Демидовских, после контузии немного психически расстроен. С Куприянычем — водой не разольешь уж много лет. Очень хороший человек — одно несчастье: влюблен в Мавру Ивановну нашу. Страдает, что ему не отвечает взаимностью...

— Это она-то? С ее наружностью? — спросил я.

— Да, он страдает по ней! Она, в свою очередь, в корнета влюблена, взаимностью тоже не пользуется и тоже потихоньку страдает. В нашем домике живут комики!

А мне с ними весело! Забавно и то, что меня почитают тут за « старшего » и с моим мнением считаются — уважают меня по-настоящему. Грустно мне будет, если придется мне уехать отсюда. Вот этот дом с садиком и березками, ведь это часть, пусть безалаберной, но все же любимой мною России.

Заходи почаще. Всегда будем рады видеть тебя. Ожидай Куприяныча с визитом. За книгами он придет. Ему нужна богословская эрудиция! — с отцом дьяконом сражаться.

Мы распрощались и разошлись.

А через неделю ко мне явился Куприяныч. После чаепития — сразу набросился на богословский отдел моей библиотеки, щелкал языком и восклицал: « Премудрость, да и только »! Попросил « на прочтение » две книги: « Юлиан Отступник » и учебник гомилетики *).

— Что вы, Куприяныч, давно богословием интересуетесь?

— Сызмальства. Когда-то даже чуть ли не все Четьи Минеи наизусть знал, а потом борьбой с жизненными бурями занятый, не мог услаждать душу свою светом истины. Теперь в отставке снова жажду знаний возвышенного и неземного — вот и налегаю на богословие. Этим вопросом одно лицо, мне близкое, тоже ин-

---

*) Наука о составлении духовных проповедей.

тересуется, но времени у нее на это дело не хватает. Посему прочитанным материалом с нею делюсь. Она, как бы, — тут Куприяныч слегка замялся, — моя собеседница духовная.

Я познакомился с нею на лекции в « Доме Искусства » « О вреде пьянства », после которой были танцы до трех часов ночи. Конечно, был и буфет с разными освежающими напитками, потом проводил ее до дому. Пригласила бывать у нее. Женщина серьезная, вдовая и бездетная, работает тяжело. С утра до вечера за кассой сидит в своем баре-закусочной « Тоска по родине » с многочисленной русской клиентурой. Вы там изволили бывать?

— Нет, — сказал я.

— Хорошее, чистое место. Никогда никаких скандалов не бывает. Потому, как кругом надписи нравственного содержания висят...

— Какие же это надписи? — заинтересовался я.

— Ну, скажем, посередине одна надпись гласит: « Могий вместити да вместит и с миром изыдет домой! » — Справа: « Не упивайтесь вином, бо в нем есть блуд — потребляйте русскую водку Петра Смирнова ». Слева же другая красуется: « Принимай вина стомака ради твоего, но помни праотца Ноя ».

И все в таком духе. Натурально, клиенты ведут себя тихо. Днем не только драк не бывает, но даже по-русски не выражаются. А кто захочет руганкой душу отвести, так по-американски кроют-с. Этим словам обучились, а по-русски ни-ни!

Вечером ейный братец ее сменяет — она домой идет.

Ну иногда я навещаю ее, разговоры душеспасительные ведем. Ее я даже в свою церковную юрисдикцию перетащил. От геенны огненной избавил ее. Дружба у нас с нею христианская появилась.

Вы мне разрешите эту книжечку « Добротолюбия » взять с собою? — переменил тему разговора Куприяныч. И ушел домой.

Визиты Куприяныча доставляли мне большое удовольствие — он часто появлялся у меня « на предмет одолжения книг для домашнего чтения ».

Он, с его странной формой мышления, с его многогранностью взглядов, напоминал мне какой-то всегда меняющийся узор калейдоскопа.

То он казался тертым калачом, « жохом » Нью-Йоркской складки, то это был добрый Самарянин, старающийся помочь ближнему своему, то это был обличитель всего греховного, а временами, русский тип кулака, который беспокоился о том, что корнет может спиться, не уплатив полностью пая в « Град Китеж ».

В общем Куприяныч для меня был тем, что французы называют âme slave. От него можно было ожидать решительно всего.

Как-то он начал восхищаться талантами Гликерии Сысоевны, так звали кассиршу. Кристальная чистота ее характера, серьезность взглядов на жизнь, удачная игра на бирже, спекуляция недвижимым имуществом, постоянная работа в баре « Тоска по Родине » вызывали у него какое-то преклонение перед ней.

Он боялся только, что она одна несет на себе бремя непосильных забот, что ей трудно справляться со всеми делами, брату ее он особенно не доверял... Ей нужен хороший помощник во всех ее предприятиях...

— А почему вам, Куприяныч, не сделать ей предложения да честным пирком и за свадьбу? — перебил я поток его излияний.

— Что вы! Что вы, благодетель! Во-первых, у меня и состояния в пять раз меньше, чем у нее, и с ее стороны никаких резонов воспламенения возвышенной любви ко мне не вижу-с. Вам по душам скажу, что Гликерия Сысоевна мне нравится и очень, но в мыслях своих даже мечтать о счастье обоюдном не смею-с! Своим предложением оскорбить ее еще могу, а тогда все пропало, — и он грустно замолчал.

Я подлил виски.

— Эх, Куприяныч! Я за орла вас считал, а на поверку вы мокрой курицей оказываетесь. А еще солдатом были! Да вы по-Суворовски! Быстрота и натиск побеждают врага! Сделайте ей предложение, — ну, откажет, во что я не верю, эка беда! А вдруг согласится быть вашей женой? Соединенными капиталами да ком-

мерческими способностями, знаете какое дело вы вдвоем развернуть сможете?

Куприяныч робко-умилительно, но все еще недоверчиво, смотрел на меня.

— Как отец родной советую, попробуйте! Откажет — в тюрьму вас не посадят, а вдруг выиграете руку и сердце? И бар-закусочную « Тоска по Родине »?

— Истину, благодетель, глаголите истину! Так и быть — попробую! Сделаю ей предложение! Потому что братцу-то ее особенно не доверяю в ведении бара « Тоска по Родине »! На основании точных наблюдений. Сам даже затосковал, глядя, как он пьет, да из кассы ворует! Знаю, ей нужен верный человек. Слушаюсь — сделаю ей предложение руки и сердца. Все доводы приведу в пользу этого дела. Хотя она и сама знает, что вдвоем жить лучше и дешевле, чем одному. А откажет? С горя во Флориду уеду... Там до наступления сезона в шикарных отелях за гроши сердце израненное залечить можно. Спасибо за совет. О результатах срочно сообщу. Прощайте!

Он ушел.



А через неделю он явился ко мне какой-то тихий, серьезный, даже слегка торжественный.

— Ну что, можно поздравить? — спросил я.

— Нет-с. Пока еще рано. Но вы были правы на половину-с! Пришел я к ней одетый по всей парадной форме, даже с букетом цветов, который не на лотке, а у грека в магазине купил. Был принят ласково. Я по артикулу на колени упал, букет держал спереди, в любви признался, руку-сердце предложил, капитал мой на наше общее имя положить обещал. Просил не казнить — дать положительный ответ.

Она, по правилам, помолчала потом сказала, что я ей тоже нравлюсь, но, мол, знает меня-то она очень мало. Хочет узнать получше. Желает посмотреть как мы живем в нашем доме. Что там за публика обретается и вопче, почему четверо мужчин и одна женщина под общей кровлей обретаются.

Объяснил ей все начисто с приложением моего жизнеописания, пригласил ее на обед, в следующий вторник. Бар-то по случаю выборов закрыт будет — у нее весь день и вечер свободны.

Хотел бы, чтобы и вы своей персоной украшали обед, да за корнетом присматривали бы, чтоб он по своей кавалерийской привычке не ляпнул бы чего-нибудь.

Я поблагодарил за честь, но отказался, ссылаясь на дела.

— Моя судьба в руце Всевышнего. Молитесь, благодетель, за меня! — и Куприяныч оставил мою квартиру.

Через неделю зашел на огонек Ванька Собакин. Рассказал о парадном обеде, о Гликерии Сысоевне. Солидная женщина, типа русской купчихи 3-й гильдии, « выше среднего возраста », дебелая, с мягким русским лицом, но с глазами, видящими на три аршина под землей.

Она быстро учла всю обстановку, успокоенно взглянула на Мавру Ванну, обратила внимание на одного корнета, одетого в смокинг, лаковые туфли, единственного из всех поцеловавшего ей руку. Плотно кушала, вела светский разговор... Размякшая от вишневой наливки, стала сентиментальной. Жаловалась на одиночество. Прощаясь, пригласила посещать ее бар « Тоску по Родине ». Куприяныч увез ее домой.

С тех пор он пребывает в радужном настроении — все время просит лицеиста играть ему на гитаре романс « День да ночь, сутки прочь! ».

Общее резюме Ваньки было: свадьба Куприяныча состоится, лицеист тоскует... Корнет в смокинге с красной гвоздикой оттенка « Герцог Виндзорский » — улетает куда-то на целый вечер. Домой является вдрызг пьяным. Мавра Ванна отпаивает его рассолом квашеной капусты. А так « на Шипке все спокойно ».

19 декабря влетел ко мне Куприяныч с букетом цветов, бутылкой, завернутой в зеленую бумагу, обвязанную золотым шнуром.

Поздравил меня с днем ангела, а я уж и забыл, ког-

да справлял именины в последний раз!... В Америке празднуют день рождения — и очень редко именины.

— А посему и цветы и наше отечественное американское шампанское вам презентую. Давайте его в ледник для охлаждения поставим. Дары сии не только по случаю вашего тезоименитства, но и благодарность за то, что после Пасхи, на Красной Горке я с Гликерией Сысоевной судьбу свою гражданским и церковным браком соединяем.

Не будь вас, не быть бы моему счастью. Навеки буду помнить вас, благодетель мой. Только пока все держать в строгом секрете решили. Знают об этом деле только трое нас. Надеюсь, что просьбу нашу уважите тайну сию держать про себя.

Давайте бокальчики и воздадим должное продукту штата золотой Калифорнии.

Распили бутылку. Куприяныч, как русский чижик, без умолку трещал о счастье, ожидаемом им после Пасхи.

Страшно довольным он ушел домой.

Прошли шумные американские рождественские праздники. Отпраздновали их в « Граде Китеже », ожидали нашего русского Рождества по старому календарю. А то как же? « Немного нас, но мы славяне! », американцы русского происхождения, и обычаи свои древние блюдем свято. Не забываем-с. По двум календарям справляем.

И вот в самый русский сочельник поздно вечером, когда я уже спал, резко зазвонил дверной звонок.

Недоумевая, кто бы мог зайти ко мне в такой поздний час, я пошел, открыл дверь и увидел перед собою Куприяныча.

Не здороваясь, не раздеваясь, не снимая даже шляпы, вбежал он в студию и завопил:

— Отогрел змею на сердце моем! Вот она, человеческая благодарность!

— В чем дело, Куприяныч? Какую змею? Ничего не понимаю... Я уж спал...

— Корнет! Корнет-с! Вы посмотрите, что этот жулябия мне устроил! — и он развернул бумагу и показал мне... просфору.

— Вы видите? Вы видите?

— Вижу. Просфора.

— Нет же! — он повернул ее донышком вверх и снова завопил: — Читайте-с! Умоляю вас, читайте!

Внизу просфоры стояло: « Об упокоении Новопреставленной рабыни Божией Гликерии »...

Я перекрестился.

— Царство Небесное, — сказал я. — Когда же она скончалась?

— Да не скончалась она, дуреха полосатая! — поросенком провизжал Куприяныч. Нате! Читайте! — и он протянул мне чье-то письмо.

Пришлось надеть очки. Я начал читать вслух:

« Неуважаемый Капитон Куприяныч! Все я могла думать о Вас, но чтобы до такой низости Вы, подлец и обманщик, дойти могли, я это даже не подозревала. В любви клялись, капитал на мое имя отписать хотели, руки и сердца просили. Я, дура, слово дала, а что получила?

Вы меня, еще живую да не венчанную хоронить вздумали! Об упокоении меня, новопреставленной, просвирки подаете? Извести меня своим чернокнижием хотите? Мои капиталы забрать?

А что вы чернокнижник, так это мне господин корнет сказал. Они сами астрологией и белой магией занимались и все тайны Востока знают.

Человек он благородный, в боях израненный (тут Куприяныч сочно выругался), предупреждали меня о вашей низменности и много раз в любви объяснялись. Я им не доверяла. Но просвирка глаза мне открыла... На вас, подлеца, плюнула, а корнету мое сердце и руку отдала и двадцать пять процентов интереса в баре « Тоска по Родине » (тут Куприяныч неподдельно застонал) обещала, когда законным браком сочетаемся.

В тропиках Флориды, в городе Миами... « Там, где пальмы только шепчут, да океан шумит могучею волной! » *). И где вашей богопротивной рожи нет.

Будущая мадам Кускова ».

— Вы, Куприяныч, извините меня, но я абсолютно

---

*) Романс Васи Фомина.

ничего не понимаю! Что случилось? Каким образом корнет отбил вашу Гликерию? Чем я могу быть вам полезен? Сядьте, успокойтесь, вот вам виски с содой — по порядку расскажите, в чем дело.

— Извините меня, благодетель, за мою горячность, но случилось вот что: третьего дня день рождения Гликерии-с был. Ну, готовился я к этому дню, сами знаете как! Хотел ей сюрприз устроить. Устроил! Черта с два! — Куприяныч горько усмехнулся. — В ночь перед торжеством, возьми я да заболей! Простудился я этим гриппом окаянным так, что вот ей-ей, с кровати встать не мог. Позвал я этого бандита, попросил его в церковь сходить, просфору подать о здравии Гликерии Сысоевны, да ее после службы с надлежащим цветов букетом в бар «Тоску по Родине» отнести, объяснить ей, что, мол, в слабосильной команде по случаю простуды нахожусь — лично поздравить ее не могу.

Этот кровопиец сказал, что с радостью выполнит мое поручение. Взял деньги — ушел. Я один целый день дома был. Хотел ей по телефону своими слабыми руками позвонить — телефон не действует.

Вернулись Ван Ваныч с лицеистом да Маврой Ванной вечером домой, дали мне пилюлю чудодейственную, тепло укрыли, я и заснул.

Проснулся утром — здоров и свеж, как огурчик. Мавра Ванна доложила, что корнет дома не ночевал. И целый день он тоже не появлялся.

А телефон все еще не работает. Монтер пришел — саботаж установил. Провода перерезаны были.

Екнуло мое сердце тогда. Тепло оделся, — в бар побежал. Ее там нету. Братец ейный вот эту просвирку, да письмо небрежно мне вручил. Письмишко прочел, в глазах помутилось, прошу его, Христа ради, объяснить причину таких враждебных действий. Он мне и заявляет:

— Сестрица моя да корнет низменность души твоей познали, на разных аэропланах в штат Флориды улетели. Венчаться там будут — вот что! А ты, — грит, — катись колбасой отсюда, пока я тебе какого членовредительства не устроил.

И кулаком в личность мою, то-есть в рыло, чуть не заехал.

Ушел я от греха. Пешком до вашей квартиры добрался — по пути план действий обдумывал. Решил, что Гликерию, голубку мою, спасать надо. Корнет ее, извините, без подштанников может оставить. Действовать надо экстренно. Одному на аэроплане лететь боязно, да еще впервые.

Вот я к вам, благодетель мой, и направил стопы своя с предложением. На мой счет вкупе со мною, на юг благодатный полететь, окиянским воздухом подышать и мне моральную поддержку за спасение Гликерии оказать.

На вас одного надежда, благодетель мой. — И Куприяныч повалился мне в ноги.

Пришлось показать ему телеграмму, срочно вызывавшую меня в Сан-Франциско: насилу втолковал ему, что помочь ему не могу. Лететь он должен сам. Я дал ему совет: держаться как можно хладнокровнее — в этом залог спасения Гликерии.

— Благодарю, — всхлипывая, сказал Куприяныч и уехал на аэродром Нью-Йорка.

— *** —

Я вернулся домой в Нью-Йорк только через три месяца и нашел в груде накопившихся писем официальное приглашение Куприяныча на его свадьбу. По дате письма она уже состоялась два месяца тому назад во Флориде.

Я позвонил Ваньке Собакину и получил подтверждение — да!

Свадьба состоялась, молодые после длительного медового месяца скоро возвращаются в Нью-Йорк. Узнаем все подробности от самого Куприяныча.

Оказалось, что жизнь в « Граде Китеже » нарушена. Мавра Ванна тоску по корнету заливает каждодневно в баре « Отцы и дети », о котором злые языки говорят, что и внуки скоро алкоголиками сделаются. Пьют там по-американски — без закуски.

Лицеист впал в черную меланхолию о Мавре Ван-

не. Дом убирает новая прислуга, ирландка, Ванька питается у своей подруги.

Ванька рассказал, как произошел увоз невесты. Когда корнет узнал о капитале Гликерии, то зачастил в бар « Тоску по Родине », поносил Куприяныча, клялся в любви к Гликерии вечной и нерушимой. С ним-де она будет счастлива по гроб жизни...

Гликерия, практическая женщина, ему не доверяла, сомневалась, колебалась... Но просфора, принесенная корнетом в смокинге с орденами и звездой эмира бухарского (вымененной на полбутылки водки и коробку сардинок в Турции), с букетом роз, решили дело в пользу корнета. Она улетела с ним во Флориду, навстречу счастью.

Все это Ваньке рассказал брат Гликерии.

А через неделю позвонил и сам Куприяныч.

— Благодетель! Рад слышать ваш голос. Жажду увидеть и облобызать вас. С супругой своей ликвидируем здесь все наши дела. Ферму большую покупаем и будем наслаждаться русской природой в американском штате, Мэйном прозываемом. Там леса березовые да сосновые стоят еще целыми, озер да речек много и рыбой полны, грибов да ягод угол непочатый. Ну прямо, как на берегах Онеги нашей древней.

Вот там и воздвигнем новый « Град Китеж », со дна омута Гарлема нами поднятый. На веки веков нерушимый во славу американцев русского происхождения.

Приходите завтра на пирог с вязигой да на уху из мелкого осетра. Глаша насчет кулинарии книге Малаховца сто очков вперед может дать, а не токмо Мавре Ванне-с!

— Да вы, Куприяныч, где остановились-то?

— Как где? У себя в Гарлеме, в « Граде Китеже », а иначе где же? Кто готовить да дом убирать будет? Мавра Ванна в бегах состоит, корнета спасать поехала во Флориду. Прислуга дорого стоит, ну вот Глаша всем и заведует. Копейку-то беречь надо. Завтра Ван Ваныч свою невесту к обеду пригласили тоже. Так приходите. Ждем не дождемся!

Я пришел с цветами на другой день в « Град Ки-

теж » в указанное время. У калитки встретил меня сам Куприяныч, потолстевший и загоревший.

— Милости просим! Входите, благодетель, входите. Не было бы вас — не видать мне счастья моего! Все уж собрались, с нетерпением вас ждут. Радостную весть вам тоже сообщу. Внутри дома-то вы курить можете. На веранду выходить уже больше не надо. Дамы-то наши курят, как паровозы! В Америке — « Лэдис фойст! » « Дамы первые-с! » — убийственным английским произношением щегольнул Куприяныч. Женщины во главе — нашему мужику — собрату даже пикнуть нельзя. Демократия-с полная!

Вошли в дом, где я был представлен Гликерии Сысоевне, солидных объемов даме с приятным лицом и почему-то мечтательными глазами.

Когда Ванька представил меня своей невесте, я чуть не ахнул от изумления. Я увидел обворожительную молодую женщину. Никогда нельзя было бы назвать ее матерью двух взрослых дочерей! Когда же я посмотрел в ее бездонные, громадные, по-детски открытые глаза, когда услышал музыку ее отличной русской речи, то признаюсь!... Впервые в моей жизни, я, не знавший чувства зависти, позавидовал Ваньке! И было чему позавидовать. Он, видя впечатление, произведенное ею на меня, сам довольно улыбался.

Весело и шумно прошел обед. Дамы, при помощи Ваньки и лицеиста, занялись мытьем посуды и уборкой кухни (милый американский обычай!). Как будто нельзя до завтра оставить?

Куприяныч увлек меня в гостиную и начал свой рассказ:

— Прилетел я тогда в Миами и в центр самого града, автобусом, бесплатно, доставлен даже был. Ночь, звезды, пальмы древесные, окиян и жара, какой в Касимове даже в июле не бывает. Думаю, куда идти-то? Где беглецы могут остановиться? Припомнил, что в мой первый визит, я-то остановился в русском отеле « Под Двуглавым Орлом ».

На всякий случай поехал туда, если там их нету, — то расспросить можно. Так-с! Приехал на место — сразу в точку попал.

Корнет Кусков, остановившись в номере шешнадцать, почивают. Сами. А Глаша в списках не числится. Значит, она в другом месте, перевенчаться не успели еще. От сердца отлегло.

Подошел к шешнадцатому номеру. Постучал. Сам господин корнет дверь открыл, увидел меня, хотел захлопнуть ее, но я-то ножку в дверную раму вставил, не тут-то было! Внутрь и вломился! По ихней морде ясно было, что мучились похмельем они, но вида не подавали-с! Возлегли на кровать и даже дерзко вопросили меня:

— За каким ты дьяволом сюда пожаловал, старый хрыч!

Это я-то старый хрыч! Хорошо-с!

Тут я и давай его разделывать. И такой и сякой и разэтакий! И где Глаша?

А он, знаете, нахально улыбается и заявляет:

— Проворонил ты, — грит, — свое счастье, Куприяныч! На то, — грит, — в море и щука, чтобы карась не дремал! Теперь казнись сам! Глаша в меня без ума влюбилась и послезавтра свадьба. Вчера медицинский осмотр был в городской управе и оглашение о предстоящем браке состоялось! И получается, Куприяныч, что « ваших нет »! А Глаша моя!

— Верно ли это? — спрашиваю хладнокровно, как вы, благодетель, учили меня, а в душе вулкан кипит.

— Вернее верного, — грит, — а сам полотенце мокрое на лоб свой похмельный накладывает.

— А где она находится?

— А это, грит, секрет изобретателя...

— А долг пятьсот долларов, кто мне заплатит? — спрашиваю я.

— Подождите денька два. Сам в больших капиталах ходить буду — долг возвращу. Глаша на мое имя в банк пять тысяч завтра кладет...

— Нет, говорю, не на таковского попал. Я труженик и к знакам денежного обращения уважение большое питаю. Гони долг, сей же минут!

— Наличных, грит, — нету.

— Пиши чек на банк, раз деньги у тебя там будут.

— Черт с тобой, согласен.

— Тогда, — грю, — пиши чек на семьсот пятьдесят долларов...

— Миль пардон, почему?

— А билет аэропланный в два конца да прожитие мое кто оплатит? Король английский?

— Черт с тобой! Заполняй пустой чек на банк Миами на семьсот долларов. Я его подпишу, а жить у меня до свадьбы будешь. Две кровати стоят — дрыхни на одной. Питаться будешь на свой счет. Я бесплатной столовой для брошенных женихов содержать не желаю!

Выписал я ему чек, он его подписал: на душе легче сделалось. В Америке выписать чек без счета в банке открытого — дело гиблое — заплатит, как голубчик!

— Ну, — говорю, — черт с вами, господин корнет. Я « спорт-человек ». Я потерял, — вы Глашу выиграли — счастья вам желаю! Друзьями останемся. Шафером буду, если хотите. Русское великодушие покажу... Не будь вас, даром бы во Флориду не попал бы.

— Куприяныч! Я всегда знал, что ты порядочный человек. Давай выпьем!

Выпили. Он на старые дрожжи-то быстро свалился, — захрапел.

Я вышел на берег, прохладным воздухом ночи свои пламенные чувства охладить. Куда там было их-то охолаживать! Чем больше думаю, тем сильнее злоба мною овладевает и даже голос какой-то слышу: « Пореши ты корнета за потерянную любовь ».

Я аж перекрестился, наваждение — думаю. Хотя и негодяй он, а все же человек. За убийство здесь — американцы — с полным комфортом на электрическом стуле на тот свет отправят, да и там по головке не погладят. Двойной убыток получается.

Вернулся в отель. Пришел в комнату, господин корнет дрыхли. Две пустых бутылки из-под виски на ночном столике стояли. Храпом своим окаянным всю ночь напролет мне спать не дали. Без сна промаялся, а голос-то дьявольский все шепчет: « Пореши твоего супротивника. Тело в канал акулам на съедение брось — делу конец. Все шито-крыто ».

Утром в церковь русскую пошел. Свечку Ивану

Воину поставить — тот сам порешит, какую кару обидчику припаять, за грехи-то его.

Вышел из церкви, на время отошло, а потом опять наваждение: пореши да пореши господина корнета.

И знаете, благодетель, что? Дьявол-то мною и овладел. Решил я господина корнета убить, пошел в город револьвер покупать. Иду. Смотрю — тир для любительской стрельбы открытый.

Дай, зайду, в стрельбе попрактикуюсь, чтобы этого бандита, без мучениев, на тот свет сразу отправить. Взял ружье. Нацелился. Четыре выстрела промазал, не попал, а пятый большой шум произвел, подходит хозяин со вздохом, ящик какой-то дает.

— Давись ты, — говорит, — этой дорогой вещью.

Я открыл — смотрю — бритва прямая, немецкой работы, с ремнем направленым в нем лежит.

Зачем, думаю, бритва мне нужна, человеку братоубийственно настроенному?

Потом, ба! Приятная мысль в голове молнией пронеслась! На крыльях надежды, стрелковым шагом полетел в отель. В комнату спокойно вошел. Господин корнет глаза протирали, морда, как у верблюда, опухшая, пить просит.

Дал ему воды, он лежит, стонет, на меня одним глазом поглядывает. На крючочек супротив его кровати ремешок я приладил, стал бритву направлять... А сам « Хаз Булат удалой » напеваю.

— Ты что, Куприяныч, бриться будешь?

— Нет, — говорю, — бриться пока не желаю...

— А зачем же ты бритву направляешь?

Тут я в мгновение ока к нему подскочил, за ворот рубахи ночной хватил, бритву к горлу приставил: « Тебя, паршивца, сейчас резать буду. Молись, конец твой наступает! »

— Куприяныч! Не губи таким ужасным инструментом. Пощади, что хочешь сделаю!

— Верно ли ты говоришь, иль туман напущаешь?

— Матерью, — грит, — клянусь...

— Так вот, бери телефон, — а сам бритву-то у горла держу, — Глашеньку сейчас же вызывай. Придет, ты ей брехню свою всю расскажешь и про про-

свирку, и про все протчее... Услышит Глаша правду, пусть сама выбирает: тебя или меня. До той поры под страхом смертной казни ты находиться будешь.

Вызвал он ее по телефону. Через десять минут Глаша пришла, чуть в обморок не упала, на картину эту глядя.

— Вы, — говорю, — Гликерия Сысоевна, на месте спокойно стойте. А ты, корнет, всю правду-матку выкладывай, не то секим башка тебе будет!

И выложил он все, как попу на духу. И про наветы на меня, и про просвирку, и только тогда отвел я бритву от гортани его.

— А теперь, сударыня, — говорю, — выбор ваш: корнет или я?

Залилась слезами она и грит:

— Догадывалась я, Куприяныч, что дело-то не во всем порядке было. Но гордость женщины вашей просфорой уязвлена была — вот на такой шаг и решилась.

Если у вас еще пылают чувства любви ко мне, то я ваша по гроб жизни. На этого гада и смотреть не хочу, если вы даже и отвернетесь от меня!

Подошел я к ней, обнял, сказал, что, кто старое помянет, тому глаз вон. Вышли мы с нею из комнаты шешнадцать под ручку.

Корнета оставили на растерзание хозяевам отеля. Денег-то у него ни копья не было. Что было, — то пропил.

С Глашей поехали в С. Петербург, во Флориде тоже находящийся, — там перевенчались, потом сюда приехали.

Вот, что значит за Богом молитва, за царем служба не пропадает. Не поставь я свечку Ивану Воину, был бы корнет мертвый, я ожидал бы очереди на электрический стул сесть, Глашенька одна. А так все в порядке! Все живые, все на свободе, мы поженились, все в порядке. И в Россию американского штата Мэйна, на покой едем...

— Ну, поздравляю вас, Куприяныч! Счастливо отделались!

— Вас, благодетель, благодарить нужно. Не нау-

чи вы меня хладнокровным быть — другой плохой оборот был бы.

— А где же корнет?

— Во Флориде еще обретается. Мавра Ванна письмо от него получила с просьбой жалостливой, немедля выслать ему двести долларов. Писал он ей, что хозяин «Двуглавого Орла» после нашего отъезда, какую-то дилемму ему предложил: раз денег нету за простой да за виски заплатить — так чтобы господин корнет, без кровопролития, в «подводном плавании», т. е. судомоем состояли. До погашения долга чести, из расчета двадцать долларов в неделю. Квартира да харчевый паек бесплатно.

В противном случае, хотя городская тюрьма и переполнена «туристами» вроде него, без металла презренного в отпуск приехавшими, ему место в городской узнице всегда найдется. Месяца на два всем будет обеспечен.

Корнет согласился на посуду, а Мавре Ванне просьбу пламенную написал о внутреннем займе, значит. А та обрадовалась такому случаю — сама поехала его освобождать.

— Жизнь за него, — грит, — отдам, а наличными — ни копейки.

Уехала. Как в воду канула, никаких известий нетути.

— Аристархич с ее отъездом совсем заболел. Не ест и не пьет, все надеется, что она вернется к нему. За него беспокоюсь — вот вам...

Вошли в гостиную Ванька со своей невестой и Гликерия Сысоевна. Посидели, попрощались и я ушел в один из далеких рейсов вокруг всего земного шара.

Вернулся в Нью-Йорк только через два года. Узнал, что старый «Град Китеж» продан, владельцы переехали в Штат Мейна. Раздобыл адрес, написал короткое письмо Куприянычу и опять уехал на несколько месяцев в Париж.

На Рождестве получил письмо из Америки. На конверте красовалась славянской вязью надпись: «Град Китеж» POB 150 Pines, Maine — U.S.A., напечатанная по-английски.

Как-то даже обрадовался этому посланию и в кафе, за стаканом грога, прочел следующее:

« Земляк, друг и благодетель!

Сим настоящим имею честь довести до вашего сведения, что только два дня тому назад получил ваше драгоценное письмо. Оно задержалось где-то на почте, но были рады, что оно дошло. Лучше поздно, чем никогда.

Как вам, драгоценному, уже известно, мы с Глашей покончили со всеми делами в Нью-Йорке, приехали вот сюда в эту благодать, в штат, Мейном именуемый. Природа здесь, ну чисто Россия. И леса, и озера, и реки, и даже океан имеется. И климат подходящий. Морозцы тоже в 20 и 25 градусов бывают.

Летом приятное благорастворение воздухов бывает, ягод разных да грибов душистых хоть отбавляй! А зимой, — ну прямо рай земной!

Лес-то красивый хвойной громадной стеной стоит, да синим снегом присыпанный, так и напоминает наш русский могучий бор, а тишина! Ну, как в церкви. И всякое дыхание да хвалит Господа!

Купили мы здесь имение — ферму большую, тысяча акров. Дома со службами были, но в запущенном состоянии находились. Привели все в порядок. Глаша всеми работами заведывала. Она у меня король-дама, сами знаете. А потом посмотрели, что ж мы вдвоем-то будем делать, в имении почти пятьсот десятин-то? Рабочих-то где возьмем?

Глаша сообразила сразу. И устроили мы с нею новый « Град Китеж » вот здесь, в этой прекрасной местности.

Знакомых да их друзей пригласили летом к нам в гости-то, ну они-то все и влюбились в место наше, некоторые даже жить захотели постоянно у нас.

Мы тогда им предложили остаться у нас да нашу древнерусскую общину обосновать. Но чтоб все работали. Не так, как в старческих домах, где от скуки да от безделья в девяносто лет ухаживать начинают и от ревности с ума сходят. Это в такие-то годы-то?

Кассу общую образовали, мы дали малую толику, другие кто сколько мог тоже внесли,ну и пошли дела!

А общину-то официально «Градом Китежем» назвали. Набралось человек сорок народу спервоначалу, а потом Иван Иваныч с женою тоже сюда приехали — тропики им обоим надоели, захотели северным морозным воздухом подышать, да и остались у нас.

С их мудростью коммерческой, да с Глашей моей они прямо чудеса сотворили. И коровок завели, и рожь-то сеять начали, из ягод русское варенье делать начали, да грибы в сушку для продажи пустили. И все общинники-то работают с удовольствием, рук не покладая. Инвалида безногого дамы-то наши крестиком вышивать выучили — теперь заказов не оберешься — капитал общества-то солидным сделался. Ну, общую столовую с библиотекой, да баньку соорудили, а как же без бани русскому человеку прожить возможно?

А у самого озера-то, тихого да светлого-светлого, среди березок белоствольых, церквушку знатную по русскому образцу срубили. Купола-то синие, а кресты да звезды на них золотые, а с колоколенки-то звон малиновый, к службе призывающий, разносится. Благодать!

Попика правильного, иеромонаха Валаамского, из Финляндии пригласили и, хотя ему за восемьдесят лет перевалило, крепок еще, службу правит как следует. Я Апостола читаю, а Аристархич псаломщиком состоит. Господин корнет звонарем заделались.

Прах полковника нашего дорогого сюда перевезли, по православному обряду похоронили — тризны уже больше не справляем. Иеромонах в сан свой возведен был в 1912 году — юрисдикций тогда не было — Церковь-то российская единая была, а этого-то господин полковник и желали, и град Китеж со дна поднялся и стоит у самого синего озера, русскими северными березками на земле американской опоясанный.

Народ живет дружно, хорошо, все поздоровели, да лет на двадцать помолодели. Даже господин корнет, с женой своей Маврой Ивановной, и то в большие люди вышли.

А женились они по выбору, когда Мавра Ивановна разыскала их во Флориде и предложила — либо она его жена с капиталом в десять тысяч долларов, либо

мой посуду! Дондеже не отработаешь долг за гостиницу. Ну, господин корнет и женился, — другого выхода не было.

А месяцев через восемь приехали к нам свой пай от продажи « Град Китежа » в Гарлеме получать. Раньше для визита к нам у них морды не было. Приехали, были приняты честь-честью, и понравился им новый « Град Китеж ». Попросили разрешения в общину нашу вступить. Ну, Глаша спросила его, а что он кроме гаданья да ныряньи в могилы еще может делать? Кавалеристом были и даже какую-то гиппологию, доложил он, изучать изволили. Все о лошадях, животных знает. Ну, Глаша и предложила им за одиннадцатью самками да за производителем ухаживать.

Корнет на это радостно согласился. А где же конский завод? » — спросили Глашу. Та говорит ему, что лошадок у нее нету, а вчера купили одиннадцать свинок женского пола, да кабана племенного ,на развод потомства, завтра приведут. Раз, говорит, гиппологию знаешь — произведи, говорит, поросят для потомства. Корнет сначала обиделись, вроде отказались, но Глаша стояла на своем. Мавра Ванна в бок их толкнули. Ну, они и согласились. Начали за свиньями ухаживать, это дело так полюбили, поросят так выхаживали, что два первых приза на штатной выставке получили. Возгордились ужасно. За почет и уважение, которое со всей округи американской ему оказывают, а в деревенском баре-закусочной ему третью рюмку виски задарма даже ставят. Вот, что значит человек нашел свое призвание!

Вот так живем, хлеб жуем, да вас поджидаем к нам в гости пожаловать.

Разрешите вас, благодетель, спросить, а что вы там в Париже французском делаете? И верно ли это, что народ французский лягухов да улиток слизких жрет? Что они с ума сошли, что ли? В церковь-то они ходят ли? И сообщите, сколько у них юрисдикциев церковных имеется? Может, их много и оттого они всякой нечистью питаются? Страсти-то какие! Смотрите, благодетель, чтобы и вас не накормили чем-нибудь непотребимым, долго ли до греха!

Лучше уж приезжайте к нам. С дорожки-то да с устатку, в баньке кудрявым веничком березовым попаритесь на четвертой полке, а в предбаннике-то кваса сухарного выпьете. В чувства придете, — в столовую пойдем. Там по рюмочке настойки на березовых почках тяпнем, колбаской домашней закусим, щец суточных с кашей да хлебом ржаным своего помола похлебаем. Порцию говядинки скушаем! Чайком с вареньем малиновым побалуемся. Спать ляжем, спать будете, как дитя малое, за это я порукой. А утречком после завтрака-то на санях троечных по снегу-то белому да по воздуху сосновому благовонному вас покатаем. Вот тогда и спрошу вас, что лучше? Град Китеж или Париж французский?

Все вам шлют поклон от белого лица до сырой земли.

Осчастливьте ответом о том, когда приезжаете к нам?

Ваш благодарный по гроб жизни Капитон Квасков ».

Я задумчиво улыбнулся, сложил письмо. В окно взглянул на улицу. Стоял какой-то желтоватый туман в Париже. Эйфелева башня была видна только до половины. Воздух, даже в кафе, был серым, промозглым и холодным. Улицы запружены автомобилями.

Быстро шли прохожие, кутаясь в свои легкие пальто. Начал падать ленивый зимний парижский дождь.

И это второй день Рождества?

Я быстро встал, подошел к телефону. Вызвал авиационную компанию. Заказал место на аэроплане в Нью-Йорк. Завтра туда вылетаю. А уж оттуда в штат Мэйна. К Ваньке. К Куприянычу, Аристархичу, корнету и даже к Мавре « Ванне ».

В русский Град Китеж, ...на широкой гостеприимной земле американской обитающий.

КОРОЛЬ

А случилось это много лет назад. В 1924 году.

Плавал я тогда рулевым на американском пароходе по линии Нью-Йорк — Марсель — Барселона. Возвращаясь в Нью-Йорк, перед входом в Гибралтар, нередко заходили в Сеуту на африканском берегу для пополнения топлива — нефти. Город этот являлся главной штаб-квартирой Испанского Иностранного Легиона. Обычно стояли мы там недолго.

Ну, как-то возвращались очередным рейсом в Америку. После бурно проведенной недели в Барселоне, конечно, зашли в Сеуту.

Ошвартовались, стали брать нефть, а старший офицер заставил нас красить борта парохода, стоя прямо на пристани. Адски трещала голова от « испанских впечатлений ». Горло пересыхало от жажды, нестерпимой жары и, несмотря на яркое солнце, жизнь казалась весьма мрачным занятием. Моментами хотелось даже умереть.

А тут еще услышал русский говор. Ну, думаю, галлюцинации начинаются.

На всякий случай осмотрелся кругом, увидел кучку испанских солдат. Они-то, казалось мне, и говорили по-русски. Ну, подумал я, надо бесповоротно бросить пить. Иначе « до ручки » дойти можно раз уж в Африке, от испанских солдат начинаешь слышать русскую речь!

Крашу, а сам все же прислушиваюсь. Нет! Определенно по-русски говорят! Все еще не доверяя своим ушам, думаю — наваждение, стараюсь не обращать внимания, — крашу. И только, когда я услышал несколько « крылатых » словечек нашей несравненной рус-

ской ругани, — тогда-то все мои сомнения были рассеяны. Так ругаться могут только земляки.

Подошел к группе. Да! Русские.

— Как вы попали сюда?

— А вы?

Для выяснения этих жгучих вопросов зашли в прохладную пивную, сели за громадный стол. Для скромного начала заказали один ящик пива (24 кварты) на шесть человек и громадное блюдо холодных отварных крупных креветок Средиземного моря.

И вот, в греческой пивной, в африканском порту, напротив английского Гибралтара, мне, русскому матросу американского корабля, русские люди в испанской форме начали свое повествование.

— Мы представляем группу офицеров и солдат 7-го уланского Ольвиопольского полка, шефом которого являлся Его Величество Король Испанский Альфонс XIII.

После отступления из Крыма попали мы с нашим полковым штандартом в Константинополь.

Ну, сами знаете, какая собачья жизнь была там в те времена для русских эмигрантов. Кое-как работали, жили впроголодь, ютились в жалкой лачуге в самой бедной части города, сами не знали, чего ожидали.

Сидели как-то вечером, кто-то поднял вопрос о полковом штандарте. Святыня ведь! Много, много жизней легло под этим знаменем, на многих полях сражений, в продолжение вековой славы полка, защищавшего Русь и ее народ! Погибнем мы, а что будет со штандартом? Начали думать, искать выхода из положения.

Старший офицер нашел решение задачи: послать полковой штандарт шефу полка, королю Испании.

Поцеловали последний раз полковой штандарт, аккуратно запаковали, за последние гроши заказным порядком, с надлежащим прошением и отправили его по почте самому испанскому королю.

Долго не было ответа. Мы думали, что сделали ошибку, но исправить ее уже не было возможности.

Сидели вечерком у камелька, ужинали хлебом да

маслинами, запивали водой, молча тосковали. Вошел хозяин, сказал, что кто-то желает нас видеть.

Гурьбой высыпали на улицу. К нам навстречу из громадного автомобиля вышел какой-то важный господин.

По-французски спросил — не мы ли уланы такого то полка?

Переглянувшись, сознались, что да, — мы.

— В таком случае, посол Испании приглашает вас прибыть к нему в посольство завтра в 12 часов дня. Я — его военный атташе.

Откозырнул по-военному, — уехал.

Целую ночь не спали, рассуждали, что мог означать этот визит?

Встали рано утром. Привели себя в кой-какой порядок, в костюмах с латкой на латке отправились в посольство.

Дошли до роскошного здания, драгоман вышел нам навстречу и провел в парадный зал посольства.

Вынул из конверта письмо, прочел личную благодарность короля за присылку штандарта и приглашение нас на его службу в Испанский Иностранный Легион, на что, мы, понятно, с радостью согласились.

Замялись, ведь наши костюмы?! А монета на проезд до Испании? Не знали, как сказать послу о нашем положении.

Тонкий дипломат, он, заметив наше смущение, приказал драгоману отвести нас в магазин, где нас обули и одели с ног до головы в скромные приличные костюмы, да первым классом отправил в Мадрид.

Долго ехали мы. Ну вот поезд и подходит плавно к перону Мадрида.

Мы как то оробели. Что будет дальше? Вышли из вагона... И вдруг!!! Духовой оркестр грянул наш полковой марш. От изумления мы так и раскрыли рты. И что же мы увидели?!

Выстроенный гвардейский эскадрон. С нашим полковым штандартом. И сам Повелитель двух Кастилий и Леона, король Испании, в форме нашего полка, отдавал нам, его бойцам, честь.

Тут рассказчик остановился, да и нужно было!

У всех нас текли слезы от благородного поступка короля и солдата.

— А потом, — продолжал рассказчик, — мы прибыли сюда. Служится хорошо, есть надежда на продвижение...

Мы долго еще сидели, говорили, пили здоровье короля Испании. Кто-то сказал, что король может родиться в хижине крестьянина, и хам во дворце короля. С этим нужно согласиться.

От себя же добавлю, что король Испании Альфонс XIII был королем, рожденным во дворце короля. По-королевски поступил с горсточкой бойцов его полка, оставшихся верными своему долгу солдата.

После его отречения от престола, он жил в Париже в добровольном изгнании. Там он довольно часто встречался с такими же изгнанниками, русскими эмигрантами...

Подолгу говорил с ними о былой славе старой Русской Армии.

И Альфонс XIII будет вечно жить в сердцах русских, знающих его поступок с уланами его полка.

Возможно, слышанное и переданное мною в этих строках не совсем точно. Звучит легендой... Но не будем ее разрушать... Пусть она живет...

Ведь в ней так много красоты.

МАДАМ БОВАРИ

В одной из своих поэм Виктор Гюго заявил, что краше его родной Нормандии, — страны во всем мире нет.

С этим я не согласен.

Бывал я там много раз и на разных кораблях. Всегда серое небо, идет дождь. Вечная скука кажется разлитой в воздухе.

Унылая, но богатая природа этого края напоминает знаменитую нормандскую корову, откормленную, дающую много молока, равнодушную к окружающему миру.

Для нас, моряков, самое гиблое место в Нормандии — это порт Руан.

Во-первых: чтобы дойти до Руана — нужно брать речного лоцмана Сены. Он будет вам надоедать указаниями, советами и морскими анекдотами в продолжение целого рейса. Во-вторых, если вы идете первым рейсом в Руан, — то вас ожидает странное и непонятное явление.

Скажем, вы разошлись со встречным кораблем — и с этого момента прошло час или два, — вы вдруг случайно обернулись, а корабль недалеко позади вас — ну прямо за кормой стоит.

И если вы на остановке в Гавре слегка повеселились по-морскому, то от такого зрелища раз навсегда откажетесь от возлияний Бахусу.

Когда же лоцман объяснит, что Сена течет довольно длинными и близко расположенными зигзагами — у вас на душе станет легче.

Вы спуститесь в свою каюту, ободрите себя рюмкой — другой рома, подыметесь на мостик и уже спо-

койно будете ожидать прибытия в этот грустный порт.

Вскоре после войны пошел я старшим офицером на американском корабле в Руан из Бостона.

Переход туда в Северной Атлантике, да еще зимой, был дико штормовым.

Команда устала от тяжелой работы, невыносимой качки и от ругани назойливого капитана.

Брюзга, педант, прошедший старую морскую школу, он придирался к каждой мелочи. А за какой-нибудь пустяк, проступок, — немилосердно штрафовал. Меня пока он оставлял в покое, хотя следил за каждым моим шагом. Казалось, только ждал случая ко мне за что-нибудь прицепиться, но я был на-чеку, все шло сравнительно не плохо.

В субботу вечером мы ошвартовались у пристани Руана. Вся команда, кроме вахтенных, меня да капитана, умчалась на берег отдохнуть за стаканом виски от зимних штормов океана в знаменитом баре « Трубка моряка ».

В воскресенье утром, за завтраком, капитан с кислой миной разрешил мне сойти на берег, но велел вернуться на корабль не позже 12 ч. ночи. В понедельник разгрузка угля будет кончена, во вторник утром уйдем в Америку.

Оделся я по береговому, сошел с корабля и на автомобиле прибыл в центр города.

Воскресенье в Руане, да еще зимою — удовольствие весьма среднее.

Серое небо, такая же публика, — идущая в церковь. Мелкий, колющий, холодный дождь. Закрытые магазины. Слабое уличное движение. Печальный перезвон колоколов даже жизнерадостного человека может настроить на минорный лад.

Я зашел в « Трубку моряка ». Бар, после « загула » субботы, был насковзь пропитан запахом прокисшего пива, промозглого табачного дыма и еще какой-то дряни.

У стойки бара сидело несколько девиц « четвертого срока », которых могли подцепить только самые неразборчивые клиенты в этот ранний час.

Стало еще скучнее на душе, решил « культурно » провести весь день.

Через дорогу от « Трубки моряка » я направился в знаменитый собор Руана, полюбоваться его прославленными цветными окнами.

Там мне удалось послушать чудное исполнение одной из ораторий Баха на органе, по окончании которой я вышел на улицу.

Погода немного прояснилась, даже показалось из-за туч скупое нормандское солнце.

Я отправился завтракать в знаменитый ресторан Руана « L'Auberge d'Eau ». Вошел в уютное помещение с вазонами цветов на подоконниках, сверкавшее умопомрачительной чистотой.

Я сел за маленький столик. Подошла молоденькая, прехорошенькая кельнерша. Дала меню и карточку вин. Я заказал устриц, омара и бутылку старого шабли. Этот лукулловский завтрак закончил кофе со старым Кальвадосом — национальным напитком нормандцев, делающимся из яблок.

Жизнь показалась гораздо лучше. Настроение сделалось приятным, философски ровным.

Почему-то пришел в голову вопрос: а чем же знаменит Руан?

Долго думал — пришел к заключению, что Руан сделался знаменитым благодаря роману « Мадам Бовари ». Почти все действие его происходит здесь в Руане.

А кто этот роман написал? Как ни старался, вспомнить не мог. Прямо затмение полное нашло.

Подозвал кельнершу. Спросил ее. Она сказала, что недавно приехала сюда и здесь вообще никого не знает. Тем более писателей. Послала метр-д'отеля.

Здоровенный детина на мой вопрос о « Мадам Бовари » ответил что даже имя « Мадам Бовари » ему противно. Кто-то из клиентов дал ему самые верные сведения, что лошадь, по имени « Мадам Бовари », должна взять первый приз. Он и поставил весь свой капитал на это легкомысленное животное. И, конечно, проиграл. Лошадь пришла последней. Он сам бы хотел узнать имя автора « Мадам Бовари », чтобы свести с

ним счеты за явный обман порядочных клиентов, но, к сожалению ,он автора не знает. Пришлет хозяина.

Подкатился сам хозяин, шарообразный французик. На мой вопрос ответил, что, кроме « Журнала коммерции », ничего не читает. От чтения романов о женщинах ничего хорошего ожидать нельзя.

Ему, как доброму католику и отцу семейства, ни автор, ни роман неизвестны. Но возможно, что почтальон — он живет недалеко — знает, в чем дело. Он всех в Руане знает.

Через несколько минут к моему столу подошел довольно мрачный тип, скорее напоминающий бандита, чем письмоносца.

На мой вопрос ответил, что он родом корсиканец, французской литературой не интересовался. Имени автора не знает. Но его можно найти в городской библиотеке. Сегодня она закрыта. Откроется завтра в 9 часов утра.

Откозырял — ушел.

Эту сцену с явным интересом наблюдала какая-то пара, сидевшая в углу, наискосок от меня. Видя мои затруднения, слушая мой отчаянно плохой французский язык, мужчина поднялся и подошел к моему столику. На прекрасном английском языке представился. Я назвал себя. Мы пожали друг другу руку. Оказался лордом Грей. Не присаживаясь, спросил, в чем дело и чем он может мне помочь.

Я задал ему все тот же вопрос. Он долго думал, затем сознался: роман читал, но автора не помнит, хотя имя его и крутится в голове.

Подумал еще немного, потом радостно предложил пройти к их столику. Его жена из Вены, а потому интеллигентна, и уж она-то наверное знает.

Я был ей представлен. Молодое, слегка угловатое существо было, однако, исполнено женской грации, шарма, и перед этой женственностью могли поблекнуть все красавицы мира. На вопрос мужа об авторе романа, она долго думала, затем, по-детски покраснев, созналась, что забыла имя известного писателя.

Положение становилось критическим. Мы все глупо смотрели друг на друга, в надежде, что кто-нибудь

из нас вспомнит. Минуты шли, мы пили Кальвадос, — ответа на вопрос не было.

Тогда муж с истинным упорством англо-сакса предложил отправиться к ним в замок: он уверен, что у него в библиотеке есть томик « Мадам Бовари ».

Сели в открытый Рольс-Ройс, машина плавно тронулась в путь, все время ускоряя ход. Вдруг на каком-то повороте в наш автомобиль врезался другой.

От толчка мы чуть не вылетели наружу. И тут я услышал крик моей новой знакомой: — Густав Флобер! Густав Флобер написал « Мадам Бовари ».

— Смотри же! — радостно воскликнула она. И мы увидели, что машина остановилась у памятника Густаву Флоберу, неподалеку от центра Руана.

— Ну, конечно же! — облегченно проговорили мы, затем установили повреждения машин, обменялись номерами документов и покатили дальше.

Уже темнело, когда мы подъехали к громадному замку. В большом приемном зале, в огромном камине, в котором можно было бы изжарить целого быка, ярко, приветливо горели поленья березовых дров.

На стенах висело оружие и доспехи рыцарей. На каменных плитах пола были разбросаны шкуры диких зверей, — наверное трофеи рыцарских или королевских охот. Кто знает?

Мы уселись в глубокие кресла у камина. Начались разговоры. Лорд Грей принес томик « Мадам Бовари ». Рассматривали черновики, удивлялись трудоспособности автора.

Был подан ужин, а кофе пили опять на прежнем месте у камина. Вели другие разговоры, и когда вдруг выяснилось, что лорд Грей — тоже моряк, адмирал в отставке, — тут уж пошли « морские разговоры ». Мы пили чудный старый Кальвадос из собственных подвалов лорда и целиком ушли в воспоминания последней мировой войны. К тому же выяснилось, что я участвовал в двух северных конвоях и комодором был не кто иной, как сам лорд Грей. Это обстоятельство дало пищу для дружеской беседы, затянувшейся до... восьми часов утра.

И вот машина подана. Уже при дневном свете мы

прощались на ступенях замка. Ласково смотрели на меня немного усталые, серые, глубокие глаза угловатого, покорившего меня своей женственностью, создания, прелестной леди, из Вены родом.

Сам адмирал, пожимая мне руку, приглашал бывать у них, когда — и если — я попаду опять в Руан.

Как я попал на корабль в 9 часов утра — для меня загадка. Я был встречен змеиной улыбкой капитана, ничего хорошего не предвещавшей.

Как в тумане прошел день, пришлось дьявольскими усилиями заставлять себя работать и не спать, что и было достигнуто, но какою ценой! Надо было готовить корабль к рейсу через зимний океан всю ночь — и заснуть удалось лишь на два часа. Капитан следил за мною, за всем, что бы я ни делал.

Не помню уж, как мы вышли в море. Я был на мостике — правил свою вахту. Я был доволен тем, что сравнительно дешево отделался за то, что опоздал вернуться на корабль. Но не тут то было! Вахтенный матрос доложил мне, что капитан желает видет меня, когда я сдам свою вахту.

— Ну, — подумал я. — Будет дело! — Решил только слушать, а не возражать и не оправдываться. Пусть « кроет », — после видно будет, как поступить.

Сдал вахту, явился в каюту командира, был усажен и началась « глухая исповедь ».

Чего я только не услышал и о всех моих отрицательных качествах, и о том, что меня ожидает в будущем, если я не покаюсь в своих прегрешениях и не перестану молчать на заданные вопросы.

— В последний раз спрашиваю вас: почему вы не явились на корабль в указанное время? Что вы делали на берегу? — зло прошипел капитан.

Я что-то промямлил о « Мадам Бовари ».

И тут случилось чудо: ехидное лицо капитана сразу просветлело, заулыбалось, стало приятным. Как-то странно, по-молодому заблестели глаза и он быстро спросил меня:

— Да неужели она еще жива? И все еще продолжает вести свой дом свиданий? Ей, по моему подсчету, должно быть за восемьдесят лет!... Какая бодрость и

любовь к своему делу! Вот вам, молодым современным повесам, нужно учиться у нее, как должен человек относиться к своим обязанностям, к своей работе!.. А какие женщины у нее имелись во дни моей молодости!... Я думал, что старой плутовки и на свете уж давным давно нет— и вот от вас узнал, что она еще жива и продолжает заниматься любимым делом. Так вы у нее с визитом были?

Я дипломатически молчал.

— Ну, ваше счастье. Если бы задержались в другом месте, а не в доме мадам Бовари, ваша карьера была бы кончена в нашей компании. Но раз это мадам Бовари...

Лицо у капитана сделалось мечтательным.

— Я прощаю ваш проступок. Вы дали мне возможность вспомнить мою молодость, женщин мадам Бовари, да и сама она была недурна собой и очень мила со мною. Поэтому забудем этот случай. Но...

Командир оглянулся по сторонам и, наклонившись ко мне, шепотом проговорил:

— В следующий рейс... в Руан... вы и меня, но только ни слова никому. Вы поведете меня к старой мошеннице, и, я надеюсь, она вспомнит меня. Но только строго между нами. Вы будете моим гидом, я оплачу все расходы. А теперь идите спать! Не ожидайте побудки на вашу утреннюю вахту. Ее я отправлю сам. Буду вспоминать те дни, когда молодым, беспечным офицером, как вы, я приходил в Руан. Боже! Как быстро летит время. Good night! Идите, отсыпайтесь! — И он уже по-дружески пожал мне руку.

Я спустился к себе в каюту. Разделся. Принял три аспирина с рюмкой рома — в надежде избавиться от похмелья. К моей головной боли прибавилась забота: а где, у какой чортовой мамы, я буду искать дом свиданий, да еще мадам Бовари в Руане? Ну, будущее это покажет. Я лег на свою уютную, сухую и теплую морскую койку. Корабль качало крупной, приятной попуткой, кормовой волною. За иллюминатором, — уже слышно было, — начинал « свежеть » (усиливаться) ветер от Норд-Оста. Будет опять трепка!...

Я закрыл глаза. И в памяти всплыла фигура леди

Грей. Ее бездонные серые, такие нежные глаза. Какой угодно ценою я должен сделать хоть один еще рейс в Руан. Припомнились подробности знакомства. Оно состоялось потому, что мы забыли имя автора «Мадам Бовари». Ну да, как бишь его? Клода Фарера...

И я заснул глубоким морским сном.

РЫЖИЙ

Его красивая крупная голова покоилась на могучей шее, переходившей в стройное мускулистое тело, выхоленное отличным питанием, закаленное регулярной жизнью моряка дальнего плавания.

А его умные глаза блестели ласковым задором сорванца, любимца всей команды « Звезды Бостона », которому любое море казалось по колено, кому сам черт не брат!

Он был молодой морской волк, слегка походивший на старого пирата своим единственным ухом.

В вечно туманном и грязном Глазго, в одном морском притоне, он потерял свое правое ухо. Оно было откушено его заклятым врагом, старым и весьма ревнивым бульдогом « Джеком » из-за обладание чарами одной красавицы-евразийки Люси.

Ее мать была китайской сукой породы Чау (Chow), отцом — русский аристократ, высокий, поджарый и весьма чванный « Борзой ».

« Рыжий » был подобран маленьким, еще слепым, щенком в Гамбурге судовым экономом, вечно пьяным в порту, всегда сумрачно трезвым в море, скупо отвечавшим на все вопросы превосходным, культурным для моряка, английским языком.

Эконом носил усы и пышную окладистую бороду. На американца совершенно не был похож.

Принесенный им щенок сделался сразу центром общего внимания и участия всей команды.

По совету боцмана, отца многочисленного потомства, щенка начали кормить разведенным теплою водою консервным молоком. Для этого была куплена бутылка с соской на ее горлышке.

Пьяным экономом, на правах, очевидно, отчима, щенок был окрещен « Рыжий » (Red). И нужно было видеть, с какой любовью и даже с робкой грубоватостью, взялись за уход и воспитание « Рыжего » всегда серьезно-суровые скитальцы по всем бездорожным океанам и морям мира, домом которых был корабль, семьей — команда « Звезды Бостона ».

Видавшие не мало ураганов и тайфунов на своем веку, не раз пересекавшие экватор, огибавшие свирепый мыс Горна, проходившие мрачный пролив Магеллана, с бронзовыми лицами, опаленными ветрами всех морей, с заскорузлыми от каторжной работы руками, они трогательно-осторожно, как мать со своим первенцем, обращались с этим маленьким клубком рыжей пушистой шерсти.

Принесшие в жертву морским богам семью, потомство, друзей, нормальную жизнь, родину, эти вечные странники моря, никогда не имевшие своего угла, знавшие, что будущее даст им старость бобыля в приюте моряков, в « Рыжем » нашли какое-то звено, все же связывавшее их с остальным миром, населявшим всю землю.

И « Рыжего » они воспитали на славу!

Из него вышел отличный моряк и громадный пес неопределенной породы. Как все дворняги, « Рыжий » был умен, как одна тысяча чертей. Легко поддавался дрессировке, знал множество различных трюков, им наученный его соплавателями, к которым « Рыжий » относился одинаково ласково.

Полное же сыновье послушание он оказывал только эконому, как бы в знак признательности, благодарности за спасение от верной гибели.

В его же каюте « Рыжий » и спал на громадной подушке. Над нею висели две щетки для туалета « Рыжего » и « парадный » береговой ошейник, на котором медными буквами красовалась надпись: « Мое имя « Рыжий ». Мой корабль « Звезда Бостона », порт Нью-Йорк ».

Это был морской паспорт и визитная карточка « Рыжего » для возможных неприятных встреч с собаколовами всех портов мира.

Просыпался « Рыжий » рано утром. Прыжком на грудь будил своего повелителя. Тот вставал, наливал в чашку молоко, клал туда несколько твердых собачьих бисквитов — это был завтрак « Рыжего ».

Эконом приводил себя в порядок, пил чашку ему принесенного кофе, выходил на палубу с « Рыжим » вместе, — делать утренний моцион.

Начинался трудовой день эконома. Вместе с « Рыжим » он шел в кладовые и ледники отпускать провизию для поваров. После завтрака экипажа, в 8 часов утра, « Рыжий » сопровождал корабельного боцмана, с ним проверял работу матросов, вежливо протягивал лапу для пожатия встречным приятелям... лаял на кружившихся временами вокруг корабля, печально кричавших чаек, нетерпеливо поглядывал на штормовой мостик корабля.

Туда ему вход был строго воспрещен до 5 склянок (10 час. 30 м.) утра.

На мостике появляется фигура молодого богатыря... Тоже рыжего с зелеными глазами, красавца капитана с секстаном в руке...

« Рыжий » сидит, умильно виляет хвостом, смотрит на командира и лаем что-то говорит ему на своем собачьем языке.

Капитан весело улыбается « Рыжему », берет высоту солнца, спускается на рубку, делает вычисления, определяет точное место корабля на карте.

Довольный пройденным за сутки расстоянием, появляется опять на мостике.

Медленно, подхваченные океанским ветром раздаются удары 5 склянок (10 час. 30 мин.).



Услышав медные звуки колокола, « Рыжий » как молния взлетает на мостик. С радостным лаем бросается на грудь своего любимца-приятеля, капитана Фреда Джонсона, бросающего ему короткий приказ:

— Мою трубку и табачный кисет, Рыжий!

И тот летит во всегда открытую каюту капитана.

Через несколько секунд с кисетом в зубах он опять появляется на мостике...

Капитан жмет ему лапу, гладит его по голове.

Разжигает вынутую из кисета и заранее набитую трубку, дает « Рыжему » два куска сахара или полплитки шоколада.

Подарок моментально исчезает в пасти « Рыжего ». После этого он, как угорелый, носится по всему мостику — отыскивает спрятанный капитаном резиновый мяч, — начинает со своим другом игру до обеденного гонга.

Изредка этот спорт прерывается отчаянным лаем « Рыжего » на встречающиеся, а в особенности на обгоняющие суда.

« Рыжий », как истый моряк, гордился своей « Звездой Бостона » и очень ругался, когда ее обгонял другой пароход. Профессиональная ревность сильно развита в морской среде.

Расплывались в мягкую улыбку суровые лица пожилых тружеников моря, наблюдавших возню своих двух рыжих, сильных, по-мужски красивых, по морскому отчаянных, самых молодых членов их семьи — « Звезды Бостона »...

Они оба напоминали старикам-морякам их далекую морскую молодость, своей удалью, лихостью и завидной репутацией сердцеедов, дон-жуанов, известной во многих местах мира.

В каждом порту у них было по несколько дам сердца...

В любом баре из-за малейшего намека, оскорбительного в их понятии для чести моряка, они вступали в драку со своими двуногими или четвероногими оппонентами на terra firma (твердая земля).

Неизменно одерживали победу над врагами, вместе оставляли поле сражения, всегда вдвоем возвращались на корабль.

Капитан шел в свою каюту приводить себя в порядок, « Рыжий », со следами сухопутных сражений, с виноватым видом шел к своему всегда суровому отчиму.

Эконом смазывал его ранения иодом, журил сво-

его « Рыжего » за общение с таким повесой, каким являлся в глазах эконома командир корабля.

Ревниво — отечески пугал «Рыжего» своей уверенностью, что его дружба с этим корсаром Джонсоном доведет их обоих до виселицы за их отношение к мирным обывателям земли.

« Рыжий », смиренно виляя хвостом, без возражений выслушивал зловещие пророчества о своей будущей судьбе... Снисходительно прощал бородатому старику его непонимание запросов морской молодежи и продолжал дружить с капитаном.

Старикам всегда было и всегда будет трудно наставлять молодежь на путь истинный.

Разбить эту дружбу двух молодых морских волчат было невозможной задачей. Эконом знал это и оставлял « Рыжего » в покое.

Бьют 8 склянок (12 часов дня).

Раздается веселый обеденный гонг. Капитан спускается с мостика и направляется в кают-компанию. Конечно, вместе с « Рыжим », которому уже отчимом приготовлено фунта два рубленого мяса в чашке с чесноком, нужным для его собачьего здоровья.

Несмотря на вечные приказы эконома « Рыжему » есть свой обед медленно, — он опустошает большую чашку в несколько быстрых приемов, выбегает на палубу.

Подачки от обедающих офицеров ему строго воспрещено принимать экономом.

Сидеть в закрытом помещении и только смотреть, как едят другие, — занятие довольно скучное.

В часовой обеденный перерыв « Рыжий » отдыхает где-нибудь в укромном месте под шлюпкой или в теневой стороне трюма на палубе.

В час дня команда начинает работать опять. Все заняты... Играть не с кем... « Рыжий » забавляется один. Рвет своими волчьими зубами обрывки старых канатов... Наверное воображает, что и он делает какую-то работу.

В три часа дня команда пьет кофе. « Рыжий » получает от старшего кока (повара), всегда весело улыбающегося толстого негра Джима, громадную суповую кость. Лежа на животе, держа кость в передних лапах,

он старательно ее гложет, — всегда до самого конца. Деланно-сердито ворчит, если кто-нибудь из команды в шутку старается отнять подарок повара.

Вечером, после ужина, свободные от работ по вахте соплаватели выходят на палубу, располагаются на трюме корабля. « Рыжий » к этому времени исчезает. Его находят, ловят, приводят в кружок собравшейся семьи.

Один матрос держит « Рыжего », другой — двумя щетками делает ему его каждодневную прическу. « Рыжий » не любит, когда его чистят этими неприятными штуками, но он стоически переносит обязательный ритуал. Поэтому его короткая шерсть лоснится и переливает отсветами червонного золота, но « Рыжий » этого не ценит.

После щеголянья различными трюками игры с матросами, « Рыжий » отправляется к себе домой. Опять небольшая прогулка с экономом по палубе, затем оба возвращаются в каюту.

Корабль мерно качает приятной, ровной океанской волной...

На подушке, набитой мягкой пенькой, пахнущей смолой, под успокаивающий мерный ритм машин корабля, « Рыжий » засыпает сном собачьего праведника.

Вообще, казалось, что « Рыжий » был доволен своей « собачьей жизнью » на борту « Звезды Бостона ». Не было сомнений, что он гордился своей судьбой моряка дальнего плавания.

А моряком он считал себя настолько, что даже перед входом в порт, « Рыжий » страдал, как и вся команда, « канальной лихорадкой » (the channel fever).

Еще за день, два до прихода в порт он бывал в нервно-приподнятом настроении, мало ел, плохо спал.

Нетерпеливо посматривал на уже ярко-начищенный, парадный береговой ошейник, висящий над его морской « койкой », без цели бегал по палубе...

Вот и показался давно желанный берег. К борту корабля подходит лоцманское судно.

« Рыжий » с вахтенным офицером, радостным лаем, уже с ошейником, встречает поднимающегося на корабль берегового лоцмана. Он знает, что судно скоро

будет пришвартовано у пристани, а после... будет земля, порт, какой-нибудь бульвар со всякого рода зеленью, с новыми, интересными, не морскими запахами.

Встречи с друзьями, врагами, с новыми знакомствами, ну — да, много всяких приятных удовольствий, встречающих ступившего на твердую землю моряка после длинного морского рейда.

Так ожидаемое обыкновенно и случалось. Капитан с « Рыжим » всегда первыми сходили с корабля. Если портфель командира с документами корабля бывал легким, то « Рыжий » нес его в зубах, при этом заметно важничал.

Шли в таможню или портовую контору, где их с неизменным восторгом встречали хорошенькие секретарши и конторщицы этих учреждений.

Реагировала эта пара на такой прием по-разному: капитан блестел белой кипенью своей загорелой улыбки, шутил, « Рыжий » был вежливо важен, снисходительно давал трепать себя по шее, не спеша, с достоинством, проглатывал шоколад, который давали ему эти странные существа, одетые в черт знает какие идиотские костюмы, пахнувшие приятными, незнакомыми, не морскими запахами.

Соплаватели кончали дела в конторе, отправлялись в какой-нибудь бар или ресторан. Это было куда интереснее, чем какие-то деловые визиты. Там всегда была масса разного народа, шла веселая речь, смех, стоял шум, иногда играла музыка.

Капитан садился за столик, просил себе обычное сода-виски, « Рыжему » ставили на пол тарелку его любимого напитка — пива. Он лакал его под изумленные взгляды ресторанной публики. Этому занятию « Рыжего » научил эконом корабля. Он так пристрастился к им обожаемому золотисто-пенному холодному нектару, что мог, казалось, продать свою собачью душу любому черту за тарелку этой изумительной влаги.

Капитан заказывал себе завтрак. « Рыжему » тоже давался кусок сырого мяса. К этому времени за столом капитана уже сидело какое-то незнакомое существо. В необыкновенном, не морском костюме, с каким-то смешным предметом на голове.

Поминутно существо это вытаскивало из какого-то необычного кисета какие-то, « Рыжим » никогда не виданные, блестящие предметы, которыми оно то красило свои губы, то мазало чем-то белым свое лицо, то подносило их к глазам. При этом существо это трещало без умолку, как пароходная лебедка во время разгрузки корабля. Бедному капитану приходилось внимательно выслушивать всю эту чепуху и не обращать обычного внимания на « Рыжего ».

В такие моменты « Рыжему » удавалось улизнуть на улицу, побегать вокруг кафе, познакомиться с какой-нибудь Жужу или « Бижу » из мира собачьего прекрасного пола. Или подраться с береговым псом, не оказавшим в понятии « Рыжего » достаточного уважения к его морской собачьей особе, да еще одетого в морскую форму ошейника с указанием имени его и корабля.

« Рыжий », не задумываясь, вступал в бой с одним или несколькими береговыми собратьями. И чем было больше врагов, тем отчаяннее дрался « Рыжий » и всегда выходил победителем из своих многочисленных схваток.

После битвы « Рыжий » возвращался в кафе. С самым невинным видом ложился у ног капитана. После завтрака капитан говорил шопотом что-то на ухо странному существу. Оно радостно улыбалось, говорило « до вечера! », и капитан с « Рыжим » возвращался на корабль.

Вечером, но уже с экономом, одетым по-« береговому» , « Рыжий » опять отправлялся на землю. С ним он заходил в недорогой, уютный бар, где « бросали якорь » на несколько часов или на целую ночь.

Сидели незаметные в каком-нибудь углу. « Рыжий » лакал свое пиво, эконом медленно напивался своим крепким джином. Когда он размякал, то, делая секрет для других клиентов бара, на каком-то странном, только ему и « Рыжему » понятном языке, он тихо рассказывал какие-то длинные и грустные повествования. Заканчивал их просьбой, но уже по-английски, никогда, никому, ничего не передавать из им, « Рыжим », услышанного.

Когда джин брал свое и речь эконома становилась медленной и несвязной, тогда он начинал петь, но что-то такое заунывно-тягучее и грустное, что « Рыжий » из симпатии к нему начинал подвывать и почти в тон солисту.

Дуэт кончался тем, что обоих певцов выставляли из бара. Вдвоем они выходили на плохо освещенную портовую улицу. « Рыжий » всегда своим необыкновенным чутьем находил дорогу на корабль.

Если эконом, слишком перегруженный джином, не мог « управляться своими машинами », падал и засыпал мертвецким сном по дороге домой, то « Рыжий » охранял покой и безопасность своего друга. Отчаянным лаем, яростной атакой он отгонял не только портовое жулье, но даже и полицию, приближающуюся к храпящему эконому.

На корабль их доставляли либо соплаватели, трезво возвращающиеся домой, либо добирались сами, когда просыпался эконом.

Каждую ночь « Рыжий » и эконом пьянствовали на берегу вплоть до отхода корабля.

А в море снова яркое солнце, длинная океанская волна, соленые брызги океана, мерная качка корабля, оторвавшегося от грешной земли с ее немногими радостями, обходившимися почти всегда слишком дорогой ценой.

Первые дни в море « Рыжему » было немного трудновато. Похмельем давало о себе знать выпитое им на берегу пиво, побаливала голова, отсутствовал аппетит, надоедал старший офицер.

По-английски он говорил со смешным славянским акцентом, обладал, даже для собачьего языка трудной русской фамилией. Сам не дурак выпить, он уговаривал « Рыжего » бросить эту пагубную привычку, сделаться серьезным моряком.

Старший офицер, приятель командира, хорошо относился ко всей команде. « Рыжий » выслушивал его наставления, смиренно махая своим хвостом, как бы обещая зачеркнуть старую и начать новую страницу своей жизни, думать о себе, о будущей карьере.

Эти обещания « Рыжий », как всякий моряк, сдер-

живал до прихода в следующий порт. Потом все шло по-старому опять.

« Рыжий » проплавал на « Звезде Бостона » пять лет. Философски равно переносил радости и печали трудовой жизни моряка. Не переносил « Рыжий » только одного: это туманной погоды и, когда надвигался туман, « Рыжий » делался нервным, летал от одного крыла мостика к другому, лаял на никому не видимый, но его чутьем угаданный во мгле приближавшийся корабль. В то времена не было еще « радара » и « Рыжий » в туманах английских берегов оказывал большую услугу своему другу капитану Джонсону.

Во время последней войны американские конвои транспортов перевозили солдат и военные грузы для своих союзников по всему миру. В конвое бывало по несколько сот судов иногда. Шли суда параллельными колоннами по 10-20 пароходов в каждой. Интервалы между кораблями и колоннами были сравнительно небольшие.

Вот тут-то дар необычайного даже для собаки чутья, как у « Рыжего », сыграл крупную роль во многих благополучных рейсах « Звезды Бостона ».

В густом тумане капитан корабля по закону должен находиться на мостике до тех пор, пока туман не рассеется и видимость будет нормальной снова.

Капитан проводил иногда по несколько суток на верхнем мостике, не сходя вниз, временами только дремал в приготовленном ему кресле. В тумане английских берегов « Рыжий », всегда нервный, безотлучно находился при нем. С яростным лаем подбегал к той стороне корабля, которой угрожала опасность столкновения с судами других колонн, в тумане слишком близко подходивших к « Звезде Бостона ».

Услышав лай « Рыжего », капитан устало улыбался, слегка меняя курс в другую сторону, противоположную стороне, на которой стоял и лаял « Рыжий », и суда благополучно расходились.

« Рыжий » за эти услуги не только получал свой сахар. Ему, как равноправному члену команды корабля, на ошейнике были прикреплены несколько военных

ленточек за проделанные походы. Об этом постарались капитан и команда « Звезды Бостона ».

После одного удачного рейса в Казабланку « Звезда Бостона » вернулась в Нью-Йорк. Ее капитан получил приказ идти грузиться в Бостон. Это значило поход в Англию или в Мурманск.

Долголетние соплаватели Джонсона, вся команда сразу подписали договор на этот рейс и пошли веселиться на берег. Ушел туда и эконом с « Рыжим ».

Только к вечеру следующего дня появился « Рыжий ». Один. Без эконома и... ошейника! Отсутствие ошейника возбудило острый интерес к его исчезновению среди всей семьи корабля.

Эконом не пропадет, даже если он и сидит в участке... но вот ошейник?

На все вопросы, обращенные к « Рыжему », куда девалось его береговое одеяние, он только смущенно размахивал своим хвостом, смотрел на палубу и упорно молчал. Ничего от него добиться было нельзя. Вся команда была в недоумении. Прошел еще один день. Секрет ошейника оставался не открытым.

Капитан Джонсон и его правая рука, старший офицер Иван Костромаров, сидели в каюте командира. Медленно потягивали свое виски-сода и обменивались береговыми впечатлениями последней ночи.

Явился вахтенный матрос, доложил, что какая-то молодая барышня желает видеть командира. Всегда невозмутимый Джонсон смущенно - недоуменно взглянул на улыбающееся Иудиной улыбкой лицо старшего офицера, приказал матросу доставить посетительницу в каюту.

Поднявшегося, было, уходить своего приятеля с полуоскорбленным достоинством в чем-то невинно-заподозренного джентльмэна он усадил опять. Очевидно хотел доказать свою полную непричастность к этому явлению.

В открытых дверях каюты появилась фигура молодой прелестной девушки. Она была очаровательна своей беспомощностью, женственностью, каким-то смущенным, по-детски растерянным видом. В своих руках она держала... ошейник « Рыжего ».

Моряки привстали, представились, усадили гостью, предложили ей виски-сода, от которого она отказалась.

Молчала девушка, беспомощно бегая по стенкам каюты своими фиолетовыми глазами, молчали и моряки, явно заинтригованные своей необычной гостьей.

Капитан первым спросил ее, чем он обязан такому очаровательному посещению его корабля?

— Я, право, не знаю, как приступить к объяснению цели моего визита к вам... — робко начала девушка, — но вот этот ошейник... он принадлежит вам? Вы его носите? О! Что я сказала! Ради Бога извините меня! Скажите, это ваш ошейник? Нет! Опять не то!

Девушка казалась совсем смущенной, запутавшейся в своих вопросах.

Ее галантно выручил капитан:

— Ошейник принадлежит нашей корабельной собаке. Его зовут « Рыжий ». Разрешите спросить, как он попал в ваши изумительные ручки?

— О! Это было ужасно! Я прямо содрогаюсь при воспоминании об этой дикой сцене...

Девушка попросила стакан воды, сделала несколько нервных глотков. Собралась с силами и продолжала свой рассказ:

— Третьего дня маман, я и Жюли отправились на выставку...

— Картин? — по-светски осведомился старший офицер.

— О! Нет! На выставку собак нашего бостонского клуба. Она устраивается раз в году. Участие в ней принимают все старинные семьи нашего города, любящие собак. Нам, собственно, не нужно было туда отправляться. Ведь Жюли нервничала, казалось, что у нее начинается мигрень...

— Жюли? Это ваша сестра или подруга? — спросил капитан.

— Да, нет же! Не то и не другое... Господи! Какие вы оба непонятливые! « Жюли » — это вся жизнь моей матери. Она — французский пудель, самка, привезенная маман еще маленькой из Парижа семь лет тому назад. Моя мать страшно привязалась в ней. Своей

любовью она так изнежила и избаловала « Жюли », что та сделалась неврастеничкой...

— Могу ли я узнать, кем был поставлен этот диагноз? — с участием спросил капитан.

— Как кем? Конечно, доктором Хильтоном. Он знаменитый психоаналист собак и кошек, известен всему Бостону, — ответила девушка, как бы удивляясь тому, что это медицинское светило всех четвероногих жителей Бостона, не было известно двум морякам.

Старший офицер, узнав о докторе Хильтоне, замотал головой, затем выпил полстакана виски, собрался уходить, но опять был удержан своим командиром.

— Доктор Хильтон неоднократно предупреждал маман быть крайне осторожной с « Жюли », но знаете... Выставка бывает только раз в году, мы были уверены, что « Жюли » возьмет первый приз. Вот и решились на такой шаг, поехали в клуб.

— Там уже было много наших знакомых со своими животными, прилично сидевшими на своих местах. Вышли на середину зала судьи собак... и вдруг! О! Ужас! В зал вошел какой-то ужасный тип! С бородой, в шляпе, по всем признакам не совсем трезвый. Конечно, он не мог быть членом нашего клуба. Как он попал к нам, — для меня это загадка до сих пор. Это было бы неважно, если бы за ним не ворвался громадный ужасный зверь...

— Зверь? — спросил, улыбаясь, капитан.

— Да! Да! Вот именно зверь, а не пес, — проговорила по-детски убежденно девушка. — В один миг он начал свирепую драку сразу с несколькими собаками. Они образовали какую-то кучу сплетенных собачьих тел, кусали, грызли друг друга, стоял ужасный лай, вой, шум, но больше всех кусал направо и налево кого попало и одерживал уже победу над всеми этот свирепый бандит.

— Положение спас наш шофер Джим. Ему удалось схватить за ошейник этого кровожадного типа, но он умудрился выскользнуть из рук Джима, выбежать на улицу за вышедшим туда своим подозрительным бородатым другом. Наш шофер стоял с ошейником в руках. Бедлам был кончен, только нервно ла-

яло несколько болонок. А маман с « Жюли » лишились чувств. Обе лежали в глубоком обмороке...

— Я и Джим с трудом доставили их домой, уложили в кровати, сразу же вызвали доктора Хильтона. Он приехал, установил наличие шока у « Жюли », могущего перейти в шизофрению, а у маман было найдено страшное нервное расстройство...

— Тем же доктором Хильтоном? — спросил старший офицер.

— Да нет же! Доктором Вильсоном, который лечит только людей и в собаках ничего не понимает, — с легким раздражением проговорила девушка.

— С горничной мы провели целую ночь у постели больных. Утром доктор Хильтон опять долго осматривал « Жюли », качал головой. Заявил, что шок « Жюли » можно вылечить только повторным шоком, иначе за последствия он не отвечает. Для этой цели в спальню « Жюли » нужно привести виновника ее несчастья. Это единственное средство, другого выхода нет. Маман, еще слабая от потрясения, согласилась с мнением врача, но где же было найти виновника удара « Жюли »?



— В этом случае из беды выручил шофер Джим. Он сохранил им удержанный ошейник этого разбойника. Я по газетам узнала стоянку вашего корабля. Джим привез меня к вам. Я крайне рада моему знакомству с вами, думаю, что вы не откажете помочь нам в семейном горе. Если это собака ваша, то я прошу вас привести ее к нам домой и спасти « Жюли ».

— Я с удовольствием помогу вам в вашей задаче, — проговорил старший офицер.

— Нет! Ты устал от тяжелой работы следить за погрузкой корабля. Я хочу, чтобы ты отдохнул, а собаку поведу я сам. Позови мне « Рыжего », — улыбаясь проговорил капитан.

— Более христианской заботы о своем подчиненном я не видел за всю свою долгую и грешную жизнь, — сказал старший офицер, опять хлопнул полстакана

виски, с улыбкой скорпиона, которому не удалось укусить свою жертву, вышел на палубу и резко свистнул.

Через несколько минут в каюту влетел « Рыжий ». Девушка с страхе закрыла свое личико руками.

— Проси прощения у этой молодой лэди за свое неджентльменское поведение, — приказал капитан.

И « Рыжий » повалился на свой живот, спрятал свою голову в передние лапы, вилял хвостом из стороны в сторону, волоча его по палубе.

Это означало, что « Рыжий » раскаивался в своих проступках и просил извинения. По просьбе капитана девушка боязливо-недоверчиво погладила голову « Рыжего ». Этим знаменовалось полное отпущение грехов « Рыжему ». Он радостно прыгнул на грудь капитана. Ему надели ошейник, все втроем сошли с корабля, на машине умчались в город.

Старший офицер наблюдал за этой сценой с нижнего мостика корабля. Широко улыбнулся, лихо сплюнул за борт жвачку табака, восхищенно, но уже по-русски, выругался, сказал: « Ну и везет же моему Дон-Жуану с разного рода бабьем! Даже и « Рыжего » умудрился использовать для своих не весьма достойных вожделений! Подцепить такую девчонку, почти еще ребенка.. Куда прешь, дьявол полосатый, этот ящик? » и начал распекать провинившегося грузчика.

Капитан и « Рыжий » вернулись на борт поздно ночью. Погрузка корабля шла целую неделю. Каждый вечер командир и « Рыжий » отправлялись вместе на берег, возвращались поздно ночью домой.

« Рыжий » спал в каюте капитана.

Эконом все еще не возвращался на корабль. Стояла бостонская зимняя с легким туманом погода. « Рыжий » просыпался несколько раз за ночь, выбегал на палубу, смотрел в туман, казалось ожидал появления своего хозяина и тихим тоскливым воем нарушал ночную тишину бостонского порта.

На все вопросы старшего офицера, как идет лечение « Жюли », Джонсон улыбался своей открытой ирландской улыбкой, неизменно бросал краткое « олрайт ».

— *** —

Погрузка корабля закончена.

Команда готовит его к походу через зимний Атлантический океан, почти всегда бурный, неприветливо суровый, с мрачным воющим гулом ветра в снастях корабля, напоминающим торжественные звуки заупокойной мессы Баха по погибшим в море, исполняемой на громадных старинных органах в готических соборах северной Европы.

К этой суровой картине нужно еще добавить ежеминутно возможную смерть от атаки подлодок, ожидающих корабль буквально по всему океану.

Вся команда знает об этих опасностях, поэтому такой рейс у них особенного энтузиазма не вызывает.

Не слышны обычные шутки, все серьезны, молчаливы, работают не за страх, а за совесть. Небольшая нерадивость, ошибка, могут послужить причиной гибели корабля и его экипажа.

В полдень корабль готов к походу, это занесено старшим офицером в судовой журнал.

В час дня двое полицейских приводят трезвого эконома к сходням корабля, сдают его под расписку вахтенного офицера.

Эконом скрывается у себя в каюте.

В два часа дня к пароходу подъезжает большой черный лимузин. Из него выходят: капитан, какая-то пожилая встревоженная дама, за нею опечаленная, с заплаканными глазами красивая девушка.

Выбегает из машины и « Рыжий ». Шофер выводит из автомобиля на ремешке большого черного пуделя, с красным кокетливо завязанным бантиком на голове.

Капитан почтительно целует руку старой даме. Замирает на минуту в его объятиях молодая девушка... Прощальный долгий поцелуй.

Командир поднимается на корабль. « Рыжий » неохотно плетется за ним.

Оставшийся на берегу пудель рвется за ним, воет. Шофер усаживает дам и собаку в машину, садится у руля и плавно уводит автомобиль.

Из его окна девичья рука машет белым платком. Рядом с нею высунута голова черного лающего пуделя.

Капитан размахивает своей фуражкой. Белый платок исчезает за поворотом.

В три часа дня портовый лоцман на борту, с капитаном и младшим помощником поднимается на верхний мостик корабля.

Резким свистком раздается приказ старшего офицера: « Команде стоять на местах ».

Сходни убраны. Концы отданы. Задним ходом корабль оставляет пристань, разворачивается, ходом вперед проходит минные ворота, спускает лоцмана, занимает свое место в конвое.

Вся армада направляется к выходу в океан. Курс — норд-эст. Кроме капитана, никто не знает, куда идет корабль.

К победе или поражению — тоже неизвестно. Война!

Угрюмой, серой, длинной волной, свинцовым небом встретил конвой открытый океан. Видимость была хорошая. Армада кораблей в строгом порядке, кильватерными колоннами быстро шла вперед.

Вокруг конвоя, как собаки-овчарки, охраняющие стадо овец, кружились, шныряли быстроходные миноносцы и специально построенные для борьбы с подлодками — суда — корветы. Обстановка казалась спокойной.

На третий день начали раздаваться глухие звуки взрывов глубинных бомб. Корабли вибрировали временами. Казалось, они подпрыгивали на воде.

Лица всей команды сделались серьезными, сосредоточенными. Моряки знали, что конвой вступил в зону атак подводных лодок. Крупная волна, быстрый ход пока защищали суда от успешных нападений врага.

К рассвету третьего дня океан утих, и о! тысяча проклятий! Незаметно, второй после подводных лодок серьезный враг, густой туман окутал саваном мертвеца весь конвой.

Началась ежеминутная какофония траурно звучавших сирен кораблей. Их ход был уменьшен до минимума.

Джонсон не сходил с мостика. Конечно, с ним был

и « Рыжий ». Он почему-то сильнее обыкновенного нервничал, придушенно лаял.

Участились взрывы глубинных бомб. Бешеным ходом с правого борта чуть ли не в десяти шагах от корабля призраком пролетел миноносец.

Звуки взрывов ежеминутно учащались все больше и больше. Капитан напряженно смотрит вперед — во мглу тумана.

Вдруг яростно залаял « Рыжий » и командир внезапно увидел погружавшуюся в воду корму корабля, шедшего в его колонне впереди « Звезды Бостона ».

— Лево на борт! Полный ход вперед! — скомандовал Джонсон и резко прозвучал сигнал боевой тревоги.

Корабль выскочил в промежуток между колоннами, а затем!

Два глухих удара, заглушенный подводный взрыв! Какая-то могучая сила приподняла переднюю часть корабля вверх, затем судно, стоя, начало погружаться медленно в воду...

Раздался сигнал: « Оставить корабль. К шлюпкам! » Вся команда бросилась по заранее расписанным местам. Корабль все еще медленно, все еще прямо погружался в воду.

Шлюпки были быстро наполнены экипажем. Капитан с « Рыжим » находились в шлюпке № 1, с правого борта. В шлюпке № 3 почему-то оказался старший офицер с окровавленной головой. Начался медленный, как предсмертная агония, спуск шлюпок на воду... вот они уже почти на воде.

По талям скользят вниз спускавшие их матросы, они уже в шлюпках. Отдают (снимают) крюки с блоков. Шлюпки свободны, на воде, они идут вдаль от корабля. Избегают водоворота, когда корабль скроется под водой. Вдруг судно резко ложится на правый борт. Слышны крики команды шлюпок левого борта. Это значит, что они не достигли воды, висят на талях в воздухе. Показывается днище и киль судна! Корабль быстро исчезает в пучине океана! Это конец... Это смерть « Звезды Бостона ».

Туман вдруг начинает редеть.

Джонсон поворачивает свою шлюпку, идет к месту гибели своего корабля. Может быть, удастся кого-нибудь спасти. Там гибнут его долголетние соплаватели.

В кострах разлитой, пылающей нефти, среди дебрей деревянных частей погибших кораблей, уже видны плавающие фигуры.

Слышны свистки, крики о помощи. Команда гребет изо всех сил. Подбирают трех человек, но они не свои. С другого, чужого, корабля. « Рыжий » на борту шлюпки отчаянно залаял и бросился в воду. Джонсон пошел за ним. « Рыжий » схватил какую-то вниз лицом плывущую фигуру...

Шлюпка подошла вплотную и Джонсон поймал « Рыжего » за ошейник, матрос освободил из пасти спасенного моряка. Он оказался экономом корабля... мертвым.

Джонсон торопливо расстегнул его куртку, вытащил резиновый большой бумажник с документами и деньгами, обязательно носимый моряками во время последней войны, и опустил труп обратно в воду.

Сдерживая волнение, он, стоя, прочел молитву погребения в море. Она заканчивалась словами: « и предаю прах твой глубинам! »

Шлюпка начала отходить от места гибели « Звезды Бостона ». Туман исчез, рассеялся окончательно. Боевые суда конвоя продолжали бросать глубинные бомбы, зигзагами курсов полного хода.

На горизонте были видны уцелевшие траспорты отряда, шедшие предельным ходом на секретно указанное место встречи после боя в целости оставшихся судов (рандеву).

Эти корабли не могли останавливаться и подбирать людей в воде. Спасение тонувших или плывущих было им запрещено уставом. Только шлюпки со спасшимися имели право это делать. Людей в воде подбирали для этой цели суда конвоя.

Навстречу Джонсону шел такой спасательный корабль. Он взял на борт оставшихся в живых людей со « Звезды Бостона » с « Рыжим » вместе.

Через пять дней они прибыли в Нью-Йорк. Капитан по-братски расстался со своей командой. Лично от-

вез раненого старшего офицера в госпиталь. Просил его не забывать, писать. А сам с « Рыжим » вместе уехал в Бостон.

Война была закончена миром для всего мира. Демократия была спасена снова. Но надолго ли?

— *** —

Капитан корабля « Индейская Стрела » Иван Костромаров прибыл со своим кораблем в Бостон. Разыскал своего старого соплавателя, капитана Фрэда Джонсона. Состоялась радостная встреча друзей. Костромаров был приглашен на ужин в дом Джонсона, находившийся за городом.

По дороге домой Джонсон рассказал Костромарову, что женился на девушке, разыскивавшей по ошейнику « Рыжего ».

Счастлив, любит свою жену. Имеет сынишку, двух лет. Семья с матерью жены, с « Рыжим » и « Жюли » живет дружно в старом отцовском доме его жены, с большим садом на берегу океана. Он доволен своей судьбой. Костромаров чистосердечно поздравил своего друга.

Машина въехала в открытые ворота большого имения. Друзья вошли внутрь старинного дома стиля Новой Англии, каких теперь становится все меньше и меньше.

Дверь была открыта благообразной пожилой горничной, негритянкой.

Навстречу Джонсону, смешно семеня ножками, бежал очаровательный карапуз, — вылитый портрет своего отца.

Шквалом на грудь Джонсона бросился « Рыжий », узнал заметно растроганного Костромарова. Появилась и жена Джонсона, еще более похорошевшая, какая-то умиротворенная.

После взаимных приветствий вся группа направилась в громадную гостиную. У большого, ярко пылавшего камина в глубоком кресле сидела очень пожилая

дама с приятным красивым лицом, но с каким-то странным, ушедшим в себя выражением лица.

У ее ног на полу покоился черный пудель. Костромаров был представлен теще Джонсона и ее второй дочери, « Жюли ».

Несколько рюмок старого портвейна у камина, затем обед в столовой с резными стенными панелями мореного дуба, с ярким светом свечей, со светским, много не значащим разговором.

После обеда дамы распрощались и ушли к себе, а приятели пошли в библиотеку хозяина дома, куда были поданы кофе, коньяк и сигары.

Начался разговор старых друзей, откровенный, как некогда, в каюте капитана на « Звезде Бостона ».

Пошли воспоминания о прежней морской жизни Джонсона, незаметно перешедшие на его береговую жизнь. Трудно ему было привыкать к работе в душной конторе после раздолья океанов и морей.

Порой немного надоедала теща своим ультра-чопорным тоном светской женщины, связанным с какой-то детской наивностью. « Но, если бы не было тещи, то не было бы и моей жены с сынишкой, поэтому я почти не обращал внимания на ее некоторые странности », с улыбкой закончил Джонсон свой рассказ о себе.

Отпили коньяка и кофе, закурили свежие сигары.

— А « Рыжий » тоже счастлив со своей « Жюли »? Не скучает по своему другу эконому « Звезды Бостона »? — спросил Костромаров.

Джонсон молча встал, подошел к окну. Долго стоял и смотрел вглубь потемневшего сада, откуда доносились звуки прибойной волны.

Повернулся лицом к своему другу, проговорил с мягкой улыбкой:

— То, о чем я тебе расскажу сейчас, Иван, должно строго остаться между нами...

Костромаров в знак согласия наклонил голову.

— Ты помнишь имя и фамилию нашего эконома?

— Да! Конечно. Джон Смит.

— Да, Иван! На это имя были сделаны все документы, — опять улыбнулся Джонсон.

— Сдавая морской бумажник погибшего эконома в Нью-Йорке среди документов, денег покойного, была найдена фотография какой-то молодой пары с ребенком на руках у матери и тщательно, вчетверо сложенный диплом доктора философии, выданный самым старым университетом Америки на имя Чарльза Дроубриджа. Все еще находясь под влиянием гибели корабля и наших соплавателей, я нервничал, не обратил внимания, что фамилия моей невесты тоже была Дроубридж, но мало ли бывает однофамильцев?

Прибыл в Бостон с « Рыжим ». Встретился со своей будущей женой, согласие на брак получил от нее и ее матери еще до отхода в последний рейс « Звезды Бостона ». Свадьба была назначена через десять дней после моего приезда. Натурально, я проводил с невестой все время вместе, вели самые различные разговоры о будущем, избегали военных тем, в особенности воспоминаний о моем погибшем корабле. Я еще остро переживал эту потерю.

Однажды по просьбе ее матери, я привел « Рыжего » повидаться с « Жюли ». Состоялась радостная встреча собак. « Жюли » вела себя, как настоящая любящая женщина, забыла все условности тонкого обращения светской барышни собачьего бомонда Бостона. Собаки играли около нас, мы с невестой сидели у камина. Почему-то в памяти всплыло имя эконома — однофамильца моей будущей жены.

Я рассказал ей об этом курьезе. Она сильно разнервничалась, засыпала меня массой различных вопросов. Слушая мои ответы, она становилась все более уверенной в том, что другого Чарльза Дроубриджа, профессора Н-ского университета, кроме ее собственного отца, не могло быть!

Она была малюткой, когда ее отец ушел из дому и как в воду канул! Несмотря на розыски его полицией по всему земному шару в продолжение многих лет, он найден не был.

Потом он официально был объявлен мертвым. Насколько она помнит, ее мать болела после ухода отца. Воспитывала ее тетя, сестра пропавшего отца. Ей строго были запрещены всякие вопросы об ее отце, в осо-

бенности в присутствии почти всегда больной матери. Она со странностями. Продолжает верить, что ее муж жив и скоро вернется домой.

Эту историю хорошо знает ее дядя, брат отца, обещавший посвятить ее в какую-то семейную тайну, перед тем, как она будет выходить замуж.

Теперь нужно выяснить, кто действительно был изображен на фотографии, а, судя по диплому, она уверена, что вледелец его был ее отец. Она знала, что он был профессором Н-ского университета — другого не могло быть.

Нервничала она всю ночь, а утром мы с ней вместе вылетели в Нью-Йорк с надеждой разгадать загадку ее семьи.

В Нью-Йорке разыскали бумаги эконома с фотографией. И да! Это была она, моя невеста, малюткой на руках у матери, а эконом был ее отец. Эту карточку, единственную в их семейном альбоме, она хорошо знает. Сомнений нет — она нашла своего отца...

Потрясенные, опечаленные, мы с бумагами эконома вернулись в Бостон. В тот же вечер мы вместе поехали к ее дяде — старому холостяку, жившему только своей литературой.

Радостно принял нас ласковый патриций с шапкой седых волос и по-молодому блестевшими синими глазами.

Он тоже был заметно взволнован неожиданным открытием, — долго смотрел на фотографию эконома и поведал нам тайну его семьи, которой его единственная племянница никогда не знала.

Братья Дроубридж, представители старинной семьи Бостона, жили душа в душу. Вместе учились и окончили один и тот же университет. Он сделался писателем, брат профессором философии и знатоком латинского и древнегреческого языков. В своей области брат делал головокружительную карьеру. Очень молодым получил кафедру профессора философии в знаменитом университете Америки.

Семейное банковское дело братьев не интересовало, каждый работал в своей, интересовавшей его области. Много путешествовали со своей сестрой по всему миру.

Только по обязанности появлялись в обществе, посещали театр, концерты, балы. На одном вечере его брат познакомился с молодой красивой актрисой, почти сразу влюбился. Решил жениться. Сообщил об этом своем намерении своим родителям. Этим он вызвал целую бурю негодования и протестов со стороны отца.

Он, представитель одного из старейших культурных семейств Бостона, банкир, уважаемый всем городом, невесткой своей актрису без роду и племени, да еще Бог знает с какой репутацией, — иметь не желает. Он скорее умрет, чем одобрит и даст свое согласие на такой брак. Ему не бывать, пока он жив! Мать тоже, хотя и слабо, но поддерживала взгляд отца на брак сына.

У сына же тоже был железный характер янки, предки которого упрямо, настойчиво покоряли, культивировали страну Нового Света, преодолевая неимоверные трудности. И он женился на актрисе...

В тот же день его отец умер от разрыва сердца, узнав о свадьбе сына. Тоже сдержал свое слово — умер без актрисы в своей семье. Хоронили отца в отсутствии новобрачных. Брат тяжело переживал его браком накликанное несчастье семьи.

Их мать, мягкая женщина, забыла, простила сыну проступок ослушания отцу. Занялась образованием жены сына. Результаты ее попыток были обескураживающие. Невестка по-прежнему оставалась актрисой. Та же ночная жизнь. Та же страсть к нарядам. Выезды в свет. Склонность к привычному флирту. Поездки в Европу — все шло вразрез с жизнью ее мужа, молодого серьезного ученого, много работавшего.

Беременность ее и рождение девочки принесли около года какую-то нормальную жизнь, а потом все пошло опять по старому.

Муж делался все более и более сумрачным, ушел в себя, пристрастился к алкоголю. Умерла и его мать, когда дочери исполнилось три года. Он начал еще сильнее страдать, упрекать себя за преждевременную, по его мнению, смерть своих родителей.

А тут поползли по городу какие-то слухи о романе

его жены с каким-то немецким графом, правда, не имевшие никакого основания.

Была бурная сцена объяснений, обвинений, оправданий в течение целой ночи, а утром он вышел из дому и исчез!... Раз и навсегда!

Многолетние поиски полиции всего мира не дали никаких результатов. Это событие повлияло на психику оставленной жены. Она душевно заболела. Год провела в частной клинике для тихо-помешанных. Выпустили ее оттуда, но не совсем здоровой. Она до сих пор верит, что ее муж жив, скоро вернется к ней.

Она живет своим пуделем « Жюли » и верой в возвращение отца своей дочери.

О судьбе ее мужа — эконома корабля и его смерти в океана — ей лучше не говорить, советовал брат умершего. Пусть это останется семейной тайной. Профессор Чарльз Дроубридж был официально объявлен мертвым много лет тому назад.

Я был подавлен, тихо плакала моя невеста, впервые узнавшая прошлое своих родителей.

Мы распрощались и ушли. Через неделю отпраздновали скромную свадьбу. Я опять прошу тебя, Иван, все услышанное тобою держать в секрете, — снова попросил своего друга Джонсон.

— Теперь я отвечу на твой вопрос о « Рыжем », скучает ли он по экономе? Думаю, что скучает, но не особенно. Ведь здесь родился и жил его хозяин. Все вещи, книги, мебель, все пропитано запахом его повелителя. Он, наверное, думает, что эконом загулял один без него на берегу. И, как моя теща ожидает возвращения своего мужа, профессора Чарльза Дроубриджа, так и « Рыжий » надеется на появление, возможно пьяного, в сопровождении полиции, эконома корабля « Звезда Бостона », Джона Смита.

Я думаю, что он его не забывает, он просто не понимает, где пропадает его друг, спасший ему жизнь и воспитавший его. Вот, наверное, поэтому, « Рыжий » прямо-таки сходит с ума в осенние густо-туманные ночи. В доме тогда удержать его нельзя. Он бесится и требует, чтобы его выпустили из дому. Бежит через весь сад, к берегу океана, ложится на песок, смотрит

на восток и тихонько воет до самого утра. Я уверен, что он поджидает своего покровителя...

Прощай, старик! Рад был видеть тебя. Будешь в Бостоне, — обязательно заходи. Сейчас шофер отвезет тебя в город...

Друзья вышли на крыльцо. Махал рукой Джонсон, у ног которого стояли « Жюли » и, размахивая хвостом, « Рыжий ».

ТЕТЯ СОФИ

В силу близкого родства, племянницу моей бабушки с самого раннего детства мне было приказано величать тетей Софи́, с ударением на « и ».

Была она вдовой лет этак за сорок, крупного телосложения, с темными греческими глазами и с бородавкой, математически точно поставленной природой в самом центре ее переносицы.

Слегка подкрашивалась, употребляла духи « пачули », курила, играла на гитаре и ездила на дамском велосипеде « Люкс » ярко-красного цвета, купленном в те далекие времена за 120 рублей.

Жила тетя Софи неподалеку от нашего домика с перезревшей дочкой-учительницей Манечкой и прислугой « за все », хохлушкой Горпыной, знаменитой на весь город кухаркой и непревзойденной специалисткой по приготовлению вишневой наливки.

Жила тетя на маленькую пенсию и на доход от большого фруктового сада и двух коров, дававших хороший удой молока, шедшего в продажу в сыром и топленом виде.

Тетя Софи обладала недюжинными коммерческими способностями, держала Манечку и Горпыну в ежовых рукавицах. Последнюю-главным образом за приверженность к ею же приготовляемой вишневой наливке, которую она для « отвода глаз » всегда пила из эмалированного синего чайника.

Баловала тетя только своего любимца, громадного кота Ваську, всегда тершегося у ее ног, да еще вашего покорного слугу, которому сулила блестящую будущность архиерея, почему — сам не знаю.

Независимое финансовое положение тети Софи

позволяло ей иметь две слабости: одну — это судиться с кем попало и по какому угодно поводу при помощи частного поверенного Исидора Вейцмана, известного всему городу под кличкой « подпольного адвоката ».

Второй же слабостью были доктора... Тетя всегда « болела » самыми разнообразными и, конечно, воображаемыми болезнями, дававшими ей повод к посещению всех врачей нашего богоспасаемого городка.

В те времена было очень модно болеть и якобы находиться под вечной угрозой вот-вот наступающей смерти. Нашим местным эскулапам тетя Софи своими визитами надоела так, что многие из них отказывались ее принимать, и только двугривенный, сунутый в руку горничной, открывавшей дверь кабинета, обрекал медицинское светило на целый час выслушивания самых диких симптомов болезней этой страдалицы, за что светило и получало два рубля за визит.

Облегченная советом целителя, снабженная рецептом тетя делала обход всех знакомых, узнавала волнующие сплетни и слухи и на пути домой останавливалась у нас, что для меня было божеским наказанием: я должен был целовать ей руку, — это одно, а второе-стоически переносить поцелуй ее мокрого рта и дышать противным запахом духов « пачули », модных в ту далекую пору.

Страдала и моя гордость мужчины в возрасте уже девяти лет и семи месяцев, свободно переплывавшего ворота нашей гавани шириной в целых двадцать саженей, с которым обращались как будто с грудным младенцем.

Выпивая три громадных чашки крепчайшего кофе, тетя жаловалась, что дни ее сочтены и что в нашем городе нет, к сожалению, ни одного доктора, который мог бы поставить правильный диагноз ее болезни.

После минорного тона повествования о своей особе, она переходила в мажор всех городских сплетен...

Следовали прощальные поцелуи и она шла домой изводить нравоучениями дочку Манечку и обещать все мучения ада Горпыне за ее неискоренимое пристрастие к вишневой наливке.

— *** —

Поэтому, когда однажды в грозовую летнюю ночь прибежала к нам Горпына и в слезах, истошным голосом завопила: « Ой, лышенько! Наша барыня змерла! » — то домашние почти не удивились этому трагическому заявлению: вечные жалобы тети Софи на ее здоровье и разговоры о близком конце ее жизни производили впечатление, — смерти можно было ожидать, казалось, со дня на день.

Все взрослые, конечно, сразу отправились в дом, посещенный ангелом смерти, оставив меня в моей кроватке со строгим приказом — спать и не пугать младшую мою сестренку разного рода привидениями.

У меня же и без их приказа не было времени даже думать о ней.

В голове носились самые радостные, приятные мысли: тетя Софи умерла, — значит не будет больше поцелуев ее накрашенного и мокрого рта прямо в мои губы. Это одно.

Второе, она не будет изводить меня, солидного молодого человека почти уже десяти лет, своими по-детски сюсюкающими восклицаниями вроде « Ай, какой зе ти у меня холосий! »

Было еще и третье: ее дочка Манечка была куда добрее своей мамаши, и я был уверен, что теперь буду правой ее рукой по уборке сада, а это сулило бесконтрольное пользование всеми плодами земными, начиная от ранней клубники и кончая наливными антоновскими яблоками и поздними грушами « дюшесс ».

Сами же похороны автоматически поднимали мой престиж среди моих сверстников на головокружительную высоту: будут настежь открыты ворота (обычай тех времен у русского простонародья, откуда и пошла, наверное, пословица: « Пришла беда, растворяй ворота! ») и у крыльца дома будет стоять глазетовая крышка гроба.

В самом же дворе будет куча играющей детворы, которую я как родственник усопшей могу впустить или выгнать со двора.

Это же обстоятельство давало мне возможность отомстить моему заклятому врагу, Максимке Портнову, за то, что он выпроводил меня с их двора две недели

тому назад, когда умер ЕГО дед. Правда, я его предупредил, что когда у НАС будет покойник, то его постигнет еще более мрачная судьба, за что чуть не поплатился ушами, когда это грозное предупреждение было услышано моей бабушкой.

Так вот теперь и на нашей улице настал праздник, слава Богу! И у меня есть покойник!

А потом, во время панихиды, в церкви будут раздавать зажженые свечи. Наверно — толстые и не дешевле, как гривенник штука...

Огарок свечи, почти половину, можно будет незаметно спрятать в карман, что даст, наверное годовой запас воска для ловли тарантулов шариком, опущенным на суровой нитке в норку этого ядовитого насекомого.

Тарантулов, я знал, можно продать в аптеку для приготовления какого-то яда, но нужно поймать штук сто, не меньше, — и чтобы дохлых среди них не было. Все должны быть живыми. Воску надо много.

Будет, конечно, и кутья, или коливо, из нашей южно-русской вареной пшеницы, обильно сдобренной медом, толчеными орехами, корицей и изюмом, а сверху украшенной множеством мармелада самых причудливых форм и до сих пор незабываемого вкуса и нежности.

Ну, в общем, будущее приняло для меня самую розовую окраску, которая даже заставила меня забыть последнюю порку за слабые успехи в школе.

Я уснул счастливым, безмятежным сном человека, которому милостиво улыбнулась судьба...

Утром всей семьей пошли мы в дом новопреставленной рабы Божией Софии.

Все было как по расписанию: и открытые ворота, и крышка гроба у крыльца, и куча взрослых с оравой ребятишек, уже старавшихся сорвать головки серебряных ангелов-украшений последнего дома упокоения моей тети.

Вошли внутрь, перекрестились...

Взглянули на покойницу, уже лежавшую в гробу, послушали гнусавое чтение Псалтыря отставленным за пьянство дьячком Пафнутием, в одной руке держав-

шим свечу, а другой отгонявшим кота Ваську, который норовил улечься в гробу у ног своей хозяйки.

Услышали воздыхания старушонок о том, что тетя лежит « как живая! »

Я проскользнул в кухню, где Горпына с двумя помощницами была занята приготовлением поминального обеда, плакала, прикладывалась к носику эмалированного чайника с вишневой наливкой и все время восклицала:

— На кого же ты нас заставыла?

Увидав меня, Горпына приказала мне сесть за стол и не болтать ногами, дала мне полную тарелку пампушек и пышек « з медом » и объявила, что похороны будут « з катафалком », « з хором пивчих » и « з прокурорами » (« прокурорами » местным населением назывались факельщики похоронной процессии за их странные костюмы и треуголку с серебряным позументом на голове, напоминавшую парадный головной убор главного жреца Фемиды; набирались они, главным образом, из пропойного босячества и плата им была — от 20 копеек до рубля за похороны, с большим белым платком в придачу. Платок этот неизменно пропивался после похорон как бы за упокой души усопшего).

Процессия же с « прокурорами » и с катафалком была как бы визитной карточкой крупного социального значения гражданина, ушедшего в « места горние, в лоно Авраамово ».

Сообщила Горпына также, что уже варит целых десять фунтов пшеницы для кутьи-колива и купила три фунта мармелада Абрикосова по 40 копеек за фунт.

На мою просьбу дать стакан молока любительница наливки ответила мне угрожающей фразой:

— И чому тоби вчат в твоей школи? Хиба ж ты не знаешь, що теперь Петривка (Петровский пост) и православному христианству скоромного исты ни як не можно? Геть видселя (уходи отсюда), доки я чегось с тобой не зробила! »

Я выбежал во двор наводить порядок.

Как я и ожидал, среди « шатии » моих друзей был и Максимка, с моим приходом позорно выгнанный с « нашего » покойника.

После этого акта благородной мести, всей гурьбой рассыпались мы по громадному саду покойницы и устроили там подлинный « фруктовый погром » всем плодам кустов и деревьев; играли почти до самых сумерек в « разбойника » и « колдуна », а затем разошлись по домам.

— *** —

В 9 часов утра на другой день всей семьей пошли мы в церковь. На паперти было много нищих с их « старостой » Антипычем, участником Крымской кампании, с простреленными коленями, на костылях.

Было несколько слепых и юродивый Афоня, вещавший о каких-то, ему одному ведомых чудесах.

За оградой церкви стоял катафалк, запряженный четверкой вороных траурных одров, донельзя напоминавших лошадиные скелеты.

« Прокуроры » — факельщики от нечего делать пока что играли в орлянку.

С массой цветов вокруг гроба возлежала покойница; за ее головой, на маленьком столике стояло блюдо кутьи-колива с мармеладом и свечой, воткнутой в самый центр этой роскоши.

Только от одного вида этой прелести у меня потекли слюнки предвкушаемого наслаждения, слегка омраченного, правда, присутствием на другой стороне кутьи Максимки, явно целившегося на самый большой кусок мармелада.

Выгнать его из церкви было невозможно. Я только показал ему язык .

Роздали свечи, началась панихида, стройно пел церковный хор, плакали родственники, басом голосила Горпына, рыдала Манечка.

Пропели трогательное « Житейское море », вступили в « Со духи праведных скончавшихся ».

Пономарь Емельян начал собирать потушенные свечи, моя же, согнутая, уже покоилась в кармане.

Раздалось протяжное « Со святыми упокой », затем о. дьякон Канонархов глубокой октавой начал: « Во блаженном успении... » и, когда дошел низкой, рокочу-

щей нотой до « и сотвори ей вечную-ю-ю память! » тетя Софи вдруг медленно поднялась, дико взглянула на все окружающее и завопила:

« Хоронить вздумали? Меня? Живую?! »

В мгновение ока она портупей-юнкерским прыжком выскочила из гроба и стала наступать на своего архи-врага о. дьякона, который когда-то, во время пасхального посещения ее домика, грязными калошами испачкал ей китайский ковер.

Вся орава пришедших воздать « последнее лобызание », точно стадо перепуганных овец, бросилась к выходу.

Робкий священник о. Захария крестом отгонял наседавшую « покойницу », приговаривая: « Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его! »

А отбежавший в сторону о. дьякон прорычал: « Изыде, сатана! »

« А! Так я же еще и сатана! » вскрикнула тетя Софи и, если бы Канонархов своей тушей не пробил брешь в толпе, запрудившей главный выход, то я думаю, от его великолепной бороды осталось бы одно воспоминание.

Невзирая на многих женщин, лежавших в обмороке, тетя Софи, схватив меня за похолодевшую руку, выбежала на паперть храма.

От ее вида инвалид Антипыч, забыв о костылях, кубарем скатился вниз, выбежал за церковную ограду, куда вслед за ним устремились несколько чудом прозревших слепых, и только юродивый Афоня, приплясывая на месте, кричал: « Я так и знал, знал, знал! »

Готовые к « походу » на кладбище « прокуроры »-факельщики, увидев происходящее, мгновенно вспрыгнули всей гурьбой в катафалк, кучером которого был отставной фейерверкер гвардейской конной артиллерии, старик Дубина, и бешеным карьером, колесами почти не касаясь земли, улетели в неизвестном направлении.

И только я один с тетей стоял в ограде.

Я думал о судьбе кутьи; о тете я уже не беспокоился: я знал, что она жива. Но мы с нею не знали, что делать, — все от нас разбежались.

Положение спас босоногий Максимка, уже щего-

лявший оброненной «прокурорской» треуголкой на своей забубенной голове.

Прокричав: «Я чичас!» он убежал и вернулся с приставом второго участка Индюковым, двумя городовыми и взятым за неимением врача ветеринарным фельдшером Кротановым. Пощупав пульс тети Софи, фельдшер с важностью заявил, что все в порядке и что «смерть» тети была, очевидно, летаргическим сном, редким случаем в его «медицинской практике».

Вместо благодарности тетя Софи обдала его презрительным взглядом.

Был составлен протокол, робко начали подходить осмелевшие, но все еще перепуганные друзья и знакомые.

На все их вопросы тетя Софи отвечала гордым молчанием... Нашли извозчика... Я и Максимка, уже с блюдом кутьи, вынесенной им из церкви, поехали домой.

По дороге обжирались мармеладом, коливом и заключили союз вечной дружбы. В знак этого события он даже надел на мою голову «прокурорскую» треуголку, в сердцах сброшенную тетей Софи на мостовую.

Подъехали к дому, вошли во двор, где покоем стоял наскоро сколоченный стол для поминовения усопшей.

Увидев нашу группу, две помощницы Горпыны отчаянно взвизгнули и, подобрав подолы, бросились наутек.

Войдя в дом, тетя Софи легла на турецкий диван. Обрадованный ее приходом кот Васька уже возлежал на ее животе. Максимку тетя услала за настоящим врачом, меня же оставила для своей личной охраны.

Начали стекаться смущенные родственники и знакомые. Под конвоем обалдевшей Горпыны явилась, после обморока, дочь Манечка.

Примчался на лихаче сразу с двумя докторами Максимка.

Те осмотрели тетю, покачали головами, прописали какую-то микстуру и уехали.

Появилась уже подкрепившаяся наливкой Горпына и спросила: «А що робыты з обидом? Его приготовлено на 50 персонив!»

Ответом был приказ: « Созвать всех приглашенных на « похороны ». Пусть давятся этими кушаньями!... Не пропадать же добру в такую жару. Но пусть и запомнят, что когда она в самом деле помрет, то второго поминального обеда не будет! »

В час дня все приглашенные уже сидели по своим местам, тетя Софи была центром общего, все еще боязливого внимания. Мы с Максимкой сидели по обе ее стороны и важничали.

В конце обеда о. Захария произнес речь о воскресшей дочери какого-то Иаира, а после него, подкрепленный солидными возлияниями о. Канонархов провозгласил такое многолетие « хозяйке и дому ее », что мирно пасшееся на улице стадо гусей, захлопав крыльями, умчалось от страха к морскому берегу приводить холодной ванной в порядок свои расстроенные чувства.

Только вечером пир был окончен, и все мирно разошлись по домам.

— *** —

Целый месяц злобой дня нашего маленького городка была « смерть » тети Софи, подогретая еще и судебным процессом гробовщика Голоколосова, начатым им против тети Софи за отказ уплатить за гроб и за катафалк с « прокурорами ».

В назначенный для разбора дела день все места в камере мирового судьи 6-го участка Твердолобова были заняты возбужденно-заинтересованными гражданами нашего медвежьего уголка.

Мы с Максимкой также украшали своим присутствием этот ареопаг: я держал нашатырный спирт, а Максимка — какую-то соль, на случай обморока тети Софи от человеческой несправедливости. Кроме нас двоих, после своей « смерти », она никому не доверяла.

Защитником тети был, конечно, как всегда, частный ходатай по делам Вейцман, интересов гробовщика — какой-то молодой, но настоящий адвокат, во фраке, с университетским ромбом на правой стороне груди.

Вышел мировой судья, страстный, но всегда не-

удачливый картежник, надел на шею цепь и объявил заседание открытым.

Была прочитана жалоба и слово было дано адвокату гробовщика.

В пламенной речи юного Демосфена убийственной логикой прозвучали слова, что гробовщик - коммерсант, а гроб — товар; купили его, использовали, значит — нужно платить и даже в том случае, если покойники будут воскресать, так как гроб все равно когда-нибудь пригодится. А посему, иск Голоколосова справедлив и мудрый суд должен его удовлетворить. Раздались жидкие аплодисменты, довольный собой адвокат сел на место.

Защитник тети Вейцман в своей речи слегка коснулся молодости и неопытности своего « высокочтимого коллеги », недостаточно изучившего все факты и детали этого вопиющего по своей несправедливости дела.

Его подзащитная, вдова коллежского ассесора Свиридопуло, гроба и похорон сама не заказывала, да и не могла заказать: находилась в летаргическом сне, который перепуганные домочадцы приняли за смерть.

Убитые горем близкие приняли гроб и пышную похоронную процессию, не зная, что собою являет личность гробовщика Голоколосова (здесь Вейцман уничтожающе посмотрел на сидевшего в зале истца).

Всему городу известны его отчаянная ловкость и пронырливость. Бывали случаи, когда его дежурные агенты доставляли гробы на дом людям, еще не совсем покончившим счеты с юдолью земною, и гробы эти также безропотно принимались опечаленными или же обрадованными наследниками. На это у него есть доказательства. И взглядом кобры Вейцман посмотрел на покрытого потом Голоколосова.

Помолчав, он добавил, что совершенно согласен с защитником истца: гробовщик — коммерсант, а гроб — товар, купили — надо платить. Но кто его покупал? Во всяком случае, не Свиридопуло, по счастью находившаяся в летаргическом сне, а в таком случае продажи как таковой ни де-юре, ни де-факто, не было и поэтому он просит в иске отказать.

Раздались дружные аплодисменты. Победоносно глядя вокруг, Вейцман сел на свое место.

Мрачно молчал мировой судья, а потом изрек, что раз гробовщик не удосужился потребовать медицинское свидетельство о смерти Свиридопуло, а ее близкие все же приняли гроб и процессию, то он находит, что виноваты обе стороны и как мировой судья считает, что дело это надо решить мирным порядком: рассматривать эту сделку, как что-то отданное напрокат, уплатить гробовщику вместо просимых ста рублей только двадцать пять и забыть о счастливо закончившемся недоразумении. « Дело слушанием закончено! » — произнес он.

Тетя Софи, понюхав нашатырного спирта, поднялась и громогласно заявила, что считает судью в заговоре с гробовщиком, его постоянным партнером в стуколку, ясно намекнув даже на возможность подкупа. Это было занесено в протокол как оскорбление суда, и тете пришлось отсидеть семь дней при арестном доме, куда мы с Максимкой носили ей « передачу ». Отсидев положенный срок и выйдя на свободу, с запиской: « На, окаянный, подавись этими деньгами! » она послала Голоколосову 25 рублей, и дело было предано забвению.



А потом для меня с Максимкой настала не жизнь, а лафа! Мы сделались любимцами тети Софи, объедались фруктами и конфетами, когда нам этого хотелось. Она даже выучила нас ездить на ее дамском велосипеде, обещая купить каждому из нас по такой же дивной машине, когда мы подрастем.

Но кому действительно подвезло, так это коту Ваське. Он оказался самым верным ее другом: только ОН один и знал, что она не умерла и поэтому старался влезть к ней в гроб.

За эту верность ему была сшита зеленая бархатная подушка, и на ней этот дармоед важно почивал, презрительно щуря свои глаза на Горпыну, которая еще не так давно шпыняла его за малейшую провин-

ность, а теперь даже пальцем ему погрозить не смела...

Жрал он отменно, из рыбы признавал только молодую стерлядь (благо ее было много в Азовском море), презирал молоко и лопал только сливки, а всему предпочитал куриную печенку. Даже в постные дни жрал все скоромное.

Мало того, все домашние, включая и меня с Максимкой, по приказу тети Софи были обязаны величать этого обормота Василием Котофеичем.

В общем, жили мы как в сказке. Мрачным пятном было только то, что врачи поголовно отказались лечить и принимать тетю Софи, напирая на тот факт, что, мол, если вы, сударыня, из мертвых воскресли, то мы вам помочь никак не можем, а она все продолжала болеть и болеть.



Жизнь шла своим чередом. Наступила война 1914 года. Манечка вышла замуж за какого-то земгусара с шашкой и даже при шпорах. Я с Максимкой уже летал по всем фронтам... Были мы большими патриотами.

Потом — революция, гражданская война, и с криком: « Спасайся, кто может! » вразброд очутились мы за границей, в Турции.

А затем — « города без дороженьки дальние... » Сорок лет эмиграции стерли память о многом, за исключением близких родных...

Приехав как-то недавно в Нью-Йорк из Парижа, я нашел письмо, написанное незнакомым старческим почерком, протер очки, прочел снова и ахнул!

Писал не кто иной, как сама тетя Софи. Она жива, находится в Турции со всей семьей, и вот недавно сыграли свадьбу ее праправнучки.

Муж дочки ее, Манечки, — владелец небольшой гостиницы, живут они хорошо.

У одного американца совершенно случайно узнала о том, что я жив и благоденствую в Америке, взяла адрес и, обрадованная, пишет мне вот это письмо...

Приглашает в гости, горько жалуется, что все еще

продолжает болеть и, если в старой императорской России не было приличных докторов, которые могли бы установить причину ее недомоганий, то в современной Турции их нет и подавно.

Есть, правда, один врач, который кое-что смыслит, но он довольно старенький, мало общего имееет с современной жизнью.

Два года тому назад он запретил ей ездить на велосипеде, а вот несколько месяцев тому назад прописал ей очки, без которых она видит лучше.

Следовали описания ее недомоганий, просьба выяснить у американских врачей, в чем заключается ее болезнь, взять лекарства и поторопиться с приездом к ней.

Я подошел к столу, подумал, улыбнулся. Решил сделать что-нибудь приятное старушке: пойду к докторам, выясню, в чем тут дело. Старичков надо беречь, хотя по моим подсчетам тетя Софи не такая уж старенькая, — ей всего-то СТО ТРЕТИЙ годик пошел!

Говорят, что русская эмиграция вымирает... Вымрешь! Когда только в столетнем возрасте запрещают ездить на велосипеде, а в 102 года прописывают ненужные очки...

Этот возраст я лично считаю средним, и нашему « молодняку », от 65 лет и выше, беспокоиться не о чем.

35-40 лет еще обеспечены и « есть еще порох в пороховницах, не иссякла еще казацкая сила », как и любовь к России и к ее великому народу.

В воскресенье вылетаю с лекарствами в гости в Турцию.

ИРАНСКОЕ ИСКУССТВО

Ираном, как ныне называется Персия, его историей, литературой (конечно, в переводе) и в особенности изобразительным искусством и архитектурой я интересовался всю жизнь.

Во времена моих долгих плаваний, хотя я и попадал в такие места, куда ни один русский Макар и не думал гонять своих телят, но в Иране побывать не доводилось.

В конце последней войны, мне удалось со своим кораблем придти в Басру, где нашел я группу земляков, — летчиков американцев русского происхождения. По их приглашению, на военном самолете, полетел я с ними в Тегеран.

Читатель может легко догадаться, чем начался и окончился этот визит.

Конечно, нашли изумительный русский ресторан при отеле Надери, где шефом-кулинаром был старик-афганец, много лет работавший поваром в трактире Тестова, в дореволюционной Москве.

Окруженные комфортом, с замечательной русской едой в придачу, с вежливой прислугой, приветливым радушием хозяина отеля и его красавицы жены, русских армян по происхождению, мы окопались в этом уютном месте на два дня.

Никуда не выходили, ничего не видели, а только сидели, пили отличную русскую водку, закусывали тестовскими растегаями, вообще много ели, слушали русские пластинки — и это было все.

А через два дня снова полетели в Басру, оттуда вернулись кораблем в Америку, и я долго потом проклинал свою глупость, что не воспользовался возмож-

ностью осмотреть, хотя бы бегло, все редкости Тегерана.

Все, что осталось в памяти об этом городе, — это отель Надери с русской кухней, радушием хозяина и редкой красотой хозяйки гостиницы.

Прошло много лет, — я вышел в отставку, бросил плавать...

В одну ненастную ночь я сидел у камина в своем домике на берегу океана, около Нью-Йорка.

Шел холодный проливной дождь, глухо шумел океан, мне было так холодно и неуютно на душе.

Отгоняя тяжелые мысли об уже пришедшей старости бобыля, — я решил почитать что-нибудь на сон грядущий. Наугад взял какую-то книжку с полки над камином.

Оказалась она сборником стихов моего любимого поэта, математика, астронома и любителя вина, Кораном ему запрещенного, великого перса Омара Хаяма.

Я погрузился в чтение его неподражаемых стихов, — оторвался от книги, когда камин потух, когда забрезжил серый, неприветливый рассвет над мрачным океаном.

И вдруг я остро затосковал по знойной родине поэта... и сразу же решил помчаться в Персию, увидеть снова Тегеран, полюбоваться изразцами мечетей Испагани, осмотреть развалины Персеполиса близ Шираза, которые я знал только по книгам.

Сказано — сделано.

Через несколько часов я уже дремал в кресле самолета, летевшего в Иран. Нью-Йорк — Париж — Рим — Истанбул — я снова в Тегеране.

Остановился опять в отеле Надери с тем же хозяином и с его красавицей женой.

За эти годы она мало изменилась. Осталась такой же, какою была и раньше... Хотя теперь она напоминала пышную персидскую розу поры золотой осени.

Поужинал, переночевал, а утром с шофером, говорившим по-русски, начал осмотр столицы этой сказочной загадочной страны.

Сам город красив. В особенности его левая часть, расположенная на горе, если смотреть на север. Там находятся дворцы, красивые виллы аристократии и ред-

кий по роскоши американский отель Хилтона. Деловая часть города особого интереса не вызывает, за исключением магазинов с великолепными коврами, античными вещами, ювелирными изделиями в восточном вкусе с особенной персидской бирюзой.

Встречается много вывесок на русском языке, написанных безукоризненно грамотно. Это магазины русских армян, которых здесь довольно много. Персидские базары расположены в восточной части города. Они довольно красочны, шумны, но удивляют массой русских самоваров, выделываемых здесь же. Персы, как и их русские соседи, большие охотники до чаепития.

Поражает глаз также обилие выделываемых на рынках обитых жестью сундуков русского образца. Рисунок и цвета персидской обивки этих предметов — своеобразны. Это пустые банки из под кока-колы или американского пива. Очевидно, металла в Иране мало — вот и пускают в ход использованные американские жестянки.

В городе на многих улицах вдоль тротуаров проведены каналы с проточной водой; в них персиянки стирают белье.

Много зелени, кустов, деревьев, среди которых преобладают очень красивые, высокие деревья, серебристоствольные чинары. Их много растет и у нас на южном Кавказе.

После общего осмотра города я посещал дворцы, мечети, мастерские ковров, парчи и шелковых изделий. Был поражен красотой и нежностью персидских миниатюр, керамики и старинных акварелей.

Видел умопомрачительные по красоте драгоценности короны шаха Персии. Посетил знаменитый Гюлистанский дворец. Там я был изумлен обилием русских художественных предметов: картины Айвазовского, большие коллекции редчайшего русского фарфора, ваз, русской же мебели. Висит громадная, в одну тонну весом, хрустальная люстра, сделанная русскими мастерами какого-то завода. На полке находится исключительной красоты, благородства и тонкости работы полный набор предметов для письменного стола, сделанный из красивого зеленого малахита уральскими рабочими.

Это последний подарок русского государя шаху Персии. Много уникального оружия. Видел знаменитый «павлиний» трон, но он на меня особо сильного впечатления не произвел.

Персидские же ковры, разостланные на полу дворца, — привели меня в полное восхищение.

Надо видеть собственными глазами, чтобы поверить сложной замысловатости и необыкновенному множеству буйных красок громадного ковра, но все же заключенных в строгий план мастера.

После осмотра Гюлистана, шофер уговорил меня поехать осмотреть русский госпиталь, построенный Москвой для бесплатного лечения бедняков Тегерана. Солидное европейское здание находится почти в центре города, блестяще оборудовано по последнему слову медицинской техники.

А штат русских девушек-врачей, как на подбор красивых той русской красотой, которая не только больного с одра подымет, а, можно сказать, мертвого воскресит, привел меня в состояние восторга. Приятно ласкала мой слух их музыкальная московская речь и чисто русская северная приветливость. Закончили осмотр госпиталя — поехали дальше.

Шофер предложил сделать осмотр последней достопримечательности Тегерана — этнографического музея. Я согласился. Подъехали к большому четырехэтажному зданию — вышли из машины, вошли внутрь музея. Он был построен колодцем, т. е. снизу доверху шел какой-то сруб — туннель через все этажи. Середина каждого этажа была обнесена решеткой. Стены же каждого этажа были разделены на маленькие комнаты, где были выставлены групповые экспонаты. Фигуры их, казалось, были сделаны из воска, и ими была представлена вся жизнь Ирана. Но как были они сделаны! Я видел много музеев скульптуры на своем бродяжническом веку, но подобного реализма, никогда, нигде не встречал.

Вот вам, скажем, группа работающих на току, молотящих хлеб крестьян, или группа жнецов, обедающих в поле.

Полное впечатление, что вы видите перед собою живую, на миг замершую группу людей.

Вот сцена в лавке денежного менялы. Дальше: врач принимает больного, на лице которого написано страдание... Вот сцена у местного адвоката... Всех экспонатов не перечислить!

Я осматривал музей вплоть до его закрытия, был доволен тем, что мое любимое иранское искусство оказалось на такой большой высоте.

У нетерпеливо ожидавшего нашего ухода привратника музея даже за приличный бакшиш я не мог получить ни каталога, ни узнать имени художника-творца чудес музея.

Приехал в отель, был приглашен на правах земляка к ужину с хозяевами гостиницы.

Из разговора с этими милыми русскими людьми узнал, между прочим, что отец ныне здравствующей шахини (жены шаха) родился в России. Был кадетом Тифлисского кадетского корпуса. Почти не говорил по-персидски, а только на своем родном русском, да еще на французском языках.

После революции его семья вернулась в Персию. Мальчик-кадет был отправлен в знаменитую французскую военную школу Сен-Сир, где он учился с некоторыми моими знакомыми, окончившими эту славную школу тоже.

Имя отца шахини было Зораб Диба. По выпуске из школы служил в сербской миссии и умер довольно рано.

Дочь же сделалась повелительницей Ирана. Отец ныне здравствующего шаха служил офицером в русской казачьей бригаде в Персии — говорил по-русски. Мне почему-то было приятно сознавать, что русские, хотя и косвенно, все же имели какое-то отношение к судьбам персидской династии.

Милая хозяйка спросила меня о моем впечатлении от виденных мною редкостей Тегерана.

Я начал свой рассказ. Когда же я дошел до описания этнографического музея — то моя речь приняла характер сплошного дифирамба всему мною виденному в этом учреждении.

Свою речь я закончил словами: « Только перс мог создать такие редкостные фигуры... »

Супруги как-то странно переглянулись между собой, загадочно улыбнувшись.

Я спросил о причине загадочной улыбки.

Оба они как-то странно замялись, потом хозяйка сказала мне:

— Мне немножко неприятно разочаровывать вас в вашем восхищении автором чудес музея. Все виденное вами там сделано персом. Его имя и фамилия были: Джевад Бек Закатали.

Но... персом и магометанином он сделался недавно, в двадцатых годах.

— А кем же он был до этого? — невольно вырвалось у меня.

— До этого, — лукаво улыбнулась моя хозяйка, он был русским. Его фамилия была Супрунов, имени и отечества я не знала.

В России Супрунов был вольноопределяющимся 17-го драгунского Нижегородского полка. Родом он был, кажется, из Курска где его отец служил земским начальником.

Попал в Персию в 1919 году. Здесь он начал лепить из хлеба фигурки персов. Раскрашивал их, потом продавал. Затем пять лет Супрунов работал в Персеполисе, где написал несколько научных брошюр. Супрунов также много лет работал у организатора музеев Ирана, известного французского ученого Андрэ Годара.

Его макеты племен Ирана, в особенности туркменов, курдов, белуджистанцев изумительны.

Сделаны они до того тщательно, что даже видны отдельные волосы не только на лице, но и на руках.

В подвалах хранилища еще много фигур, сделанных Супруновым, но боюсь, что они не будут долговечны. Материалом в его работе ему служила чуть ли не глина. Раскрашены фигуры плохой дешевой краской. На хорошие заграничные краски у него не было средств. Да! Этот музей почти весь создан Супруновым. Русским. Впоследствии персом и магометанином Джевадом Бек Закатали. Он был женат на персиянке. Умер от перитонита в 1955 году.

Талантливый был человек. Ему бы жить да жить. Так закончила хозяйка свою грустную повесть.

Я сидел взволнованный выслушанным рассказом. Мне было жаль безвременно погибшего талантливого Супрунова, о существовании которого, как автора редкостных работ музея, знали немногие, да мало кто узнает о нем и в будущем.

Но было и радостно сознавать то, что куда бы ни поехал наш брат — белый русский эмигрант, он почти всегда, делает что-нибудь хорошее. Из ряда вон выходящее. Да так, что вот даже в далеком, ярком, красочном и знойном Иране с его тысячелетним искусством, он, русский, в прошлом-боец одного из старейших полков русской конницы, — создал шедевр иранского искусства!

Я распрощался, ушел спать. Утром следующего дня я уехал в Испагань.

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО...
БЫЛЬ

В гостинице, находившейся на берегу тихого швейцарского озера, окруженного высокими, со снежными вершинами горами, познакомился я с одним русским.

Он был довольно высокого роста, с открытым лицом русского северянина, обрамленным короткой подстриженной бородкой и седеющими усами. Его светло-серые глаза излучали какую-то тихую грусть Русский язык его был по-московски плавным, но слова были заключены в отчеканенные, короткие фразы жителя Петербурга.

Одет он был с какой-то скромной небрежностью в дорогой костюм темного цвета.

Единственным украшением у него на руке было кольцо Пажеского корпуса, вороненой стали с золотыми ободками.

Имя, отчество и фамилия его, когда он мне представился, были: Иван Иванович Иванов.

« Как раз », подумал я, « с такими именами и фамилией только и попадали в Пажеский корпус! », но ничего не сказал ему по этому поводу.

Для меня было ясно и понятно, что мой новый знакомый скрывает свое русское прошлое, и в дальнейших беседах с ним я деликатно удерживался от всяких расспросов об его прошлой жизни в старой России.

В первую же встречу с ним я почувствовал наличие какой-то взаимной симпатии. Мне казалось, что мы подошли друг к другу; вечером мы ужинали вместе, за отдельным столиком в уютном углу столовой пансиона, решив не надоедать публике нашей русской болтовней.

— *** —

Вышло так, что мне пришлось первому рассказать о своей жизни за рубежом, а потом, в сдержанном тоне, короткими фразами, Иван Иванович поведал мне и об его судьбе на чужбине.

Бежал он из России в начале тысяча девятьсот девятнадцатого года. Попал в Финляндию, и почти сразу же ему удалось уехать в Африку, страну его детских грез и мечтаний.

Живет он там вот уже сорок пять лет. Исходил и изъездил эту часть света вдоль и поперек. Говорит на многих языках и наречиях этого огромного материка.

Занимался он там самыми различными делами. В молодости был даже боксером, охотником, золотоискателем и вот теперь уже более двадцати лет занимается скупкой и продажей резины не только чужих, но и своей собственной плантации.

Там, в своих скитаниях, много лет тому назад, где-то в непроходимых почти джунглях он набрел на деревушку — становище негров-дикарей.

Постоянно воюющие с другими племенами, всегда враждебно настроенные против неизвестных им людей, они ему, белому человеку, почему-то оказали радушный прием.

Он прожил у них несколько недель. Наблюдал за их жизнью, работой и охотой, за их обычаями, и они ему так понравились своей детской непосредственностью и неиспорченностью, что он решил остаться жить у них навсегда.

Изучить их примитивный язык ему было легко, и вот из воинов-охотников, дикарей, он сделал земледельцев. Научил их, как нужно собирать и хранить резину, кому, где и как ее продавать. А потом всей деревней расчистили большой участок земли в девственном лесу и устроили там свою общую деревенскую плантацию. Он установил для них основные правила здравоохранения, питания, и из недавних дикарей, чуть ли не людоедов, они превратились в мирных поселян.

Работают они артельно, живут неизмеримо лучше других, раньше враждебных им племен, с которыми они не только воевать перестали, но даже и помогают им, чем могут.

Из них, язычников, Иван Иваныч сделал людей, верующих во Единого Бога, но « православными трудно было сделать людей, не имеющих своей письменности », с мягкой улыбкой добавил Иван Иваныч.

Во время дождливого сезона, когда ни работать, ни охотиться нельзя, чтобы заполнить их свободное время, он обучил все население поселка самому простому, несложному русскому языку.

Способны дети природы! В очень короткий срок они научились неплохо калякать по-русски, и понимают все русские слова, касающиеся их простого обихода. Это обстоятельство ему особенно нравится: даже такая детская русская речь немного скрашивает разлуку с родиной.

Он сжился, сроднился и так полюбил этих людей, что у него никогда даже не появлялось и мысли о возвращении к цивилизации.

Он решил окончить жизнь свою среди этих людей. Женился на молодой девушке из их среды. Она умерла в родильной горячке, оставив ему новорожденного сына. Мальчика своего он воспитывал сам, у себя в деревне. Обучил сына языку его предков, так же как и другим языкам. В возрасте десяти лет отвез его в город, где он получил среднее образование в английской школе. Теперь сын его — студент медик в университете в Лондоне. Скоро получит диплом и вернется на родину, помогать своему народу, который он очень любит.

Сам Иван Иваныч каждый год бывает в Европе, делает нужные закупки, приобретает русские книги, журналы, газеты, вместе с сыном посещает русскую церковь, говеет, исповедуется, причащается, а затем снова назад, в Африку, один. Сын продолжает учиться в Англии.

На мой вопрос, не хочет ли он теперь, в его возрасте, оставить Экваториальную Африку с ее временами убийственным климатом и перебраться в Европу, в город, на более спокойную жизнь, Иван Иваныч дал ответ, который до сих пор звучит у меня в ушах:

« Нет. В город я никогда не перееду. Там человек не чувствует Бога. А ближе к природе — ближе к Бо-

гу.» Мы распрощались и разошлись спать по своим комнатам.



Две недели я провел с этим изумительным, загадочным и, в то же время, таким светлым, искренним человеком. Исходили мы с ним не мало мест, взбирались на горы, купались в холодных швейцарских озерах. Разговоры вели главным образом о России, о русском народе, об его прошлом и настоящем, о будущей роли русского человека во всем мире. Политики в разговорах наших мы касались редко.

Иван Иванович был несомненно искренне и глубоко верующим человеком, хотя об этом говорил редко. В его понятии высшей формой религии для него было наше исконное русское православие. И, по его словам, когда оно, прошедшее через полустолетие суровых гонений и преследований, снова воссияет как «Свете тихий» над нашей многострадальной родиной, тогда и придет свет всему человечеству с Востока. Русского Востока... И исполнится пророчество старца Филофея: «Быть Москве третьим Римом, а четвертому не бывать!». В нем нужды не будет. Весь мир будет любить Россию и русского человека, прошедшего через непостижимые испытания, мученья, принесшего десятки миллионов человеческих жертв, но сохранившего свой дух, свою веру в будущую лучшую жизнь всех народов мира.

Иван Иванович мог часами говорить на эти темы. Говорил же он так мягко, ласково и убедительно, что мне, внутренне не всегда с ним соглашавшемуся, искренне хотелось разделять его веру в русский народ, в его мировую судьбу, которая воплотится в жизнь, в то, что заслуги народа-мученика, безропотно принимавшего все удары судьбы, от татарского ига и до дней наших, защищавшего Запад и его культуру от нашествия грозных азиатских орд, будут оценены «по делом его», и он займет предназначенное ему место в судьбах всего человечества.

Слушая Ивана Иваныча, по правде признаться, мне

только **хотелось** верить в будущее России и русского человека, в то время как он сам искренне и глубоко верил в то, что исповедовал, но при одном лишь непременном условии: что Россия должна сохранить свое православие, неразлучное с ее судьбой в прошлом, будущем и настоящем. Без православия ничего не выйдет. На этом обыкновенно заканчивался наш вечерний разговор, и мы расходились спать.

Наступил день отъезда Ивана Иваныча в Африку. Он попросил меня проводить его на пароходе, идущем на итальянскую сторону озера, откуда он на самолете отправится к себе домой. Я охотно согласился и на изумительно чистом, сверкающем белизной быстроходном суденышке пошел с ним в Стрессу.

Был яркий солнечный день. Перед нами открывались красивые деревеньки, городки, острова со старинными замками на озере Maggiore. Пораженные красотой дня и величием природы, мы ехали молча. Каждый из нас предавался своим думам.

Налюбовавшись чудесным видом, я начал рассматривать публику, находившуюся вокруг нас на верхней палубе пароходика. Мое внимание было привлечено красавцем, молодым католическим священником, сидевшим напротив нас. Жгучий брюнет с лицом римского сенатора, одетый в хорошо сшитую сутану, в круглой шапочке, прикрывавшей тонзуру на его голове, он читал какую-то книжечку, несомненно светского содержания, и курил тонкую, маленькую сигару.

От него всего веяло породой, барством, уверенностью в самом себе; как мне даже показалось, он иногда вызывающим взглядом молодого гусарского офицера рассматривал окружавшую его публику.

От духовенства и от духовности у него было очень мало. Казалось, что он обменял свой гусарский доломан на рясу монаха вследствие какой-нибудь несчастной любви или же из-за дуэли со своим однополчанином.

Довольный своими заключениями, иронически улыбаясь, я отвел взор свой от монаха.

— Скажите, друг мой, вы — верующий? — услышал я вопрос Ивана Иваныча.

Я не люблю такого рода вопросов, бесцеремонно мне задаваемых. Поэтому я ответил, скорее безразличным тоном:

— Вы знаете, что в прошлом я — моряк. Бывал во многих переделках и таких, что попади в них самый оголтелый атеист, так даже и он сразу сделался бы глубоко верующим в Высшую Силу человеком. Да, Иван Иваныч, я — верующий. К тому же, родился и воспитывался в нашем русском православии.

— А разрешите вас спросить, церковь вы посещаете?

— Церковник из меня плохой, Иван Иваныч. Раньше бывал в церкви, но когда появилось три юрисдикции, я как-то отошел от храма. Да, к тому же нужно вам доложить, что и пастыри наши тоже как-то изменились. Многие из них напоминают вот этого « корнета в рясе », — и я указал глазами на патера, сидевшего против нас.

— Вот именно из-за этого служителя Христа, на которого вы бросили слишком насмешливый взгляд и странную улыбку, я и задал вам такие нескромные вопросы, которых я, вообще, никогда и никому не задаю.

— Видите, мой друг, некоторая развязность в манерах духовных лиц держать себя на людях, отсутствие видимого аскетизма, кажущаяся приверженность ко всему мирскому не должны смущать верующего мирянина. И он не должен позволять себе думать, что такой иерей забывает свой сан, свои обязанности, возложенные на него Христом и благодатью Духа Святого, нисшедшей к нему в день его рукоположения в пастыри духовные. Такого рода духовенство я даже более люблю, чем отошедшее от мира сего, с очами, все время устремленными куда-то вдаль, в высоты горние, от нашей грешной земли.

— Священник, по виду мало чем отличающийся от мирянина, знает человека, знает все его слабости, все его хорошие и плохие стороны и, главное, чем они вызваны. Ведь во многих случаях, по условиям современной жизни, мирянин страдает и грешит не по своей вине.

— И вот такой священник, знающий все условия

жизни мирской нашего лихолетья, он не только сможет помочь пасомому в беде, но иногда, верный завету Христа, даже может пожертвовать жизнью своею для облегчения юдоли земной ближнего во Христе брата своего.

— До Стрессы остается еще добрый час хода. Хотите послушать мой рассказ об одном замечательном служителе Русской православной Церкви, которого я знал еще мальчиком?

— С удовольствием, — ответил я, и Иван Иваныч начал свой рассказ, который я не забуду до последней, на этом свете, минуты моей жизни.



— Священника, о котором будет идти речь, я знал будучи еще маленьким кадетом. Он бывал в доме моего деда, вдовца, отставного моряка, в старом Санкт-Петербурге, куда я приходил в каждый отпуск из моего корпуса.

— После смерти моей бабушки, в доме деда, по раз заведенному обычаю, каждое воскресенье устраивался « морской » завтрак. Приходили его старые соплаватели, в большинстве своем тоже отставные флотские и — в крупных чинах, бывали и более молодые офицеры — моряки, которые, как я знал, за честь великую почитали быть приглашенными в дом моего деда, пользовавшегося любовью и уважением всех, кто знал его заслуги перед родиной. Дам на такие завтраки не приглашали. Бывала на них только строго холостяцкая компания.

— На фоне морских мундиров всегда выделялась фигура представительного и уже довольно почтенного возраста служителя Церкви. Он, как и этот католический священник, был всегда прекрасно одет в отлично сшитую дорогую лиловую рясу с такого же цвета подрясником. Хорошо разбирался в винах, знал толк в хорошей русской кухне, держал себя непринужденно и совершенно по-светски.

— Как вам, мой друг, сидящий напротив нас патер показался скорее кавалерийским офицером, чем духов-

ным лицом, так и мне, мальчику в те времена, казалось тогда, что судьба только лишь по ошибке облачила этого человека в рясу священника, а не в морской мундир, так немного было в нем от духовного пастыря...

— Всегда с большим увлечением принимал он участие в разговорах на военно-морские темы, и дедушка говорил мне потом, что и дома у отца Алексея собиралась тоже главным образом военно-морская компания, а брат его был капитан 2 ранга. Со своими сослуживцами, — духовенством, отец Алексей не дружил и даже сторонился их.

— Академик, кандидат богословия, настоятель собора Св. Спиридония, что при Санкт-Петербургском Адмиралтействе, благочинный всех морских церквей столицы, митрофорный протоиерей (что тогда было большой редкостью), кавалер многих орденов, до Св. Александра Невского, включительно, отец Алексей Ставровский отличался скромностью и большой добротой. Но осыпанный монаршими милостями « князь Церкви », ведший светскую жизнь, всегда окруженный сильными мира сего, он не давал никому из знавших его никакого повода даже заподозрить присутствие в нем той огромной духовной силы и безграничной любви к ближнему, заповеданной нам Христом, которыми он втайне от всех обладал.

— Вы изволили только что заметить, что нынешнее духовенство не соответствует вашему понятию о том, каким должен быть служитель Церкви. Да, много было возведено, да и теперь возводится всякого рода обвинений и нареканий на старое и на новое духовенство. И в самой России и за рубежом тоже. Возможно, что и были случаи, заслуживавшие такого отношения к духовным лицам; судить о них я не берусь...

— Но так же, как сказано в Писании, что целый город грешников может быть спасен, если найдется в нем хотя бы лишь один праведник, так и все нападки на отцов Церкви могут быть стерты, уничтожены одним лишь великим подвигом священника, всю жизнь свою жившего светским человеком, мало даже походившего на духовное лицо, но концом своей жизни по-

казавшего всему миру, **кем** является русский православный священник.

Иван Иваныч помолчал немного и потом продолжал:

— В 1918 году, в самом начале большевистской революции, протопресвитер Армии и Флота отец Шавельский уехал на юг России и Патриарх Тихон назначил отца Ставровского его заместителем. Когда же был убит чекист Урицкий и в Петербурге было взято несколько десятков тысяч заложников, в их числе находился и арестованный отец Алексей.

— Тогда-то, в грозные минуты жизни своей паствы, находясь в руках тупых и жестоких палачей, зачастую — людей нерусского происхождения, не знавших, что такое милосердие и справедливость, не веривших ни во что святое, отец Алексей полностью проявил все величие духа и всю глубину веры, самоотверженно выполняя свой священнический долг.

— Не обращая внимания на насмешки и издевательства стражи, отец Алексей оказывал всем заключенным огромную духовную помощь. Он их обнадеживал, ободрял и наставлял, а многих, уверенных в ожидавшем их печальном конце, напутствовал последней исповедью.

— Исходил от отца Алексея в это время какой-то особенный духовный свет, примирявший православного человека с своей судьбой, помогая видеть в ней волю Божию.

— Присутствие отца Алексея среди заключенных и духовное окормление им множества ни в чем не повинных узников, случайно попавших в водоворот революции, облегчало всем тяжелую и томительную неизвестность, в которой все они находились относительно дальнейшей их судьбы.

— Однажды группа арестованных, в которую входил и отец Алексей Ставровский, была перевезена в Кронштадт, где ранним, туманным утром глубокой, холодной осени узники были выстроены в одну шеренгу и по приказу комиссара рассчитаны на десятки. Тут же им было объявлено, что каждый десятый человек в шеренге будет расстрелян...

— Просто так, без всякого суда и следствия, только в отместку за убийство чекиста Урицкого!...

— Имейте в виду, мой друг, что отцу Алексею шел тогда восемьдесят четвертый год. Люди, дожившие до такого преклонного возраста, очень часто все еще цепляются за жизнь и расстаются с ней куда труднее, чем более молодые люди..

— Отец Ставровский был наружно спокоен: его номер был девятым. Десятым был один молодой священник. Он дрожал в предсмертном испуге, но старался казаться спокойным. Сжимал зубы, крестился... Слезы текли по его изможденному заключением лицу...

— Вот тогда, видя его переживания, и обратился отец Алексей к молодому священнику: « Брат мой! Я — старик, да и жена моя старуха тоже. В жизни я получил все, что только можно было от нее получить. Дети мои на ногах. Иди себе с Богом, а я стану на твое место ».



— Так и случилось. Отец Ставровский был расстрелян вместе с другими десятыми, рассчитанными по порядку номеров. Трупы расстрелянных были выброшены в море, а оставшиеся в живых заложники — выпущены на свободу.

— Спасенный отцом Алексеем священник пришел в канцелярию протопресвитера и рассказал о происшедшем. О подвиге отца Алексея была извещена его семья, друзья и знакомые, и долго еще многие петербуржцы считали отца Алексея Ставровского святым мучеником, добровольно принявшим казнь « за други своя ». В 1918 году митрополит Вениамин совершил заочное отпевание отца Алексея.



— Таким подвигом закончил свою земную жизнь православный священник, отец Алексей Ставровский.

— Он принадлежал к сонму тех православных пастырей, без участия которых не была бы создана Рос-

сия, которая и будет стоять нерушимо, на веки вечные, если будет в ней сохранена вера православная, если останется там хоть один православный священник, пусть даже светский, « от мира сего » человек, но в грозные минуты жизни своей паствы исполняющий завет Христа. Тогда возвеличится Россия, тогда воспрянет русский народ.

Иван Иваныч замолчал. Молчал и я, взволнованный и потрясенный до глубины души его рассказом. Не желая выдавать своих переживаний, не знаю — почему, я спокойно сказал Иван Иваныччу:

— Живу за рубежом вот уже полвека, а только теперь впервые услыхал эту потрясающую повесть об отце Ставровском. Кто же вам рассказал об этом замечательном примере величия духа и о самопожертвовании отца Алексея?

Тихо улыбаясь своей обычно грустной улыбкой, Иван Иваныч проговорил:

— Никто. Я ведь тоже находился в группе арестованных как молодой гвардейский офицер, а в шеренге стоял рядом с отцом Алексеем, по правую его руку. Мой номер был восьмым. И мне пришлось быть невольным свидетелем подвига отца Ставровского.

— Вы — первый человек в моей жизни, которому я рассказал эту историю в надежде, что она изменит, возможно, ваш взгляд на духовенство.

— Вот, однако, мы уже и пришли. Прощайте, голубчик! Будете в Африке, — милости прошу ко мне. Мой адрес у вас есть, — и Иван Иваныч скрылся в толпе туристов, сходивших на берег.

Я остался один, обуреваемый самыми различными чувствами. Для меня отчасти была раскрыта тайна кольца Пажеского корпуса на пальце Ивана Иваныча. Для меня была теперь ясна причина его веры, его приверженности к православию, его уважение к сану русского православного священника. Но все это бледнело при воспоминании о личности и о подвиге отца Алексея Ставровского.

Я мысленно представил себе ужасную сцену расстрела, состояние души молодого священника... И слова обращения к нему тоже священника, отца Алексея,

разрушившие врата ада, — большевистского застенка. Ими была сохранена его жизнь, а отец Ставровский предстал перед Создателем исполнивши Его заповедь:

« Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя ».

Мне трудно описать состояние моей души в тот момент. Просветленный повествованием о духовном взлете русского пастыря, я в те минуты желал только одного: чтобы этим подвигом отца Алексея Ставровского просветилась вся страна...

Страна, имя которой было, есть и будет всегда, ныне и присно и во веки веков — Великая Россия!



Пароход мой шел обратно в Швейцарию по тихому, зеркальному озеру, окруженному высокими горами, снежные вершины которых, освещенные последними, темно-розовыми лучами заходившего солнца, казалось, устремлялись к небу с молитвой об упокоении души отца Алексея Ставровского, так полно претворившего в жизнь заповедь Христа — « Возлюби ближнего своего как самого себя ».

СОДЕРЖАНИЕ



Imprimerie P.I.U.F. - 3, rue du Sabot - Paris (6e)